

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (437)

2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Ольга Баженова. «Эти долгие вечера...» *и др. стихи* *3*
Мария Галина. Ригель. *Рассказ* *8*
Денис Гуцко. Праздник. Амэ фури. *Рассказы* *33*
Станислав Шуляк. Праздник спертого воздуха. Шпион. *Рассказы* *49*
Светлана Бунина. Малые страны. *Стихи* *68*
Рафаэль Шустерович. «ветреное» *и др. стихи* *71*
Василий Шевцов. Ванна. *Рассказ* *77*
Андрей Белозёров. Люди до востребования. *Повесть* *87*
Алексей А. Шепелёв. Поход и гости «каннибалов». *Рассказ* *125*
Евгений Стрелков. «В поезде» *и др. стихи* *137*
Сергей Трунёв. «закроешь глаза, и как будто ослеп» *и др. стихи* *144*
Алексей Колобродов. Отец. Мемориал и мальчики. *Рассказы* *147*
Сергей Дигол. Три фута под землей. *Рассказ* *155*

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Николай Болдырев. Три этюда о Тарковском *167*

ДЕБЮТ

Вячеслав Савин. «Лампа» *и др. стихи* *204*

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Сергей Боровиков. Твори, выдумывай, не пробуй! *206*
Алексей Александров. Тексты, поля и персонажи *210*
Анна Сафронова. Мишку жалко *211*
Олег Рогов. Эстетический калейдоскоп *212*
Сергей Трунёв. В поисках одесского юмора *213*
Андрей Пермяков. Неусталость *214*

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Фестивальные фавориты–2 ..... *218*

© «Волга», 2012

Ольга БАЖЕНОВА

***

Эти долгие вечера, хоть намазывай их на хлеб,
эта синева, это вчера,
все это бдение и ночь-сестра,
все это детство, когда не слеп (слеп?).
Вся эта малиновость, эти дымы,
вся эта плотность и дальний гул.
На всех дорогах полки зимы плотно стоят.
Как будто уснул, встал пред закатом –
и что забыл, куда родился?
Вся эта взвесь,
зимы недеятельный пыл,
угол глухой – все это здесь.
Весь синий мир его облепил:
не может вспомнить,
как в эту весь,
как в это детство вошел, застыл.
И этот мякотный диван,
и все страшилища вещей?
Что этот мир от него подевал –
не может вспомнить, ничей, ничей.
И вот давно уж другая жизнь,
и вод каких-то река, ручей
течет, течет.
Но как свет ни брызнь,
как сумерки ни приди к нему,
не может вспомнить. Во всем дыму
и ясности неподвижной зимы,
и тяжести холодной хурмы,
и огненности утвержденной хурмы –
чего там не было – совсем забыл.
Все это ушло, ушло.

19 февраля 2008

***

И ласточки – ресницы Бога?.. –
Нет, с поперечной полосой.
Но им тепло и неглубоко
в глубоком небе... Дождь босой
чуть тронул – не пошел. А сверху
высóки серые клубы́,

Ольга Баженова родилась 24 ноября 1979 г. в Чите, выросла в Туле, живет в Санкт-Петербурге. Стихотворные публикации – в «Альманахе Новой Камеры хранения», журнале «Воздух».

не сны, не днища денной верфи,
не купол ангелов, не рвы –
так... чуть серее крыльев стерха,
нежны, далеки и грубы́...

20-го июня 2007

***

Мир навсегда проснулся и засыпать не хочет.
Жужжит в кустах и не помнит, как каркал ворон,
и лошадь ржет, и яблоня видит ночью.

То ли дело за летом – мир навек вечерний,
сумеречной кровью весь куст его полон,
деревья, как оказывается, все время вчерне...

Повернулся огромный круглый камень лета,
он закрыл, заслонил жерло светлого жара.
Здесь же только угли
слабо алы.
Желтым и серым светится планета...

2005–2008

***

Сохлый укроп, вянущая кинза.
И ничего не видно, не видно за
этим подвялым и золотым сияньем
вечера, где мы тихонько вянем,
темного рта его с зеленью тьмы слияньем
за колесом обозренья, несущим за:

зренье не уносимо, не выносимо вверх.
День-полномерок пока еще не домерк,
будет все то же мятое обаянье,
долгая сень безветрия, средняя полоса,
слабая геометрия, заветрившаяся краса;
ознакомительна версия бессмертия, коса
коснит, а билет без места, приветливы небеса,
в душном ночном предсердье сгинувшая оса.

Смета пустого вечера, тучка цвета овса.

18 июля 2009

***

Почта пишет, а погода шепчет.
Шепот ее почти доходит.
Чем же его распознать и услышать?

Камешком, наждачной его щекой, боком земли
и асфальта лицом,
бродячей, ходячею на боках
шубкою пса, веткой тощей,
пленкою капли дрожащей.
Видеть ли вещи или живые мощи
веткой слепою и зрячей щекой,
палкой слепого по улице пешей,
кровью или костью, сокрытой внутри,
но сотрясаемой каплей,
сквозь ветер дорогу державшей?

28 ноября 2009

***

...В городи в Русалими
В раю раявали, со святыми спочивали!

Калеки перехожие. Сборник П. Бессонова.
Вып. 1, № 18

Зеленое сплошное утро в небольших
отверстьях: белый свет и черный карк вороний.
И слабый запах земляной балконий,
тот пылевой, тот уличный и старых рам двойных.
Когда б меня той пылью обнесли,
то было бы верней Ерусалима, –
в сон обернули зрячий, в зелень, мимо
больших деревьев утром пронесли
по улице пустой.
Но ранним утром старым
жива, вяжу, будто неспелый плод,
чья косточка-луна крива растет,
а утро вправду мне вернули лары,
чтобы сказать: да, срублен клен и клен,
стоянкою залит в асфальт газон,
но запах свеж и воздух даже сочен...
И трачена, и смертна здесь земля...
Нет рук (иль головы) – но, в неге сей пыля,
проточным воздухом пешком летай как хочешь.

30 мая 2007

1 декабря

Стоит при свете темный день,
со светом от витрин и комнат,
простой составом, двухатомный,

но вещество его – всё тень.
День – сам бескоштный, бескотомный,
бестенный: все, что на потом, на
суп с котом пошло, – все в нем,
чего не сыщешь днем с огнем.
И только без году мгновенной
безгневной яростью вещéй
он цел, и кто нищей...
Декабрьский обыкновенный,

он, может быть, и вовсе изгнил, изгиб? –
ведает Ганг, не то вагонетка в ад –
как там внутри, самому каково, что в нем?
Вот он стоит, домам не высоковат,
ростом по крыши, но зренья таков загиб:
хоть раскрошить, к ночи не разогнем.

1-3 декабря 2009, январь 2010

***

Из-за домов, из-за холмов –
и ветер,
от сот темнеющих домов –
и ветер,

там эта ровная, оттенков сметных тьма
текла, перетекая,
вот дом, овечья пледа бахрома,
стена глухая.

Она безбровая, не знает, где сурьма.

С какого моря – нет его вдвойне –
и мола –
иль мельница, невидима вовне,
тьмы намолола?..

Она ячменная, из банок мерных тьма.

Высотным всем ущелием двора,
стеною спальной,
ни лампы, ни пещерки до утра, –

затменная как есть сама –

с одним опальным
опаловым отсталым фонарем,
едва идущим –
тьма, схороненная ночным ларем,
ветер – погуще.

Там этот ровный дув и гул,
а тут – диванный вал,
в песке из воздуха уснул
(в сыпучем сне) нарвал.
Несметный ветер он стене
и сотам толковал.

2009

***

ангел с рождественской – не открытки –
красно-желто-синей бумажной салфетки –
когда уже солнечны волны прытки
и в толстых почках большие ветки
там были звезды прочны картонны
ночные зимние из бумаги
все вместе весившие полтонны
их вероятно забыли маги
какие маги ведь скоро пасха
но так бывает во сне хна – басма

Март 2010

***

Бывал холод выше, торжественней – снег.
Но серое утро в печали –
в глубокой холодной печи, в серизне –
теперь выпекалось. Свечами,
семейством ветвящихся фитилей,
лишь чающих белого воска,
не тлились деревья далеких аллей.
Калеки росли с перекрестка.
Всеведенье, вечер, высокая мгла –
зима их со лба совлекла
(а только осталась полоска
печали, от сирости острой висок
надежно хранящей),
рассвет наконец испекла – невысок –
остовый хлеб не разнявший
на раны, туман не казня.

Был дом лубяной не за той глубиной,
запрятана звездная пролубь,
под сизой опалубкою одной –
сплошной и широкой, как голубь, –
плыл мир.

5-7 января 2011

Мария ГАЛИНА

РИГЕЛЬ

Рассказ

Колючий клубок белого света так и висел, запутавшись в ветвях, а значит, был не бортовым огнем, как подумалось поначалу, а звездой. Или планетой.

Но до чего же, зараза, яркая!

Потому что здесь нет светового сора. Даже к железной дороге, если пехом, только к утру выйдешь. Зато полно грибов и ягод, чистая холодная речка, дружелюбные поселяне. Правда, дружелюбные поселяне только вон в тех домах, а сколько пустых домов, еще крепких, и с этим надо что-то делать.

Человек энергичный и с коммерческой жилкой (когда-то таких называли *деловарами*), Ванька-Каин, оказался в душе романтиком: деревня должна была стать местом *для своих*. Если уломать людей с именем, подтянутся и всякие снобы, ну те, которым важно говорить, я живу рядом с таким-то, знаете такого-то? Место станет модным, можно будет вложиться в обустройство, в городе уже давно жить невозможно, а тут можно работать удаленно и вообще... Короче, все, о чем говорят деятельные и деловитые в предчувствии всеобщей гибели городов. Непонятно только, опасался Ванька всеобщего обрушения или, напротив, тайно его жаждал; оно стало бы оправданием его хлопотам и страхам.

Никого с именем уговорить не удалось, и крепкая изба на пригорке досталась им с Джулькой. Теперь Ванька-Каин будет рассказывать потенциальным покупателям, мол, вон там, на пригорке, профессор с женой живет, из Америки приехали.

Ему-то на самом деле нужна была всего-навсего недорогая однушка в пределах кольцевой, но цены, пока он болтался по заграницам, взлетели до небес. Хуже чем в Нью-Йорке, ей-Богу!

Комар зазвенел над ухом. Он машинально отмахнулся ладонью.

Пахло сырыми тряпками. От матраса на железной кровати с панцирной сеткой и тронутыми ржавчиной латунными шишечками, от кухонного полотенца, от его собственной куртки, даже от спальника, который никак не должен был отсыревать, потому что был waterproof и к тому же какой-то хитрой дышащей системы.

А ведь в Штатах его раздражал этот их всепроникающий запах стирального что ли порошка с отдушкой, какого-то моющего средства, пропитавшего даже гудрон велосипедных дорожек. Глядел на аккуратные газончики, утыканные, как столбиками, наглыми серыми белками, ненавидел пластиковую траву, грозные таблички «No smoking!» и истеричное стремление к чистоте.

К тому же он привык улыбаться. Толкнули в маршрутке, улыбнулся, сказал «извините», и тот

Мария Галина родилась в Калинине (ныне Тверь), но детство и юность провела в Киеве, затем в Одессе, с 1987 года живет в Москве. Кандидат биологических наук, работала в НИИ гидробиологии, в 1994 году по контракту – в Бергенском университете (Норвегия). С 1995 года оставила науку, став профессиональным литератором. Многочисленные публикации прозы, поэзии и критики в литературных журналах («Арион», «Волга», «Знамя», «Нева», «Новый мир» и др.). Автор нескольких книг прозы, четырех книг стихов. Переводила прозу англоязычных авторов, в том числе Стивена Кинга и Клайва Баркера, а также стихи украинских и английских современных поэтов. Проза Марии Галиной переведена на итальянский, английский, испанский и польский языки, стихи – на английский, украинский, словацкий, словенский. Лауреат поэтических премий Anthologia и «Московский счет», а также нескольких жанровых премий в области фантастики, в том числе дважды – личной премии Бориса Стругацкого «Бронзовая улитка».

же самый, что его толкнул, вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, сказал, ты что, совсем мудак? Он так удивился, что опять сказал «извините», простить себе этого до сих пор не мог, надо было сходу в рыло. Стал, чуть что, сам посылать, агрессивно, с напором, и легче сразу сделалось.

А Джулька, дурочка, так и продолжала улыбаться. Джулька, впрочем, человек легкий. Ах, я так себе все и представляла! Look here, izba (только американская славистка умудрится так смешно и торжественно, так трогательно произнести слово «изба») из настоящих breven, серо-бурых, местами даже зеленых! Настоящая русская petch, только подумай!

Печь не хотела растапливаться, дым валил в комнату, позвали Ваньку-Каина, он позвал дядю Колю (в каждой деревне есть такой дядя Коля, молчаливый, небритый, почти беззубый, неопределенного возраста, в чем-то сером и пахнущем сырыми тряпками). Тот, вылез на крышу, поковырялся в трубе, а потом показал им темное, оказавшееся мертвым грачом. Растрепанные перья, сухие косточки. В останках птицы было что-то изначально неживое, словно распавшаяся плоть обнажила искусственный каркас.

Много жизни, и вся какая-то механическая. Комары, зудевшие на одной высокой ноте; златоглазки, с тупым упорством бившиеся о стекло, ночью пытаясь влететь в освещенную комнату, а утром – вылететь наружу; и еще кто-то невидимый, тикающий прямо над ухом в глухую ночную пору...

Но печки он стал опасаться. Тем более, как Джулька ни старалась, все получалось либо сырым, либо подгоревшим... С электроплиткой на две конфорки она справлялась не в пример лучше, а вечерами они включали масляную батарею, вечера тут холодные даже летом. Но как следует просушить, прогреть дом так и не удалось, сырость оставляла ощущение нечистоты, словно бы все было захватано липкими пальцами.

Это такой отпуск, говорил он себе, вытягивая из колодца серое оцинкованное ведро, стены сруба были скользкими, и вода тоже как бы скользкой, с душком.

Вечером обедали у Ваньки-Каина. Ванька тоже был женат вторым браком, на бывшей своей практикантке, коренастой, круглоголовой, темноволосой – есть такой тип московских женщин, к ним с самого их девичества друзья обращаются «мать». Ему-то такие, скорее, нравились, была в них надежная неброская женственность, но Джулька с новой Ванькиной женой не подружилась, хотя обе старались, он видел.

– Бабы-дуры, – сказал Ванька, когда он мимоходом пожаловался, что, мол, не ладится что-то у девок, и это плохо в перспективе.

Ванька-Каин имел мечту собрать здесь на Рождество друзей и всех их и своих детей от прежних браков, новых жен, старых жен; пока же занимал себя тем, что ремонтировал второй принадлежащий ему дом, который он купил, именно чтобы было куда селить гостей. И чтобы шашлыки на морозе, святки, горелки и что там полагается, и всем хорошо и весело.

Ели щи, кашу и пироги. Ванька-Каин, хотя и остался пьющим, сделался большим сторонником правильной жизни, собирал и солил грибы, вымачивал бруснику и уверял, что предки меньше болели, потому что томленое в печи лучше жареного.

– Он опрощается, как Лев Толстой, – сказала по возвращении Джулька с некоторым уважением.

«Р» она выговаривала неправильно, мягко, для англоговорящих самые проблемные звуки – «р» и «в». Ну, и еще загадочные «ы» и «щ».

Джулька во всем находила параллели с русской классикой. Сам-то он эту классику не знал и не любил, в школе перекормили. До него у нее был роман с обитающим в кампусе русским поэтом, poet in residence, они специально нанимают живого поэта, не преподавать, а чтобы он просто ходил среди студентов, красивый и вдохновенный. Но поэт оказался психопатом и алкашом. Они, собственно, и с Джулькой познакомились на каком-то party, когда поэт-резидент начал ломать ей руку, просто так, just for fun, пришлось дать в рыло. Джулька плакала, говорила, ничего, it's nothing, он на самом деле хороший, оставь его, я сама, сама... На следующий день они случайно столкнулись в кантине, рука у нее была перевязана, из-под повязки разливались багрец и синева...

Сейчас она жгла во дворе всякую дрянь: весь выметенный-вынесенный из дома невнятный мусор, отсыревшие газеты, клочья обоев в мелкую зеленую клетку, разлезшуюся половую тряпку, а заодно сухие ветки, щепочки, даже полусухую траву, от которой шел мутный едкий дым. Но ей нравилось: Джульку вообще тянуло к живому огню, она все время порывалась устроить на дворе барбекю, и история с печью очень ее расстроила.

В отсветах костра ее бледная кожа порозовела, в рыжих проволочных волосах проявился багрянец. Джульке вообще как бы чуть-чуть не хватало огня: бледная кожа сплошь в мелких родинках, бледные запавшие виски, бледные губы... Она была похожа на школьницу-анорексичку, ее хотелось накормить и обогреть, а не хватать и тащить в постель, и оттого в их отношениях был странный привкус инцеста.

Пламя, гулявшее в трухе, как бы снабжало ее огнем.

Скоро ей здесь надоест. И что тогда делать?

– Тебе не скучно здесь? – спросил он на всякий случай.

– Нет, – она отвернула голову от костерка и улыбнулась, – мы как пионеры. Это интересно. А правда, что он говорил про элиенс?

Ванька-Каин, сколько он его помнил, генерировал сценарии апокалипсиса и вчера за тарелкой щей уверял, что за орбитой Юпитера обнаружены огромные космические корабли, числом три, и скоро их каждый чайник сможет наблюдать в школьный телескоп, потому что они летят сюда и прилетят то ли в двенадцатом, то ли в четырнадцатом, и вот тогда всем кранты, потому что такие большие, просто громадные корабли не прилетают просто так. Это, Джулька, говорил Ванька-Каин, как твой «Мэйфлауэр», это их инопланетные пассионарии, а известно, что пассионарии делают с беззащитными местными жителями.

– Ну, – он поморщился от дыма, – может, и правда. Сейчас, знаешь, такое время, трудно понять, что правда, а что нет.

– Он шутил, – сказала Джулька неуверенно.

Ванька еще говорил, что в случае нашествия инопланетных захватчиков трындец наступит как раз мегаполисам, а тут можно прокормиться и партизанить в лесах. Тайные тропы, бочаги, куда так легко провалиться, просеки и засеки. Как-то так. Тут и медведи есть. Он, Ванька, сам видел, собирая грибы, разворошенный муравейник и медвежьи какашки.

Как будто медведи в случае инопланетного вторжения, скорее, плюс.

Он обнял ее одной рукой, потому что второй чесал укушенную комаром шею.

– Моя дорогая. Моя рыжая. Мы все время живем перед концом света. Потому что сначала живем, а потом умираем. А инопланетяне – это так, для фантастов.

Она чуть заметно нахмурилась. Не любила разговоров о смерти.

– Скажи «тыща».

Это была такая их игра.

Она нахмурилась сильнее.

– Тисча, – произнесла старательно, и оба как по команде расслабились.

Надо, чтобы она как-нибудь попробовала сказать украинское «паляныця». Но «паляныця» он и сам не мог выговорить правильно.

***

– Ты чего?

Джулька сидела на кровати, плечо в темноте чуть очерчено бледной линией.

– Чего не спишь?

Он выкурил спиралью всех комаров и позакрывал окна. Комары умерли, зато стало душно и опять завоняло мокрыми тряпками, так, что даже перебило острый, чуть ли не звериный запах лежащей рядом с ним Джульки; у рыжих вообще феромоны убойные, не то что у блондинок или даже у брюнеток.

Он тоже приподнялся на локте. Простыни были сыроваты.

– Кто-то ходит, – шепотом сказала Джулька.

Он прислушался. Смутно блестевшая кроватная шишечка чуть дрогнула.

– Тебе показалось.

– Да нет же... вот, опять. Скрип-скрип.

С возрастом перестаешь слышать высокие звуки. А она, вот, слышит.

– Доски скрипят. Рассыхаются в тепле и скрипят.

– Это на крыльце, – уперлась Джулька, – или в сенях.

Она выговорила это как «на крильтце или в сенъях», но он злился, что его разбудили, и забыл умилиться.

– Может, собака? Приблудная? Или лиса, я не знаю. Дверь заперта, не волнуйся.

– Вдруг это человек? Мне страшно.

Страшно ей. Он вспомнил, как они впервые занялись любовью, в ее трогательном кукольном домике, окна от пола до потолка, во всю стену, и притом никаких занавесок. И фанерные практически стены. И дверь на соплях.

А тут ей страшно, бедняге.

Натурализуемся помаленьку.

Вылезать из-под теплого не хотелось, но он как был, босиком, на цыпочках, подошел к печке, охватил ладонью ржавую кочергу и так же на цыпочках двинулся к двери. Помедлил, потом резко отворил дверь, ведущую в сени. Пусто и даже почти светло, в маленьком окошке висит белая луна. Он перевел дух и левой рукой откинул щеколду, ощущая, как в ладони правой чуть поворачивается тяжелый шершавый стержень.

На крыльце половичок лунного света. Черные листья яблонь шуршат как бы сами по себе: движения воздуха на лице он так и не ощутил.

Потом лунный половичок исчез, слился с крыльцом, а ветки яблонь наоборот, выступили вперед из темноты; и он только миг спустя понял, что это потому, что Джулька зажгла в доме свет.

Вот дуреха, комары же налетят!

Он торопливо прихлопнул дверь спиной, и остался стоять на крыльце, вглядываясь в ночь, но свет в окнах как бы убил сад, сделал его чужим и приблизил окрестный мрак. Ни хера не видно.

Есть тут бешеные лисы? Лисы бросаются на людей даже в Подмосковье, где, казалось бы, кроме крыс и бродячих собак уже давно и нет зверья.

Он вдохнул сонный, резкий, точно хлороформ, воздух, и забыл выдохнуть.

В доме визжала Джулька.

Запнулся о порог, чертова кочерга ударила по щиколотке, он перехватил ее надежнее, выпрямился и растерянно моргнул.

Джулька вжалась в стену, в выцветшие обои; она и сама казалась выцветшей, полупрозрачной. Только рыжие волосы были живыми и теплыми.

– Убери ее! Убери!

– Да что ты, она же тебе ничего не сделает!

Он аккуратно поставил кочергу в угол.

– Убери! – Джулька тряслась и прижимала тыльной стороной руку к губам, словно удерживая рвотные позывы. Он в который раз поразился тому, какие розовые, детские у нее подушечки пальцев.

Толстая ночная бабочка металась в жидком желтом свете, полет был дерганный, хаотичный, но каждый раз она почему-то оказывалась все ближе к Джульке.

Пузатенький стакан остался от прежних хозяев; он стоял с этим стаканом в одной руке и старым «Огоньком» в другой, дожидаясь, пока бабочка сядет на бледные, сыроватые обои с унылым повторяющимся узором. Что такого страшного в этих ночных бабочках?

Бабочка, наконец, перестала дергаться и села, он поспешно накрыл ее, а когда подвел тонкий журнал под край стакана, лениво переползла на портрет Пугачевой.

– Ну, рыжая, – он обернулся к Джульке, – ну ты чего? Она ж нестрашная.

– Как это не страшная? – затрясла головой Джулька. – Как не страшная?

– Ну, подойди, глянь. Да не бойся, она не взлетит. Посмотри, она ж пушистая. Симпатичная. Совсем невредная бабочка.

Джулька боком придвинулась, готовая в любую минуту отбежать от страшной бабочки на безопасное расстояние, но тут же опять пронзительно завизжала прямо ему в ухо.

– Ну чего ты, – повторил он, – она же...

И наклонился над стаканом.

Увеличенная толстым выгнутым днищем стакана, на него глядела бабочка.

У нее были неподвижные глаза-бусины, огромные пушистые усы, а все лицо покрыто шерстью.

Он непроизвольно сглотнул и, отвернув взгляд и прижимая лицо Пугачевой к ободку стакана, вынес бабочку на крыльцо и вытряхнул. Нужно будет поставить летние рамы с сеткой; и дверь занавесить тюлем что ли. Тогда и комаров будет меньше, и не надо жечь эти спирали, от которых у него на пальцах появляются мелкие язвочки. Странно, что он раньше не додумался.

Бабочка вихляющимся полетом прянула вбок и рухнула куда-то в заросли; он подозревал, что она просто сидит там в засаде, дожидаясь момента, когда можно будет метнуться в узкую щель света.

– Улетела? – Джулька осторожно выглянула из-за двери.

– Улетела, – сказал он, зашел за ней в комнату и торопливо затворил дверь.

Страшная звезда стала прямо напротив окна, колола глаза, он никак не мог заснуть, прислушиваясь к щекотному дыханию Джульки. Тикало непонятное существо совсем рядом с кроватью, другое шуршало в углу; снаружи, из сада, мягкий комок монотонно бился об оконное стекло. Потом звезда ушла, и он уснул.

***

Мокрая трава щедро орошала кроссовки и носки. Он чистил зубы над помятым умывальником, и крупные капли с яблоневых листьев падали ему за шиворот. В звездообразно треснувшем зеркальце отражалось расколотое сизое небо.

Мы же не будем здесь дожидаться зимы, правда?

Он уже написал одному своему старому приятелю и другому, не такому старому и не так уж чтобы приятелю, но предприимчивому и, вроде бы, организовавшему какую-то экспертную группу, хрен знает, что за группа, но нужны специалисты его профиля, и чуть не каждый час теперь проверял почту. Но в почту валились только призывы увеличить пенис или посмотреть на голую одноклассницу, что, учитывая возраст его одноклассниц, было сомнительным удовольствием.

Зато стали падать первые яблоки, сморщенные и маленькие – отторгнутые от материнского дерева, обреченные на гибель уродцы. Он подобрал одно, отер от мокрой земли и надкусил; яблоко было даже не кислым – просто безвкусным.

– Борисыч!

Он обернулся. Бабакатя стояла у калитки, рыхлая грудь, обтянутая выцветшим байковым халатом, лежала на верхней перекладине. От Бабыкати пахло куриным пометом и, опять же, сырыми тряпками.

Они тут всех называют без имени, но по отчеству. А в Штатах наоборот. Интересно, это как-то связано с загадочной национальной ментальностью?

Он посмотрел на яблоко в руке, вздохнул и отбросил его – пускай слизняки завтракают.

– Да, Бабакатя?

– Борисыч, ты в Чмутово поедешь?

Бабакатя обладала верхним ветровым чутьем хорошей легавой собаки.

Он торопливо проглотил откушенный фрагмент яблока.

Само это Чмутово звучало как что-то мокрое, чавкающее.

– Собирался, вроде.

Она протянула скомканные десятки.

– Купи мне хлебушка и крупы, – она говорила «мяне», и это его невнятно раздражало. – Пару буханок, он у них теперь (тяперь) никакой, черствеет (чарствеить) быстро, но я нарежу и в морозилку положу, Анька, дочка Пятровны, научила. А крупу для курочек... Яички свежие не нужны, нет?

– Нужны, наверное, – Бабакатя драла за пяток яиц больше, чем в Чмутово просили за десяток, тем самым опровергая расхожие представления о широкой русской душе, но яйца и правда были хорошие. Джульке, по крайней мере, нравились.

– Так я принесу, – Бабакатя укоризненно покачала головой, – этой твоей... вот ведь назвали собачьим именем девку!

– Это иностранное имя, Бабакатя.

Он никак не мог попасть в нужный тон. Бабакатя казалась ему представителем другого биологического вида, иная среда обитания, экологическая ниша, даже пищевая база... И как бы это сказать, немножко умственно отсталым представителем по сравнению с доминирующим, скажем так, Homo Urbanis. Он разговаривал с ней, как разговаривал бы с говорящей собакой или кошкой, отчего испытывал неловкость и тоску. Бабакатя в свою очередь вела себя именно так, как он от нее ожидал: жаловалась на погоду (не те погоды стоять), на здоровье (кости-то ломить), вон раньше-то как оно было, а теперь вон как оно стало, и хлебушек тяперь не тот, не тот тяперь хлебушек, а вот при Брежневе выпякали хлеб... И даже при Андропове выпякали хлеб. И при этом, как его... Устиныче... И от того было ему слегка не по себе, словно бы Бабакатя подыгрывала ему. Тем более, Ванька-Каин уверял, что наблюдал Бабукатю в чмутовском сбербанке, где она весьма ловко управлялась с банкоматом.

Впрочем, это как раз было в порядке вещей, его всегда поражала приспособляемость этого вида (не столько Homo Rusticalis, сколько Homo Unreflectus, уточнил он политкорректно). Его особи в быту, в обустройстве проявляли хватку, несвойственную конкурирующей изнеженной форме, для нескольких поколений которой жуткое слово «жировка» звучало пострашнее какой-нибудь «авада-кедавра!».

– Чаво энто она у тябя спит так долго?

Смотрит же она телевизор, правда, допотопный, черно-белый, по вечерам из Бабыкатиных окон льется голубоватое сияние, словно бы там секретная лаборатория инопланетян или пристанище похищенных душ... Там, в телевизоре, говорят до омерзения фальшиво, совершенно ненатуральными голосами, но по крайней мере, грамотно, если только не изображают таких вот Бабкать, но тут она должна бы почуять подделку...

– Это она с непривычки, на свежем воздухе, – ложь, но ложь, понятная Бабекате. Уж чего-чего, а воздуха в университетских кампусах хватает.

– Скучно ей тут, нябось, – Бабакатя посмотрела ему в лицо. Глазки у нее были почти бесцветные, маленькие, и бровки почти бесцветные, с торчащими седыми волосками, – делать нечего, потому и спит. От скуки. Я вот в пять утрячком встаю, и ничего, не скучно. Курей кормить надо? Надо...

Коровы у Бабыкати не было, тут вообще никто не держал скотину, а ради кур вроде бы и не стоило подниматься чуть свет. Так, предлог, оправдывающий старческую бессонницу. Тем не менее, в ее голосе и плоской кислой улыбочке слышалась плохо скрытая подковырка, тайный упрек ленивой горожанке.

– Она работает, – он понимал, что наживка нехитрая, но все равно клюнул, – она диссертацию пишет.

Бабакатя пожевала губами, словно пробовала на вкус слово «диссертация».

– Ладно, – она со вздохом отлепилась от калитки.

У него вдруг мелькнула неприятная мысль, что Бабакатя на самом деле не так уж стара и вполне могла бы быть его ровесницей.

– Так яички я принесу. Грибочков сушеных не надо? Возьмете сушеных грибочков?

Он никогда не покупал грибы у старушек на рынке; соленые и маринованные – потому что боялся ботулизма; сушеные еще и потому что торгующим бабкам нет доверия; подсунет сослепу бледную поганку, какая ей разница, ищи потом... Его бывшая, неуловимо напоминавшая Ванькину нынешнюю Алену, покупала, ела с удовольствием, подсмеивалась над его трусостью. Она была сильней, чем он, целостнее что ли; он, вероятно, и женился на ней в потаенной тоске по мягкой материнской власти... А теперь вот поменял ее на жену-дочку, забавно все-таки жизнь устроена, потому что у Ваньки-Каина все получилось как раз наоборот.

Ему хотелось уберечь Джульку от всего: от поэта-резидента, от штатовского пластикового быта, от тутошней безнадеги, а заодно – как бы разделить свою память, свое прошлое, свою страну с Джулькой, нет большей радости, чем отдать то, что ты любишь, любимому человеку, но эти два его намерения вступали меж собой в неловкое и трудное столкновение... как можно любить то, от чего хочешь уберечь?

– Мяста надо знать, – улыбочка так и застыла на блинчатом лице Бабыкати, точно приклеенная, липковатая, как слово «Чмутово». – А то вот энти, которые о прошлом годе... так у их девка пошла в лес и пропала.

– Как пропала? – он видел краем глаза, что на крыльцо вышла Джулька, пылая ярко-красной ветровкой, словно какая-нибудь огневушка-поскакушка.

– А так, ушла по грибы, да и пропала, – с удовольствием сказала Бабакатя...

– И не нашли? – вот Джульке, наверное, не надо рассказывать. Но все равно ведь узнает, хотя бы от Ваньки или Алены его.

– Почему не нашли? – мигнула бесцветными ресницами Бабакатя. – Нашли, только она умом тронулась, плакала, тряслась и не говорила ничего. К дохтору увезли, да так сюда и не вернулись. А говорили, кажное лето будут жить... Им-то у нас понравилось, я им яички каждый день, яички им очень нравились, что свеженькие, из-под курочки, и что черника тут, и брусника. А только мяста надо знать.

Он понял, что ему не хочется, чтобы Джулька даже и здоровалась с Бабойкатей, словно та была заразная и зараза эта могла перекинуться на Джульку. Потому он несколько раз переступил с ноги на ногу, как бы показывая, что ему пора идти, чтобы заниматься всякими нужными и важными мужскими делами.

– А какой крупы?

– Что? – ему показалось, что Бабакатя на миг словно бы выпала из образа и, видимо, сама это почувствовала, потому что тут же поправилась, чвакнув:

– Чаво?

И еще толстенькую руку приставила к толстенькому уху, мол, недослышала, извиняйте.

– Какой крупы, спрашиваю? – устало повторил он.

– Дык для курочек, говорю. Пшена купи, или ячки, вот чего.

– Хорошо, – сказал он уже через плечо и пошел по дорожке, задевая за мокрые колоски пырея.

***

По сравнению с пламенеющей ветровкой рыжие Джулькины волосы были тусклыми, ржавыми, а кожа даже какой-то зеленоватой. Это потому что тут мало солнца, подумал он, небо с утра обметывало войлочными серыми тучами, которые к вечеру расступались, точно театральный занавес, открывая роскошный золотисто-багровый закат. Впрочем, когда солнца было много, Джулька тотчас обгорала, чуть ли не до пузырей.

– Ты с нами как, едешь?

– Нет, – Джулька виновато улыбнулась, – знаешь, нет. Дорога трясучая. И я хотела еще... вот убрать хотела, да. Са-арайчик убрать.

Опять устроить костер во дворе, и едкий дым от сырых тряпок, от мышиных гнезд в старых матрасах вновь будет клубиться меж яблонь.

На самом деле Чмутово – крепкое, в общем, село – было Джульке неприятным; но она стыдилась в этом признаться даже себе. В селе Чмутово жил настоящий Русский Народ, а Русский Народ хороший и страдающий. Гопники с плеерами, мотней до колен и «Балтикой» №8 не походили на Русский Народ, а походили вот именно что на самых обычных гопников, и это сбивало Джульку с толку. Бабакатя тоже была Русский Народ, и потому требовала тонкого обхождения и бережного изучения.

Сейчас Джулька сидела на второй ступеньке крыльца; всегда садилась только на эту – почему? Тощие коленки трогательно торчали из джинсовых прорех. Мода сиротинушек. Он вздохнул, присел рядом с ней.

– Как ты думаешь, Джулька, какой хлеб выпекали при Брежневе?

– Я не знаю, – она растерялась, – а что? Плохой?

– Да нет. Нет. В том-то и дело.

А в чем, собственно, дело? В чем?

***

– Что за история такая с девочкой?

Ванька пожал плечами.

– Фекла, дочка Заболотных. Ее тут с МЧС искали. Шуму было...

– Заблудилась?

– Да нет, она как раз в лесу хорошо... Просто убежала и обратно ни в какую. Они, как нашли ее, сразу и увезли.

Только тут, ощутив, как расслабились мышцы, он понял, что история с Феклой, дочкой Заболотных, напугала его больше, чем он сам себе в этом признавался.

– Одна в лесу, сколько ж ей было?

По обочинам грунтовки щедро рос борщевик, заслоняя собой темные декадентские ели, борщевик был нагл и процветающ, как положено захватчику. За «четверкой» тянулся пыльный след, точно дым от костра.

– Десять... или двенадцать, – неуверенно сказал Ванька, – хорошая девка, вообще-то. Жалко, что так.

– С родителями не ладила?

– Да причем тут родители. Это из-за кошки. Кошка Бабыкатиных кур гоняла, Бабакатя и говорит, ты ее принеси, я накажу, кошку-то. Девка своими руками и притащила. Думала, Бабакатя, ну там, покажет ей кур и газетой что ли отлупит. А Бабакатя ей голову отрезала.

– Как... голову?

– Это деревня, чего ты хочешь? Девка приходит за своей кошкой, ну и... Рванула в лес. И все. Через два дня только нашли. Но как бы не в себе. Плачет и выговорить ничего не может. Они ее сначала к психотерапевту, потом к психиатру... так и водят с тех пор.

– Знаешь, – сказал он, – если бы ты мне сразу это рассказал, мы бы сюда не приехали.

Ванька опять пожал плечами.

– Мясо жрешь? А коров тебе не жалко? Козочек там, овечек? А лошадей, которых на мясо? Тут к животным всегда было такое отношение. Утилитарное.

– Да, – сказал он, – поэтому вегетарианцев все больше и больше.

– Интеллигентские сопли, – сказал Ванька.

– Да ладно тебе, – баском сказала с заднего сиденья Алена, – сволочная на самом деле история.

– Ты тоже знала?

В зеркальце он видел, как она пожала плечами, точь-в-точь как Ванька.

– Все знали. Тут такое творилось... Родители эти несчастные, вертолеты, МЧС. А этой хоть бы хны.

Он вспомнил бесцветные кислые глазки, белые бровки, вылинявшую пестренькую байку...

– Джульке не рассказывайте.

Они синхронно пожали плечами.

Он подозревал, что Аленина неприязнь к Джульке отчасти тем и объяснялась, что он слишком старался Джульку оградить от неприятного, слишком носился с ней, то есть, в этой неприязни виноват был скорее он, а не Джулька, но с этими бабами всегда так. Мужикам они прощают. Бабам – нет.

Иногда заросли борщевика расступались, и тогда становился виден лес, зубчатый и лапчатый, как бы стекающий в зелень и синеву на фоне розоватого неба, точно в книжках его детства, тех, с иллюстрациями Билибина на желтоватой, чуть шершавой «гознаковской» бумаге.

Природа, так отчаянно нуждавшаяся в рефлексии, что создала разрушающего ее человека, все же требует теперь, похоже, более тонкого подхода и вполне готова заместить Homo Rusticalis более продвинутой версией. Деревня – миф, проклятые куры нужны Бабекате только как оправдание собственной хитрой жизни, а покупает она в «Алых парусах» мясо, молоко – все...

Ванька-Каин, дурачок, думает, что спасает себя, семью и горстку избранных от ужаса городов и грядущих вселенских катаклизмов, но на самом деле действует инстинктивно, как нерестящаяся рыба; то, что его подгоняет, не имеет отношения ни к городам, ни к катаклизмам, и не снисходит до объяснений.

На обратном пути, разомлев в предвкушении тепла и ужина и въезжая на пригорок по убитой дороге, он уловил в сумраке отблеск выходящих на закат окон (что тут было хорошее, так это закаты) и сообразил, что закат так красиво отражается в стеклах, потому что в доме темно.

Тут случались перебои с электричеством, к тому же он знал, что на самом деле в саду светлее, чем это кажется из окна автомобиля. Настолько светлее, что он, выскочив из машины, сразу увидел: в густой траве, сбоку от порожка ровный квадрат, словно бы свет упал из темного на самом деле окна, и на этом светлом лежит что-то маленькое, скорчившееся, темное.

***

– Уф, – он присел на крыльцо, одновременно охлопывая себя по карманам в поисках сигареты, – как ты меня напугала!

– Прости, да-ааа? – Джулька сонно хлопала глазами. – Я заснула и не слышала... а ты подъехал, а я заснула и не слышала.

– Это ничего, – сказал он, – ничего. Но зачем вообще было там спать? Смотри, как тебя комары искусали.

– Я хотела его проветрять? проветрить? Да, проветрить, Бабакатя сказала, матрас обязательно надо проветрить.

– Она что, приходила?

– Да. Яички принесла. Еще она сказала, что крыльцо надо подметать. Городские никогда не подметают крыльцо, а его надо подметать (она произнесла «подмятать», явно копируя Бабукатю), и я подмела крыльцо, и вынесла матрас, а он такой тяжелый, и его надо повесить на перила и бить такой палкой, а потом прове-етрить, и я села, и подумала, немножко полежу, и заснула.

– Джулька, – сказал он, – а Бабакатя не сказала тебе, что это надо делать утром, после того, как роса уйдет? А вечером нельзя, потому что роса опять выпадает, и сыро. Смотри, он же весь намок. Теперь на нем нельзя спать, пока не подсохнет.

– А печку топить? – с надеждой спросила Джулька.

Он вздохнул.

Печку топить и правда придется. И сушить матрас на печи, и он будет вонять сырыми тряпками. И окна закрывать нельзя, а значит, опять кто-нибудь прилетит, и Джулька опять будет пугаться. Блин, забыл купить сетку на окна...

– А яйца тридцать рублей пяток. Это не дорого, да-аа?

– В «Алых парусах» вдвое дешевле.

Чистые краски заката ушли, меж яблоневых веток зажглась все та же огромнющая звезда.

Яблоки выгрызали вокруг нее аккуратные черные дыры.

Ванька-Каин говорил о зиме, об огромной белой луне, висящей над черными островерхими елями; об огнях на снегу, и о том, сколько хороших и платежеспособных людей готовы мириться с временными трудностями, чтобы увидеть все это, и зеленый туризм сейчас в моде, и поезд от Москвы идет всего ночь, и все вагоны, даже плацкартные, оборудованы кондишн и биотуалетами.

– Эти из настоящей курицы, – возразила Джулька, – теплые еще, и перышки налипли.

– Они обычно на помет налипают. На гуано. Деревенские яйца всегда в гуано...

Сигарета то разгоралась, то гасла, и когда она разгоралась, мир вокруг становился темнее.

– Ладно, – он поднялся, ступенька тоже была влажная, и джинсы на заду были влажные, и теперь неприятно липли к телу.

– Ты куда?

– Отнесу ей крупу. Крупичку. И хлебушка... Хлебушка серенького буханочку. Хотя он не такой, как при Брежневе.

– А печку можно я потоплю? – с надеждой спросила Джулька.

– Можно, – он вздохнул, – только не потоплю, Джулька, протоплю.

– Ой, – расстроилась Джулька, – опять у меня с приставками. Потопить можно Муму, да-а?

– Потопить, Джулька, можно вражеское судно. А Муму можно только утопить.

– Русский язык все-таки такой сложный, – пожаловалась Джулька.

***

– А про спички-то я забыла тебе сказать, Борисыч, – в голосе Бабыкати слышался явный упрек, обращенный в его сторону, – вот те, которые прошлым летом, они как собяруться, значить, в Чмутово, так заглянут ко мне и спрашивают – а спичек случаем не надо, Бабакатя? Или, может, соли или мыла... маслица постного... всегда спрашивали. Не надо ли чего, Бабакатя? Так вот и спрашивали.

Он ни с того ни с сего подумал, что «те которые», надо полагать, не спрашивали, нужна ли Бабекате туалетная бумага. Наверняка она подтирается скопившимися на чердаке старыми газетами.

– По такой дяшевке продали, я им говорю, не продавайте так задешево, а они продали. За пятьдесят тыщ продали, а купили-то за все сто, Пална, когда в Ленинград переехала к дочке, свою избу им и уступила, и то по знакомству, потому как он учился вместе с дочкой-то.

– Что? – переспросил он.

– Ну, везет (вязет) тебе, Борисыч, что задешево, хороший дом, крепкий, крыша не текет, он как въехал, сам ее починил, крышу, и я его еще спрашиваю, как крыша-то, не текет, он говорит, нет, Бабакатя, не текет больше, Пална шифер покупала еще при Брежневе, тогда плохо не делали...

Каждый информационный кластер она дублировала, словно бы обкатывая его и тем самым утверждая прочнее в сознании собеседника, он давно замечал уже за Homo Unreflectus такую особенность.

– Да, – он поморщился, радуясь, что в сумерках его гримаса не видна. От удерживаемого раздражения у него началось что-то вроде зуда, – да, наверное. Не делали. Так я пошел, Бабакатя. Спички в следующий раз уже.

– К жене молодой торопишься, – сказала Бабакатя сладенько.

Джулька наверняка сделает яичницу, потому что это быстро, к тому же ей хочется доказать ему, что яички из-под курочки вкуснее и полезнее, чем те, которые продаются в «Алых парусах», хотя те, которые в «Алых парусах», дешевле в два раза, правда, они не такие свежие, потому что из-под фабричных кур, а их неизвестно чем кормят, какой заразный способ мышления, это ж надо!

А яичницу я на самом деле не люблю. И Джулька ее не умеет жарить.

Она вообще мало что умеет жарить, если честно.

– Ленивая она у тебя, – проницательно сказала Бабакатя, – Все они молодые, теперь лени-

вые. Вот я, пока мой был жив, как придет, я ему сразу горяченькое. И супчик, и вермишельку. И котлетку.

У Бабыкати был когда-то какой-то «мой», надо же. Жизнь все-таки удивительная штука.

– Я пошел, Бабакатя, – повторил он, – спокойной ночи.

Запах неизвестного ему мокрого растения накатывал волнами из угасающих сумерек.

– И скажи ей, чтобы на закате не спала. Нельзя.

– Почему это?

– Умом тронется, – сурово сказала Бабакатя,

– Это еще почему?

– Мозг оно высасываеть, когда на закате спять.

Закат, думал он, шлепая по раскисшей тропинке и задевая плечом мокрые глянцевые ветки, лезущие через серые изгороди буйных ничьих садов, время мистическое, граничное, прореха между днем и ночью. Тысячи поколений смотрели, как закатывается старое солнце, а хрен его знает, взойдет ли новое.

Из чердачного окна смотрело черное толстое дуло. Он вздрогнул и остановился. Потом в дуле влажно блеснуло, словно бы пузырь слюны в кругло раскрытом рту, и он понял, что это раструб школьного телескопа.

– Добрый вечер, дядя Коля!

Он еще в кампусе приучился здороваться со знакомыми и незнакомыми. Кампус, в сущности, тоже деревня. Или наоборот, деревня – это тоже кампус.

Он, впрочем, не совсем был уверен, что здоровается с дядей Колей, поскольку окошко было темным, а дядя Коля плохо связывался в его сознании с телескопом, даже школьным.

Дядя Коля, тем не менее, отозвался.

– Ты не думай, Борисыч. Если нужно, я отдам.

– Вы о чем? – не понял он.

– Да телескоп этот. Эти, которые до вас жили, съехали, я смотрю, он во дворе стоит. Я подумал, непорядок, что во дворе.

– Ничего, дядя Коля. Нам не нужен телескоп. Пользуйтесь на здоровье.

– И то правда, – согласился дядя Коля из темноты, – зачем молодоженам телескоп?

Ему почудилась в дядиколином голосе чуть заметная издевка, словно бы говорил не дядя Коля, а кто-то другой, ехидный и злой, и очень умный и хитрый, только притворяющийся для порядка безобидным дядей Колей. Кстати, а ему сколько лет? Ровесник Бабыкати? Старше? Младше? Его ровесник?

А откуда известно, что там, наверху действительно этот самый дядя Коля? Не видно же ничего.

Самому стало неловко, что думает такие глупости.

Потому спросил как бы в шутку:

– Инопланетян высматриваете?

– Инопланетян? – бледное пятно в чердачном окне чуть качнулось. – Зачем? Кому они нужны? Тут, Борисыч, инопланетяне уже у всех вот как. Нет, я вон ту наблюдаю. Вон, висит.

Звезда водрузила себя на черную верхушку ели, точно рождественская елочная игрушка.

В колеблющемся, прогретом за день воздухе, что поднимался от земли, ему показалось, что она шевелит лучами, словно щупальцами.

– Красивая, – сказал он на всякий случай, – это что, Вега?

Кроме Веги он помнил еще несколько звездных имен, все почему-то на «А». Альтаир, Альдебаран, Антарес...

– Какая еще, на хрен, Вега? – обиделся дядя Коля. – Это Ригель.

– Красивая, – повторил он, – и название красивое.

– Бело-голубой сверхгигант, – похвастался дядя Коля, – скоро взорвется на хрен.

– Ну, наверное, еще не скоро. Я имею в виду, применительно к истории человечества.

– Вот-вот взорвется, – веско повторил дядя Коля, – я читал. Они, когда взрываются, сбрасывают оболочку. И она все расширяется, расширяется. И, когда до Земли доберется, мы тут все на хрен сгорим, слышь? Может, уже взорвалась, просто мы еще не знаем. Но скоро узнаем. Ригель на расстоянии тыща световых лет от солнца, даже меньше. Так что я вот стою, мониторю.

– На наш век хватит? – осторожно предположил он.

– Может не хватить, – сухо сказал дядя Коля, – так не нужен тебе этот телескоп, Борисыч?

– Нет, – он покачал головой, хотя в темноте этого дядя Коля видеть не мог.

– А раз не нужен, ты, Борисыч, иди. Не мешай мониторить.

– Если я поеду в Чмутово, что-нибудь взять для вас, дядя Коля?

– Так сегодня ездил уже, – флегматично отозвался сверху дядя Коля, – что ж не спросил-то?

– Ну, на будущее.

– Будущего – сказал дядя Коля, – у нас нет.

***

– Тебе не понравилось? – огорчилась Джулька.

– Нет, почему. Очень вкусно.

У яичницы были ломкие коричневатые края, фестончиками.

Джулька смотрела, поэтому он подобрал остаток желтка тяжелым серым хлебом. Хлеб был почти как при Андропове. Или при Брежневе.

– Правда, лучше, чем из супермаркета?

– Гораздо, – сказал он.

Положил тарелку в помятый алюминиевый таз, прыснул «Фэйри», ополоснул. Аккуратно ладонью смел крошки с потертой клеенки, стряхнул в мусорное ведро. Чугунная сковородка, в которой Джулька жарила яичницу, так и осталась на конфорке, и теперь распространяла запах горелого.

Он помедлил, ухватил сковородку за скользкую ручку и вынес на крыльцо.

– Протру золой, – пояснил он Джульке.

С крыльца была видна дальняя полоска леса, как бы выгрызающая край зеленоватого неба, и три медленно заворачивающихся внутрь себя полупрозрачных облачка. В одном из облачков, подсвечивая его как бы намеком, как бы не всерьез, висел этот самый Ригель. Светлый самолетный след, чуть розовея, перерезал небо наискосок.

Он вздохнул и спустился с крыльца. Прямоугольник матраса так и остался лежать в траве, уносить его в дом не было никакого смысла. Зола, которую он зачерпнул проволочной мочалкой, тоже была мокрой и смешалась с землей. Надо будет устроить площадку для костра, камнями ее обложить, что ли. Он тер сковородку, морщась каждый раз, когда мочалка скрипела по чугуну.

Руки были сплошь в саже и пригоревшем жире; он долго отмывал их под тоненькой струей, льющейся из смешного умывальника с пимпочкой, извел почти треть бумажного полотенца, но когда сел за комп, пальцы все равно липли к клавишам. Особенно почему-то к delete.

Википедия очень, очень нахваливала Ригель. Яркая околоэкваториальная звезда, β Ориона, бело-голубой сверхгигант, диаметр около 95 млн. км (то есть в 68 раз больше Солнца), абсолютная звездная величина -7^m; светимость в 85 000 раз выше солнечной, а значит, это одна из самых мощных звезд в Галактике (во всяком случае, самая мощная из ярчайших звезд на небе, так как Ригель – ближайшая из звезд с такой огромной светимостью). Ригель, вроде бы, и правда имел некоторые шансы стать сверхновой, в этом случае его наблюдаемая светимость стала бы сопоставима со светом полной Луны. Кстати, древние египтяне связывали Ригель с Сахом – царем звезд и покровителем умерших. Ну, понятно, древние египтяне всегда знали, что к чему.

Лампочка под дощатым потолком несколько раз мигнула. Это с ней время от времени случалось.

В почте ничего не было. Даже спам иссяк, словно адрес стерли из всех ресурсов общечеловеческой памяти.

– Есть новости? – он не очень-то любил, когда Джулька заглядывала ему через плечо, но боялся сказать, вдруг обидится.

– А как же, – сказал он жизнерадостно, – скоро взорвется Ригель.

– Это звезда? – уточнила Джулька.

– Да. В созвездии Ориона. Она вот-вот станет сверхновой. Может, уже стала. Просто мы еще не видим, свет не дошел.

– Мы сгорим?

– Не обязательно. Она довольно далеко. Зато он будет светить на все небо. Представляешь, зрелище?

– Я думаю, – сказала Джулька, – это будет очень страшно. Когда две луны – это страшно. Это неправильно. Это как во сне. Ты куда? Зачем на чердак?

– Рыжая, нам же надо на чем-то спать. Матрас совсем мокрый. А я на чердаке одеяла видел. Сложим пару одеял, уже легче.

Хотя одеяла эти тоже наверняка отсырели и прогрызены мышами.

На чердаке пахло слежавшимся прошлым. Здесь, утрамбованные в картонные коробки из-под телевизора «Рубин», из-под обуви «Скороход», из-под вентилятора с резиновыми лопастями и камина-рефлектора, спали печальные обломки кораблекрушения, реликвии утонувшей в толще исторических вод страны...

Оловянные солдатики, поздравительные открытки с первым мая и седьмым ноября, ржавая, вихляющая, если кому придет в голову ее запустить, юла, фотографии с фестончатыми краями, пудовые резиновые сапоги, черно-зеленые, как тулово морского змея... И журналы, пахнущие мышами, иногда даже чуть-чуть обгрызенные по углам, с желтоватыми разводами сырости.

Как-то, застряв осенью в дождь на родительской даче, уж сейчас и не вспомнить, почему, то ли с Натахой опять поссорился, то ли отец болел, то ли мама, он вот так, сидя на чердаке, перелистывал старые номера «Юности», вглядывался в серенькие офсетные фотографии молодого губастого Вознесенского и молодого аскетичного Евтушенко. Бог мой, что за дичь мы тогда читали и даже помнили наизусть!

И все это как бы ждало, что еще когда-то сможет пригодиться, и эти страшные резиновые сапоги, и вентилятор с пластиковыми лопастями, и старый гамак, и пальто с торчащими из прорех клочьями ватина, и все это могло пригодиться только в случае всеобщего обрушения, вселенской катастрофы, гибели цивилизации.

Одеяла лежали в углу, он помнил, он, как приехал сюда, первым делом сунулся, было, на чердак в поисках не пойми чего. Быть может, того времени, когда мама и отец были живы, а Натаха после очередной ссоры чувствовала себя виноватой, и опять все налаживалось... Но это был чужой чердак, тут все было другое, он вляпался сначала в паутину, потом в мышиный помет, крохотное окошко было сплошь засижено мухами – и что делать мухам на чердаке?

И воняло сырыми тряпками, а не старой бумагой.

Голая лампочка, свисающая с перекрученного провода, еле тлела рубиновым сердечком, то ли собиралась перегореть, то ли с проводкой что-то...

Два шерстяных одеяла, сложены вчетверо, одно, коричневое с бежевыми полосками, сверху, другое, красное с бежевыми цветочками, под ним, вроде, лежат немножко не там, где он помнил. Вроде бы. И примяты посредине, как если бы кто-то легкий сидел на них, а потом быстро и легко встал и ушел.

Он присел на корточки и потрогал одеяло, словно оно еще могло хранить тепло того, кто легко встал и быстро ушел. Шерстяное одеяло и правда было теплым, шерстяные всегда теплые. Под завернувшимся уголком того, что сверху, и выпрямленным уголком того, что снизу, белело.

На выдранном из тетради листочке в клеточку цветными фломастерами была изображена страшная оскалившаяся баба с окровавленным ножом. Маленькая пушистая (очень маленькая и очень пушистая) мертвая кошка лежала у широко расставленных, носками наружу, ног в огромных ботинках. За спиной у страшной бабы лепестками расцветали языки пламени. В самой их

сердцевине чернел дом с двумя косыми окошками.

Тихо тикало невидимое насекомое. Пильщик? Древоточец?

Скатав одеяла, неловко спустился с лестницы. Одеяла кололись.

Джулька так и сидела, обхватив колени руками и уставившись в темное окно. Это ему не понравилось.

– Хочешь зажечь печку? – великодушно разрешил он. – Валяй. Только окно открой.

– Нет, – Джулька мотнула рыжей головой, – она опять прилетит.

– Я поставлю завтра сетку на раму. Правда. У Ваньки должна остаться еще сетка, – соврал он, – я видел.

– Тогда почему он тебе сразу не дал?

– Ну... может, думал, у нас есть. Ты погоди, я сейчас.

Был давным-давно такой скринсейвер, уютный домик, то одно, то другое окно загорается, появляются и исчезают в окнах темные силуэты, из трубы вдруг вырывается тоненькая струйка дыма, луна медленно движется по темному небу, иногда ее пересекает летучая мышка... Потом началось повальное увлечение заставками, одна другой круче, рыбки какие-то, коралловые рифы... потом как-то быстро сошло на нет... Эта была самой лучшей.

***

Посреди горницы стоял верстак, и Ванька что-то деловито на нем выпиливал. У Ваньки всегда были хорошие руки.

Приятно пахло свежей стружкой.

– А... Алена где?

– К Бабекате пошла. Банки Бабкате ставить. Бабекате банки ставить-то пошла. Спину прихватило у Бабыкати.

– Она ж Бабукатю, вроде, терпеть не может.

Ванька пожал плечами.

– Это деревня. В деревне надо со всеми ладить. Не умеешь ладить, вали.

– Но Бабакатя...

– Вот откуда у тебя это чистоплюйство? Бабакатя как Бабакатя. Она тут знаешь, может, тоже не всю жизнь жила. Она, может, только на старости лет сюда перебралась. Она, может, доктор наук на самом деле, Бабакатя. Филолог.

– Что?

Бабакатя – доктор наук? И вся эта ее страшная тупая повадка – просто маска? Но зачем?

– Пошутил я, – Ванька сдул с дощечки нежнейшие белые стружки, – а ты и поверил. Дурачок.

– Да ну тебя, – сказал он сердито.

– А ты чего вообще пришел? – дружелюбно спросил Ванька. – Чего надо?

– Слушай, – он помялся, – дай-ка мне телефон Заболотных.

Ванька перестал делать вжик-вжик и, прищурившись, посмотрел на него.

– Зачем?

– Кое-что хочу спросить у них.

– Что?

– Ты знаешь, мне показалось... кто-то ходил у нас там что ли. И картинка детская. Вот.

Он вытащил сложенный вчетверо листок из кармана ветровки.

Ванька развернул его, отстранил, вгляделся. Похоже, у Ваньки-Каина портится зрение. Возрастное.

– На чердаке нашел, – пояснил он на всякий случай.

– Может, она там с прошлого лета лежит? – предположил Ванька.

– Может, – согласился он неуверенно.

– Думаешь, убежала девчонка? – Ванька вернул ему листок и рассеянно отряхнул треники от древесной крошки. – Сюда? Сама на поезде, потом пехом? Это вряд ли. Да где бы тут она... сам видишь, все на виду.

– Ну, – все так же неуверенно сказал он.

– А только телефон я тебе не дам. Сам позвоню. Мало ли. А то еще напугаешь. Они сейчас, знаешь...

– Позвони, – сказал он, – узнай, ага? И мне звякни сразу. И вот что... у тебя сетки нет? Ну, от комаров, бабочек.

– В «Алых парусах» была, – укоризненно сказал Ванька, – что ж не купил?

– Забыл, понимаешь...

– Ну так нету у меня сетки, – ему показалось или в голосе Ваньки прозвучало что-то вроде торжества.

– Да? – он вздохнул, потоптался еще немного, – жаль. Так звякнешь?

– Звякну, – сказал Ванька и опять сделал «вжик».

– Так я пошел?

– Валяй. Кстати, еще один объект обнаружили. Здоровущий. Прямо за солнцем, – сказал Ванька ему в спину.

***

Девчонка, как ее звали, Фекла, ну и дурацкая теперь мода на имена, могла прятаться на чердаке еще прошлым летом. Дети любят прятаться.

Точно, прошлым летом. Потому что как бы она сейчас туда пробралась? В доме все время ведь кто-то есть.

Он, правда, уезжал в Чмутово, но Джулька оставалась. Ну да, Джульке ночью мерещилось, кто-то ходит, но дом старый, половицы скрипят, нагреваются, охлаждаются, сохнут, набухают... К тому же мало ли какая живность тут водится? Звери на самом деле не так боятся человека, как нам кажется.

И вообще, зачем прятаться в жилом доме? Пустых полно, собственно, почти все дома пустые, а тот, второй дом, который прикупил себе Ванька-Каин, еще и протоплен, и, вроде, Ванька забросил туда какие-то дошираки, супы в пакетиках, и лавка, и матрас на лавке... Он вообще хозяйственный, Ванька.

Гостевой Ванькин дом стоял, отражая окнами темное переливчатое небо. На миг ему показалось, в одном из окон блеснуло, вроде как фонарик или что...

Он глубоко вдохнул нежный сырой воздух.

А вдруг сюда все-таки забредают бомжи, какие-то пришлые люди, хотя вот Ванька уверял, что нет, слишком далеко от железки.

Надо Ваньке сказать, но это опять идти к нему за ключом, или звонить, а он пошлет, он злой, и вообще плохо Джульку так надолго одну. Утром скажу.

От темной изгороди отделился темный кто-то, и он вздрогнул.

Но тут же расслабил мышцы.

– Алена?

Шурша штормовкой, она прошла мимо, чуть задев его плечом. Широко раскрытые глаза казались темными ямами.

Шла она медленно, тяжело, точно пьяная, но она, вроде, не пьет. То есть, ну как не пьет... как все нормальные бабы.

– Тебе нехорошо? Может, помочь? – окликнул он ее уже в спину.

Она не ответила, а все так же широко расставляя ноги, словно бы моряк на палубе, прошла к Ванькиному дому.

Он пожал плечами. В конце концов, Ванькина Алена, пускай Ванька и разбирается. Еще немного постоял, вглядываясь в темные окна гостевого дома, и пошел домой.

***

– Не будем топить печку?

Он незаметно выдохнул: вот же, все в порядке.

– А будем что? – он подумал, что Джульке все-таки скучно. Слишком простая жизнь, никакого места для всяких тонкостей и душевных извивов: приготовили, поели, помыли посуду, спать легли...

– Ну, спать будем, – сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал весело и ласково.

– А если не хочу-у?

– Ну, садись поработай, – он кивнул на ее маленький серебристый Sony, – ты ж хотела закончить к осени.

– Я боюсь, к осени не полу-уучится, – она вздохнула глубоко и прерывисто и тут же зевнула, – тут нет литерату-уры...

Ну вот модем же есть, она, вроде, какой-то блог завела, чтобы практиковаться, первое время писала про Россию, как бы взгляд со стороны, всякие смешные детали, моменты, но потом охладела как-то, мало кто ей отвечал и читал мало кто, наверное потому, что все-таки нет легкости, в языке нет легкости, а люди это чувствуют.

– Я чай сделаю. Хочешь чаю?

– Хорошая мысль, – сказал он.

Здешний чай, стоило ему чуть остыть, пускал по поверхности радужную пленку, если разбить ложкой, она так и плавала, кусками, норовящими соединиться. И пачкал чашки. Наверное, из-за воды, в Америке такого, вроде, не было.

Полез в Гугль, набрал «обнаружили объект солнечная система». Действительно. Что-то вроде кто-то наблюдал такое. Но месяц назад, и не подтвердилось.

Вышел в сени, прикрыл за собой дверь, позвонил Ваньке.

Ванька мялся и подбирал слова, и ему стало неприятно в животе.

– Убежала? – спросил он шепотом.

– Черт ее знает, – он понял, что Ванька злится, что у Заболотных все плохо, а Ванька не умел разбираться с чужими неприятностями, он и со своими не очень-то умел, – она, вроде, в санатории. Ну, или не в санатории. Что-то такое. Они звонят туда, выясняют. Но ведь ночь.

– Они тебе перезвонят, когда выяснят?

– Утром, – злобно сказал Ванькин голос, – все утром. Что я тебе, Чип и Дэйл, чтобы круглые сутки на посту?

– А... Алена как?

– В каком смысле? – уже отчетливо сквозь зубы проговорил Ванька.

– Ладно, – сказал он, – ладно. Проехали.

Сложенные одеяла все же были тоньше, чем матрас, сетка врезалась в тело, легонькой Джульке хоть бы хны, а он ворочался, прислушиваясь, но не слышал ничего, кроме шуршанья и тиканья насекомых и слепого шороха листьев за окном. Луна, заглядывающая в окно, раздулась и сделалась багряной, потом побледнела до нежно-розоватой, полупрозрачной, потом укатилась. Если Ригель взорвется и станет светить, как эта луна, это же хрен знает, что будет, подумал он, засыпая.

***

Утром на крыльцо пришел здоровенный кузнечик и умер: было такое впечатление, что кузнечик по каким-то своим причинам сделал это нарочно. Кузнечик лежал, встопорщившись всеми своими шипами и острыми телесными углами, и, как и вся тутошняя жизнь, походил на механизм, сейчас, впрочем, вышедший из строя. Пока Джулька не увидела, он аккуратно подсунул под тельце яблоневый листик и выбросил все это в буйные заросли у штакетника, мимоходом подумав, что там, наверное, уже целое кладбище крохотных мертвых телец, заложившее основу какой-то новой питательной жизни, копошащейся, влажной и неприятной.

Как они ухитрялись ходить босиком, когда между пальцами продавливается черная жидкая грязь, как избавлялись от живых и мертвых насекомых, мышей и тикающих невидимых домашних тварей?

Джулька вышла на крыльцо, вся в бледных мурашках от утреннего холода, и сонно терла кулачком глаза. Даже не девочка-подросток, кроха, заблудившийся ребенок... Кстати, насчет девочки...

Позвонить Ваньке не получалось, не хотел понапрасну, а может, и не понапрасну пугать Джульку, а Джулька все время терлась рядом. Матрас он развесил на турнике, который, видимо, поставил папа-Заболотный. Матрас за ночь промок еще сильней, надо было занести его в дом все-таки. Ну и вонял бы себе сырыми тряпками, тут все воняет, зато бы уже немного просох к утру, а днем бы он его досушил.

Небо было мутное, сизоватое, но он уже знал, что такая дымка на самом деле предвещает хороший теплый день: в какой-то момент она уплотнится, точно войлок, а потом сваляется комками и разбежится, открыв бледное чистое небо. А когда тепло, в саду пахнет смородиновым листом и полынью, и надо бы, кстати, нарвать полыни и бросить ее под кровать, говорят, насекомые ее не любят. Может, уйдут загадочные ночные пильщики, и он сможет бестревожно спать?

Дождавшись, когда Джулька уйдет в деревянный серый сортир в дальнем углу сада, он присел на крыльцо, как раз на то место, где умер кузнечик, и перезвонил Ваньке-Каину.

– Ну, как бы непонятно, – сказал Ванька, помолчав, – как бы не могут найти. Серега выехал уже.

– Серега?

– Ну, Заболотный.

– А куда выехал?

Крыльцо было мокрым. Еще не высохло с ночи, черт.

– Сюда, – неохотно ответил Ванька. Он подумал, что Ваньке вся эта история неприятна еще и потому, что нарушает образ идеальной деревни, который можно впарить доверчивым покупателям.

– Ванька, – сказал он, – а ты во втором своем доме давно был?

– Позавчера был, – Ванька насторожился, – второй этаж там доделать надо. Пол настелить. А что?

– Знаешь, я, когда шел от тебя... – он замолчал.

– Ну?

Джулька вылезла из сортира и приближалась по дорожке, стараясь увернуться от цепких стеблей пырея, хватавших ее за голые ноги.

– Там, может, кто-то был.

Получалось, он вроде как струсил: не зашел, не проверил.

– Ты определись, – голос у Ваньки стал тоньше, когда он злился, у него всегда голос становился тоньше, – где она, по-твоему, прячется? У меня или у тебя?

– Ванька, – сказал он тоскливо, – я не знаю. Ну как она у нас может на чердаке? Мы ж все время... Слушай, вон, Джулька идет. Давай, что ли, я выйду навстречу? И мы вместе посмотрим?

– Зачем?

– Ну, не знаю. На всякий случай.

Он слышал, как Ванька вздохнул с какой-то обреченной покорностью,

– Прям с утра, что ли?

– А когда?

– Что там? – Джулька подставила ладошки под пимпочку умывальника. Смешной умывальник. Старый. Наверное, еще до Заболотных тут был, а они так и не повесили новый.

– Ванька просит... помочь ему там... с ремонтом. Немножко.

– А! – Джулька вытерла руки мокрым полотенцем, висевшим на гвоздике, и тут же затрясла пальцами, потому что в полотенце запутался крупный комар, карамора, – я с тобой, да-а?

– Нет, – он сурово покачал головой, – это для больших мужчин. Это мачистское шовинистское дело. А ты, Джулька, диссертацию свою совсем не пишешь, это плохо.

Сперва сидела за своим лэптопом, азартно тюкала, потом опять же охладела, оказалось, что архивы, которые ей нужны, не оцифрованы, нужно в Ленинку, или куда там еще, в ИМЛИ, что ли, она еще пыталась что-то писать, но он видел, как ускользает, расплывается ее азарт.

– Наверное, да, – худенькие плечи поднялись, опустились, – наверное, я буду сейчас писать диссертацию.

– Только знаешь что, – сказал он, – ты вот что... пока я не приду, посиди дома, ладно? Не ходи никуда.

– Почему-у?

– Ну, так. Для меня, ладно?

А чего, собственно, я боюсь, думал он, пока Ванька-Каин возился с ключами на чистеньком белом крыльце? Маленькой девочки? Или наоборот, за маленькую девочку? Но ведь девочка свихнулась, вроде, и чего ждать от нее, непонятно.

– Псих ненормальный, – ворчал Ванька, открывая двери, – примерещилось ему.

А в гостевом Ванькином доме пахло стружкой, свежим деревом. И никакой сырости, никаких старых обоев, рукомойников, помойных ведер – все крепкое, чистое. И евроокна. Надо же, евроокна.

– Кулак ты, Ванька, – сказал он горько.

И биотуалет, наверное...

– Руки надо иметь, – Ванька охлопал стену как охлопывают добрую лошадь, – и голову на плечах. Пол сделаю на втором этаже, сюда переберемся. А тот потихоньку ремонтировать начну.

Он вдохнул чистый, прекрасный запах стружки.

– Ванька, сколько на самом деле стоил мой дом?

Ванька смотрел на него, сузив черные, и без того узкие глаза. Было и правда в нем что-то разбойничье, диковатое...

– Ты сказал мне, что оформлять будем на пятьдесят, а остальные сто они просили налом, без оформления, чтобы налог меньше. Сколько на самом деле ты им отдал?

Ванька молчал, только выдвинул почему-то челюсть.

– Потому что ты лох, – сказал Ванька с неожиданной, испугавшей его злобой, – грех лоха не надуть. Приехал, дезодорантом воняешь, американ бой, мы тут в дерьме, а он весь в белом... утю-тю... уси-пуси...

– Ты ж мне, вроде, друг.

– Откуда теперь друзья? Нет теперь друзей. Где ты был, пока за мной рэкетиры бегали с утюгом наперевес?

Новый Ванька испугал его. Он был совсем чужой, незнакомый Ванька. Чужая полупустая деревня с чужими, незнакомыми людьми, посреди чужой незнакомой земли. И они с Джулькой. И деваться некуда.

– Как же мы теперь с тобой? – растерянно сказал он, – как же мы будем?

– А вот так и будем, – Ванька отряхнул руки, словно избавляясь от чего-то ненужного, раздражающего.

– Знаешь, Ванька, мы наверное уедем отсюда, – сказал он и сам обрадовался, что наконец-то эта простая мысль пришла в голову.

– Ну и вали, – сказал Ванька равнодушно, – дом продавай и вали. Или не продавай. Как знаешь.

– Но... ты не поможешь?

– Нет.

– Думаешь, хорошо устроился? – он услышал свой собственный голос, и голос этот был чужим, – а ведь не получится, Ванька. Ригель взорвется. Он сбросит огненную оболочку, и она будет расширяться и расширяться. И охватит полнеба. Ригель сожжет нас всех. Думаешь, тут, в лесах от него можно укрыться? От язвящего пламени его, от жара, дующего в лицо, от белого его, голубого, синего света...

– Псих, – брезгливо сказал Ванька. – Псих, слюня. Всегда был таким. Пшел отсюда.

И чуть толкнул его ладонью в грудь, не сильно, но он почему-то не удержался, пошатнулся и почти вывалился на крыльцо.

Ванька вышел следом и теперь, стоя к нему спиной, деловито запирал дом.

– Ванька, – он прочистил горло, – что это?

– Ну, шерсть, – сказал Ванька, лязгнув напоследок засовом.

– Откуда?

– Ну, зацепилась. Собака пробежала, и зацепилась.

Потом, сообразив, что тут нет собак, добавил:

– Или лиса.

– На такой высоте?

Клочок шерсти, зацепившийся за оконную раму (он потом разглядел еще один, чуть ниже, словно бы кто-то терся об угол дома, а потом заглянул в окно) был темно-бурым и довольно длинным; словно бы пучок водорослей... почему водорослей? Причем тут водоросли?

– Медведи здесь водятся, – с некоторой даже гордостью сказал Ванька. Стычка в доме словно бы позабылась, и он был деловит и дружелюбен.

Под окном пышно рос бурьян.

На дорожке вроде бы остались вмятины, но они с Ванькой и сами тут ходили. На пыльных тропинках... далеких планет... останутся наши следы. Хорошо, что я сказал Джульке сидеть дома.

Можно, например, попроситься к тете Тане. Тетя Таня зануда, и Джулька ей не понравится. И она – Джульке. Она же не народ, а просто старая противная тетка.

Ничего. Стерпится – слюбится. А потом как-нибудь устроимся. Почему я с самого начала не подумал? Ванька уболтал? Гипноз какой-то, ей-богу.

Джульке сначала тут нравилось. А теперь и непонятно.

– Ну я пошел, – Ваньке надоело стоять на одном месте, он вообще не отличался терпением, – ты это... заходи как-нибудь. Если что.

– Если что, – согласился он.

***

– Уеха-ать? – удивилась Джулька.

– Ну, да. Через пару дней где-то.

Как только прояснится с девочкой, подумал он, хотя какое ему собственно дело до девочки? Может, наоборот, лучше уехать, пока не прояснилось с девочкой...

– Заче-ем?

Ему вдруг показалось, что Джулька растягивает гласные как-то утрированно, словно бы притворялась, что говорит на неродном языке. Нарочно, потому что это кажется трогательным?

– Тебе диссертацию нужно писать, – напомнил он, – ты же хотела. В библиотеку.

– Да, – плечи опущены, глаза опущены, рыжие волосы висят прядками, – диссерта-ацию.

Слово «диссертация» было сухим и ломким. Точно щепки.

– А где мы буде-ем жить?

– Сначала у тети Тани. Ну, мамина сестра, я говорил тебе. Потом подыщем что-нибудь.

Он заправил картошку магазинной сметаной, покрошил вялый магазинный укроп. Джулька хотела огород, чтобы лук и молодая зелень, но теперь уже не получится, наверное.

– Знаешь, – сказал он, – чтобы куда-то устроиться, вот так, по мэйлу нельзя. Не получается. Надо самому все время вертеться. Заходить, спрашивать. Контачить. Ничего не выйдет вот так, по мэйлу.

– Почему? – Джулька уминала картошку с удовольствием.

– Потому что это Россия. Тут все на личных отношениях.

– Надо водку пить с нужными людьми, да-а?

– Да, – он поднялся и счистил с тарелки остатки картошки в помойное ведро. Поросенка бы хоть кто держал, жалко ведь, еда пропадает.

– Ты куда?

– Сейчас вернусь, – сказал он.

На чердаке вроде все осталось как прежде. Или нет? Он не помнил. Помятая юла – она так и лежала под той стенкой? А сдувшийся пляжный мяч? Был тут раньше? Спички?

Толстенький коробок туристских спичек выглядывал из-под старого ратинового пальто. Он

вдруг подумал, что, наверное, мало кто вообще помнит это слово – ратиновый.

Внизу Джулька вежливо улыбалась дяде Коле, напряженная верхняя губа открывала бледную десну. Почему-то он раньше не замечал, что, когда она улыбается, у нее видна десна, это было неприятно, словно бы она показывала чужому человеку нечто очень интимное, розовое и влажное.

– Вот, Борисыч, принес, – дядя Коля был серый и тусклый, словно бы присыпанный пеплом и голос у него был серый и тусклый, – мне чужого не надо. А то этот приедет, спросит, где телескоп? А я чего, он в саду стоял, мокнул.

Вот откуда они, интересно, все знают? Мобилы у дяди Коли ведь, скорее всего, нет. Или есть?

– Я думаю, не спросит, дядя Коля.

Может, дядя Коля намекает, чтобы поставили стакан? Но просто налить стакан невежливо, это уж наверняка надо сесть, налить ему, себе, обстоятельно поговорить. О чем? Что не уродилась картошка? Что при Брежневе выпекали хороший хлеб, а теперь разве это хлеб? Нет, с дядей Колей можно поговорить о том, что скоро взорвется Ригель.

Но дядя Коля не стал говорить о Ригеле, а повернулся и пошел прочь; из прорванного на спине серого ватника торчал клок серой ваты.

– Погодите!

Он заспешил за дядей Колей, который шел, казалось, медленно и неторопливо, но каким-то удивительным манером оказался уже у калитки.

– Это вот что такое, дядя Коля? Я хотел спросить, чье?

Дядя Коля без выражения смотрел на пучок длинной рыжей шерсти в его ладони.

– Не медведь? Я так думаю, длинновата она для медведя?

– Зачем тебе? – сказал дядя Коля скучно, – ты ж уезжаешь.

Откуда он знает? Джулька сказала?

– Ну, вот, просто интересно...

– Ты это, Борисыч, – дядя Коля смотрел на него сочувственно, глаза тусклые, точно присыпанные пеплом, вертикальные морщины на щеках тусклые и серые... – нечего тебе здесь делать. Раз собрался, так и уезжай. Пока не поздно. Хотя, может, и поздно. Вон идет.

– Здрасьте, Бабакатя, – сказал он машинально.

На резиновые сапоги у Бабыкати налипли рыжие сосновые иголки, плетеная корзина в пухлой, красной, как связка моркови, руке прикрыта серым пуховым платком.

– А вот грибочков-то, – Бабакатя суетливо поправила платок на корзине, – грибочков-то много нынче пошло. Мяста надо знать грибные-то...

Бабакатя говорила механически, без выражения, словно бы вела свою роль в абсурдистской пьесе.

Ему показалось, что в корзине что-то шевелится.

– Ну что, лиса, – скучно сказал дядя Коля, – не вертеть тебе хвостом? Не хочет тебя больше хозяин-то.

Он вдруг увидел, что Бабакатя выше дяди Коли на голову и шире в плечах. Чем-то она напоминала страшных чугунных женщин на привокзальных площадях усталых районных городков.

– Тьфу на тебя! – Бабакатя выпростала из шерстяной линялой кофты другую багровую руку и махнула на дядю Колю, – Иди, иди отсюда. А ты, Борисыч, ты его не слушай, совсем мозги пропил.

– Оленку ему, выходит, подсунула? Не опоздала бы, коза. Девка мелкая, Фекла-то тоже прошлым летом, думаешь, зачем в лес бегала, а? Кому жаловаться? И на кого?

– Ну и где Фекла-то? – Бабакатя прижала корзинку к груди, голос у нее стал почти мужским, с закрытыми глазами он бы не отличил его от дяди Колиного. – И где она, твоя Фекла? В дурке твоя Фекла, вот где! Будто я не знаю.

– А ведь сбежала она, – торжествующе сказал дядя Коля, вновь проявив поразительную осведомленность, – Так что смотри, коза....

– Это ты смотри, Николаич, – он никак не мог разглядеть что там, в корзине, хотя и старался, – живешь, горя не знаешь. И по грибы, и по бруснику. Вон, в прошлом году сколько пудов

кооператорам сдал! А почему? Потому что Бабакатя в лес ходила за вас за всех. А теперь (тяперь) как старая стала, так что? И девкой ты меня, Николаич, не пугай. Девка – что? Девка – тьфу, а хозяин-то вон он...

– Вы это о чем?

Они оба обернулись к нему – синхронно.

– Иди, Борисыч, – дядя Коля говорил мягко, как с ребенком или слабоумным, – не твоего ума дело.

А Бабакатя, кивнув толстым подбородком в подтверждение, пробормотала что-то вроде «грибочков...».

– Бабакатя, – спросил он неожиданно для себя, – а вы правда доктор наук?

– Чаво? – Бабкатя моргнула редкими белесыми ресничками. Байковый халат на груди вытерся сильнее, чем на животе, а на животе – сильнее, чем у подола. Он вдруг увидел, что маленькие глаза у нее холодные, пустые и страшные.

– Нет, это я так. Это так просто.

Это клоуны. И она, и этот дядя Коля. Они сговорились. Свести его с ума. Выжить отсюда. У них такая игра. Они так со всеми. С приезжими. Других развлечений тут нет...

Со стороны пыльной дороги, из-за плотной стены борщевика, донесся гул мотора.

***

– Вы правда думаете, что она прячется на чердаке?

– Не знаю, – Заболотный устало покачал головой. – Вообще-то она любила там прятаться. Ну, как бы убежище. Домик. Но как бы она сейчас туда залезла? Вы бы заметили. К тому же...

Заболотный замолк, глядя перед собой.

– С кошкой любила там сидеть, – сказал наконец Заболотный.

Он вдруг подумал, что Заболотный – еще один их с Ванькой двойник, немолодой мужик, женатый вторым браком, бывший итээровец, что ли, походник, наверное, байдарки, костры в лесу, новая жена, новый поздний ребенок.

– Как она могла убежать так далеко? – он, казалось, с трудом двигал челюстью, – она до сих пор вообще не убегала. Она вообще ничего не делала. Сидела и не двигалась. Кормят – ест. Ну и так далее.

Заболотный вновь смолк и дернул кадыком.

Он молчал. Ему было жаль Заболотного.

– Потому ее там ищут. Около лечебницы. А сюда это я так. На всякий случай. Не знаю, зачем, честно говоря.

– Ваш? – спросил он зачем-то.

Телескоп стоял в сенях, расставив ноги, словно диковинное насекомое.

– Она интересовалась астрономией, – Заболотный оживился, как человек, которого насильственно отвлекли от неприятного, – вот я и... на день рождения. Тут нет светового загрязнения. Совсем. Удобно наблюдать. Она каждый вечер, когда можно... когда небо ясное. Один раз даже уверяла, что видела летающую тарелку. Представляете?

– Ну, могло показаться. Метеозонд или запуск спутника... Там, на севере, космодром ведь. Ракетный полигон...

– Огни на Луне видела, – продолжал Заболотный, не реагируя на его реплику.

– На Луне? Что за огни на Луне?

– Ну... – Заболотный с усилием вынырнул из воспоминаний, но сказал охотно и оживленно, – это такой феномен... еще в девятнадцатом веке наблюдали. В сороковые, и позже. Груйтуйзен, например. И Хадсон. Вроде как последовательные сигналы. И объекты. Непонятно.

– И американские астронавты, конечно, тоже видели?

– Да. И они. – Заболотный не уловил иронии, или сделал вид, что не уловил. – Вроде было даже кодовое слово, «Аннабель», кажется, обозначавшее проявление сознательной деятельности,

ну, если наблюдаемое точно не подходит под описание природного явления, а...

– Метеориты? От удара может быть вспышка, даже если...

– В безвоздушном? Да. Но эти были организованными. Последовательными. Она говорила, что... говорила, что, – он запнулся и набрал воздуху, – цепочку огней в кратере... да, Эратосфен. Как бы движущуюся. Белые огни, как связка бус...

– Красиво.

– Да, – согласился он, – красиво.

– И вы видели?

– Нет. Когда я добежал до... они уже погасли. Не повезло.

– Да, – согласился он, – не повезло. Скажите, а... Там, в лесу... с ней ничего не случилось? Такого?

– Случилось, – Заболотный погас, словно внутри повернули выключатель, – такое.

– Простите.

– Уже ничего. Я, пожалуй, заберу его. Телескоп. Не возражаете?

– Нет, конечно. Что вы.

– Добрый де-ень, – Джулька стояла в дверях, бледными тонкими руками в мелких коричневых родинках прижимая к себе Бабыкатину корзину. Пухового платка, прежде накрывавшего корзину, впрочем, не было.

– Это моя жена, – пояснил он зачем-то Заболотному, – она славистка.

– Очень приятно, – равнодушно сказал Заболотный.

– А это бывший владелец нашего дома.

– Яитчницу хоти-ите? – Джулька улыбнулась, вновь показав розовую десну. Она всегда так улыбалась, а он не замечал?

– Нет. Я, пожалуй, пойду, – Заболотный, сидевший на корточках, продолжил сосредоточенно свинчивать ноги телескопу, – к Ивану.

– Вы друзья? – спросил он зачем-то.

– Он сложный человек, – суставчатые ноги телескопа сложились, и Заболотный подхватил его под мышку, – и как бы это сказать... материально озадаченный...у него вряд ли есть друзья. Но я лучше там.

Он смотрел, как Заболотный идет к машине. Телескоп торчал у него из-под руки, как гранатомет у Терминатора.

– А ты буде-ешь? Яитчницу?

Может, подумал вдруг он, она бессознательно нацелена на то, чтобы вывести его из себя, чтобы он сорвался, наорал – может, у нее просто такая внутренняя потребность – быть униженной. Эта тяга к русской классике. И поэт-резидент.

Он заставил себя несколько раз вдохнуть и выдохнуть.

– Опять Бабакатя яичками торгует?

– Это... свободно? Ну, как... даром, в подарок, да-а? Она добрая на самом деле. А зачем он приезжал?

Дядя Коля знает. Бабакатя знает. А она не знает. Сам же не хотел ей говорить, не хотел тревожить. И Бабакатя ей не сказала?

– У него сбежала дочка, – сказал он неохотно, – маленькая. Он приехал ее искать. Это раньше был их дом. Ты ее не видела, девочку?

– Откуда? – Джулька помотала рыжей головой. – Зачем девочка? Не видела. Ты куда?

Он натянул свитер и куртку, и уже собрался сунуть ноги в резиновые сапоги.

– Надо же, – сказал он неуверенно, – помочь.

– Они тебя звали?

– Нет, но...

– И не позовут, – сказала Джулька.

– Почему?

– Они – сами по себе. Мы сами по себе. Они не позовут.

– Но девочка...

– Ванька-то нас на самом деле не лю-юбит, – ему вдруг показалось, что акцент у Джульки то исчезает, то появляется, – и Алена не лю-юбит. Зачем – ты? Зачем – они? надо вызывать... nine-one-one... Эм-Че-Эс, да-а? Почему он не вызовет? Эм-Че-Эс?

– Наверное, вызовет, – согласился он.

– А тебе нельзя в лес.

– Почему?

Джулька приблизила к нему треугольное лицо. Глаза у нее были светлые, почти прозрачные, в бледных рыжих ресницах, белки яркие, аж голубоватые, а кожа на лице нечистая, в черноватых порах. Это из-за воды, наверное, тут и умыться как следует проблематично. И нету этих их лосьонов, в Штатах полно всего, индустрия красоты, а в России нет настоящей косметики, одна подделка, он читал.

– В лесу стра-ашно, – шепотом сказала Джулька.

В окне стояло багровое распухшее небо – словно Ригель уже лопнул. На фоне небесного огня все зеленое казалось синим, островерхие деревья на кромке неба металлически темнели, точно зубья гигантской пилы. Потом из алого сияния всплыл полупрозрачный вращающийся диск, и он на какой-то момент решил, что видит летающую тарелку, но это был просто встающий из-за дальнего леса вертолет. МЧС или так, случайный?

Он не знал.

Но звонить Ваньке и спрашивать не стал.

***

– Джулька!

Джулька сонно пошевелилась у него под боком. Небо погасло, последняя рубиновая полоса потемнела и растворилась в синеве, Ригель болтался в нем такой же, как всегда, белый, далекий, чистый.

– М-ммм?

– Кто-то ходит.

Под окном трещали ветки кустарника. Он слышал тяжелые шаги. Мягкие. Нечеловеческие. И еще что-то. То ли рык. То ли стон.

– М-ммм? – Джулька повернулась во сне. Жесткая рыжая, сейчас, в темноте, черная прядь скользнула по его щеке, и он отдернул голову так резко, что сам удивился.

Медведь? Он в книжках про Арктику читал, что белые медведи любят рыться в отбросах, в мусорных кучах, а потом, когда смелеют, начинают нападать и на людей, поэтому зимовщики никогда не выбрасывают мусор рядом с домом, чтобы не приманивать, всегда оттаскивают подальше, даже если мороз или пурга. Так то в Арктике. Тем не менее, страшно – если этот вдруг ломанется сюда, что его остановит?

Дядя Коля говорил, тут есть медведи.

И Ванька, вроде, говорил.

Впрочем, дядя Коля уверял, что инопланетяне тоже есть.

Ему и в голову не приходило, что здесь может понадобиться оружие. Он, вроде, занес топор в сени. Это хорошо.

Бревна заскрипели, словно кто-то тяжелый снаружи терся об углы.

Не хотел пугать Джульку, не хотел ее будить, но все же придется.

Он нащупал в темноте ее худое прохладное плечо, оно на ощупь было чуть клейким, словно она спала на жаре.

– Джулька! Проснись же!

Джулька подобрала ноги и села, ее профиль чернел на фоне дерева, казалось, ветки вырастают у нее прямо из волос.

– Да-а?

– Слышишь?

– Что?

– Ну вот же...

– Тебе приснилось, – сонно сказала Джулька и вновь рухнула на кровать, – плохое. Спи.

Она завозилась, устраивалась так, как любила, коснулась острыми коленками, и он невольно отстранился – футболка, его футболка, в которой она любила спать и которая была ей велика, была влажной и холодной. А подол так и вообще мокрым.

– Ты чего такая мокрая?

– На двор ходила...

– Не ходи больше. Это опасно. Ходи в ведро.

Господи, а вдруг ему не померещилось, а вдруг там и правда кто-то есть. Хорошо, что все обошлось.

Он лежал и слушал, но было тихо, Джулька ровно посапывала под боком, и теплый, золотистый сон начал одолевать его, только что-то скребло и тревожило, какая-то неправильность, ну да, «на двор», так бы сказала Бабакатя, не Джулька.

Не в том дело, что снаружи кто-то ходит и стонет, хотя и в том тоже, дело в том, что слышать его можно только поодиночке. И когда взорвется Ригель, каждый из нас будет смотреть на взрыв из тюрьмы своего тела, своего неслиянного одинокого «я».

– Джулька?

– М-ммм?

– Скажи «тыща». Пожалуйста.

– Чаво? – сонно пробормотала Джулька.

***

На выгоревших обоях плясало пятно холодного чистого света, на вытертых досках пола еще одно, – он опустил в него ноги, и волоски на икрах зажглись золотом.

Джулька спала, подложив ладонь под щеку, она была розовая, теплая, ухо чуть подсвеченное, в золотистом пушку.

Он вышел в сени и увидел, что никакого топора там нет – наверное, он все-таки забыл его у поленницы. Зато там было полным полно муравьев – причем крупных, они лезли из всех щелей, когда он присмотрелся, увидел, что у них крылья. Муравьи суетливо толкались и карабкались друг на друга. У некоторых крылья были обломаны.

Частокол света сам собой воздвигся меж яблонь, паутина, растянутая меж перилами, дрожала и переливалась, как это бывает на неправдоподобных глянцевых фотографиях, типа «чудеса природы», хотя, если вдуматься, что может быть хорошего в паутине?

И тут тоже были муравьи, везде были крылатые муравьи, словно кто-то там, в темной глубине земли, дал им команду – готовность номер один, всем постам! Всех свистать наверх!

Он нащупал в кармане ветровки телефон – гладкий и прохладный, и это было приятно. И еще там был коробок туристских спичек, тот, с чердака. Он что, его тогда положил в карман? Он не помнил.

– Уехал, – Ванька ответил сразу, но как-то коротко, рассеянно. – Ночью уехал. Нашли девчонку.

– Спасатели? – он был приятно удивлен.

– Какие спасатели? Врачи и нашли. Пряталась на чердаке.

– На чердаке? В больнице?

– Там, знаешь, тоже чердак есть. Слушай, ты Аленку не видел?

– Аленку? – переспросил он, – нет.

– Куда-то пропала, не пойму. Может, к вам пошла?

– Может, – согласился он.

– Ты как увидишь, отзвонись, ага?

Джулька стояла на крыльце босиком – узкие ступни, розовые круглые пятки; слишком просторная футболка, ворот сполз на плечо. Сонное розовое лицо, рыжие волосы на солнце вспыхивают почему-то не только алым, но синим, зеленым. Красиво.

– Ага, – сказал он, – отзвонюсь.

Увидев, что он на нее смотрит, она улыбнулась ему, показав влажную розовую десну, и разжала детский розовый кулачок. Бледная ночная бабочка, косо порхнув, упала в разросшиеся кусты бурьяна около крыльца.

– Борисыч, – крикнула Джулька с крыльца, – ты куда?

– Сейчас, – отозвался он уже от калитки, – сейчас вернусь. Спички-те я Бабекате забыл. Забыл я Бабекате спички. Сейчас занесу спички-те и вернусь.

Денис ГУЦКО

Рассказы

ПРАЗДНИК

Первая после развода встреча с дочкой случилась неожиданно. Капустин совершенно не успел подготовиться. В пятницу, перед обедом, позвонила Лера:

– Папа, мама хочет, чтобы я дома... то есть, у тебя пожила.

Снова это бетонное равнодушие. У Капустина сердце съежилось. Чуть не ляпнул: «Сама-то не рада с отцом повидаться?» Вовремя спохватился. Лучше уж равнодушие, чем прямая грубость. Резануть Лера умеет. Раз – и готово. Хочешь, кричи, хочешь – аккуратно помалкивай. Возраст такой: жизнь исследуется всеми возможными методами, включая хирургический. На ком и упражняться, как не на предках.

– Отлично! – сказал Капустин. – Здорово.

– До понедельника, на все выходные...

– Отлично, доча! Я уже соскучился! Давно надо было...

– Я на работу к тебе приеду.

– Может, заехать за тобой? Давай? Мне не сложно.

– Не надо.

– Точно?

– Ну, всё, пока. Не могу говорить.

– Смотри, внимательно на переходе...

Гудки.

Капустин затосковал. Будто готовился не к свиданию с дочкой (и ведь, точно, соскучился!), а к нудному квартальному собранию, на котором, как водится, до восьми вечера, будут пугать и агитировать, пугать и агитировать – и на посошок еще немного пугать... Стал рассеянный. Путался, то и дело переспрашивал клиентов. Клиенты злились.

На работе у Капустина – в «Тойота-центре», где он командовал бригадой электриков – Лера бывала много раз. И ничего, никакой неловкости. Но теперь он чувствовал, что стесняется перед дочкой своей работы. «Ну, да, не из бар, – мысленно огрызался Капустин. – Блатом не вышли, а лизать не приспособлены. Всё своим горбом, да».

После обеда позвонила Галя. Вся такая позитивная, как из рекламного ролика. Рекламировалась, видимо, новая жизнь без Капустина – полная бодрости и стремлений.

– Стало быть, сможешь Леру забрать? До понедельника.

– Смогу.

– А то нам обои будут клеить. У нее аллергия обострится.

– Угу.

– Она на работу к тебе приедет. Нормально?

– Да мы договорились уже, я ее жду, – сказал Капустин, и недавняя его жена сказала: «Спасибо, Владимир».

Денис Гуцко родился в 1969 году в Тбилиси. Там же окончил среднюю школу. В 1987 году переехал в Ростов-на-Дону. Окончил геолого-географический факультет Ростовского государственного университета. Служил в советской армии. Публикации в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Новый мир» и др. Книги: «Русскоговорящий» (2005), «Покемонов день» (2007), «Домик в Армагеддоне» (2009). Лауреат премии «Русский Букер» (2005). Живет в Ростове-на-Дону.

Поговорив с Галей, вспомнил, что на субботу назначена встреча с Ваней и Мишей. Культурный мальчишник в тихом кабачке. Решил сразу предупредить, что всё отменяется.

Ваня даже не дослушал. Капустин успел лишь сказать:

– Слушай, в субботу, кажется, не получается...

А Ваня тут же:

– Не беда. В другой раз посидим.

Даже, как будто, обрадовался.

Миша в отличие от Вани дослушал до конца – и про незапланированный приезд дочки, и про то, что мальчишник всё-таки должен состояться – чем раньше, тем лучше, давно не сидели, и вообще... Но отреагировал с той же легкостью.

– О чем речь, старик! Нет, так нет. Звони.

«Не сильно-то и хотелось», – договорил за него Капустин.

Никому он не нужен. Со своей депрессией, со своим скоропостижным разводом.

Принимая и отдавая машины, вбивая циферки в базу, Капустин думал о дочке. Вернее – о том, как с ней держаться. О чем говорить. О чем не говорить. Как преодолеть отчуждение. Понимал: само собой не пройдет. У Леры с пеленок раны плохо затягивались.

Когда-то он быстро освоил, как памперсы менять, как поить из бутылочки, как голову пушистую укладывать уютно в сгиб локтя. Но тогда Галя подсказывала. А тут...

«Ну?! И как это делается? Как становятся отцами-разведёнками?»

Вспомнилось прощание с Лерой.

Завершив великое переселение цветочных горшков, он уходил из дома Марии Константиновны, Леркиной бабушки. Занес последний фикус на лоджию, вышел, сказал:

– Готово!

Свежеиспеченная бывшая теща откликнулась с дивана:

– О, как ты быстро! – и продолжила орудовать пилкой по ногтям.

Звонко так откликнулась. Радостно. Будто цветы переехали к ней вслед за Галей и Лерой не по причине развода супругов Капустиных, а на время их курортной поездки.

Галя накрывала стол на кухне. Задержаться на чашечку чая Капустину не предлагали. Впрочем, он и сам спешил уйти: на душе было катастрофически мерзко. Хотелось оказаться где-нибудь далеко, в незнакомом месте – и желательно, другим человеком. Лера сидела тут же, в гостиной, листала телевизионные каналы.

– Пока, доча.

– Пока.

– Увидимся?

– Ну да.

Подошел, чтобы поцеловать на прощанье. Наклонился, ткнулся губами в щеку. Лера нажала на кнопку пульта.

– О, вот этот прикол! Смотрите.

Обида прошла быстро. Растерянность осталась. Весь этот месяц, свыкаясь с холостяцкой своей ущербностью, Капустин и так, и эдак примеривался к холодку, которым повеяло от дочки. В последнее время она часто дерзила. Но равнодушием не потчевала никогда. Нужно было что-то придумать. То, что поможет быть отцом с удаленным доступом.

Мерещилось снова и снова: склонился над Лерой, чмокнуть на прощанье – а между ними провал, не дотянуться никак.

К вечеру Капустин окончательно извел себя страшилкой о том, что все выходные предстоит ему бродить вдоль этого провала, прилежно аукать и чувствовать себя идиотом из Ютьюба.

Началось сразу же, как только встретил ее у служебного входа.

– Привет, доча.

– Мммм.

Поцеловал чужую щеку. Коснулся чужой руки.

– Голодная?

– Не.

Забрал у нее школьный рюкзак.

– Тяжеленький.

Пожала плечами ради приличия.

А Капустин продолжал говорить, не сходя с места. Будто желал проверить наличие контакта прежде, чем они отчалят от «Тойота-центра». Чтобы в случае обрыва быстренько найти и устранить.

– Домашнее задание завтра будешь делать? Или лучше сегодня?

Она соорудила большие глаза: как много слов в один заход. Но отец всерьез ждал ответа, и она ответила – через силу, комкая фразы – как актриса, уставшая в сотый раз прогонять одну и ту же пустяшную сцену из-за никчемных партнеров.

– Я же от бабушки. Заставила сразу после школы все уроки сделать.

– Да, бабушка, она такая, – подтвердил Капустин и потрепал дочку по плечу. – Что, поехали домой?

– Мммм.

Ау! Ау-у-у!

Глухо.

В машине он всё так же неуклюже пытался нащупать тему, которая хоть ненадолго увлекла бы дочь. Разговор обрывался на третьей-четвертой фразе. Предложил заехать в гипермаркет за сладостями. Сладкоежка Лера решительно отказалась.

– Я на диете, если чо.

В неполных пятнадцать – на диете... Это, разумеется, Мария Константиновна. Успела девочке мозги промыть. Капустин так и видел, как, выведя Леру на середину комнаты, бабушка проводит генеральный смотр – обходит ее вокруг, всплескивая руками и качая головой: ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тут висит, тут выпирает... Ее бы в «Тойота-центр»: пугать и агитировать она мастер.

Вспомнил об армии кошек, расквартированной во дворе бывшей тещи. В последнем подъезде жила заядлая кошатница. Лера любила про кошек вспомнить: как они там сидят шеренгой на лавочке, как с веток прыгают прохожим прямо под ноги. Раньше любила.

– Как там кошки?

– Живут... кошки...

И весь разговор.

Можно, конечно, и в молчанку поиграть.

Дежурный вариант – наорать: хватит отца третировать, сколько можно!

Не исключено – выскочит на первом же светофоре.

Лучше уж в молчанку.

Ее на этом поле не переиграешь, понятно.

Рано или поздно крышу сорвет.

И тогда – дежурный вариант.

Противно все-таки заискивать перед собственной дочкой.

Развелись беспричинно.

Не ругались, отношения не выясняли. Никто на сторону не гулял. Затаенных обид, сдетонировавших ввиду истекшего срока хранения, вроде бы, тоже не было. Просто в один прекрасный день признались друг другу, что давным-давно друг для друга умерли. И новый статус нужно было закрепить документально.

Финальный разговор состоялся в постели перед сном.

– Совсем пусто, всё выдохлось, ни грамма не осталось.

– Да, понимаю.
– Так не может продолжаться.
– Согласен.
– Нужно развестись.
– Как скажешь. Конечно.
– Я не со зла. То есть... черт! Не знаю, как сказать... Чушь несу какую-то. Устала. Всё как-то... бессмысленно... Из жизни роботов... Прости. Я тоже виновата, конечно...

Капустин вполне понимал насчет бессмыслицы.

По вечерам встречались усталые, немые. Ужин, душ, телевизор. Лера с подружками или в интернете.

– Уроки сделала?
– Сделала.
– Завтрак в школу собрала?
– Собрала.
– Спать собираешься?
– Собираюсь.
– А одежда?
– Чистая.

Периодически задумывался – чаще всего перед сном. Пытался, как умел, добавить огоньку в семейную жизнь. В кино ходили, в рестораны. Правда, редко. На утверждение мужского начала сил оставалось всё меньше. «Ну, так попробуй попаши с мое в этой потогонке», – злился Капустин.

Ужин, душ, телевизор.

Ночью он проснулся с неожиданно ясной и холодной головой и разбудил Галю. Всё так же полушепотом, чтобы не разбудить дочь, они договорились о разводе.

– Жить Лера будет со мной. Мы к маме переедем.
– Хорошо.
– Я скажу ей о разводе. Но ты ее, пожалуйста, против меня не настраивай.
– И не собирался.
– Квартиру я трогать не буду. Ты только завещание на Лерку составь.
– Какое завещание?! Мне ипотеку еще пять лет платить.
– Вот именно. Завещание никогда не помешает.
– Ладно.
– Машину себе оставляй. Мне там до работы два шага.
– Спасибо. Я тебе половину суммы отдам.
– Что?
– За машину. Выплачу.
– А. Хорошо. Как хочешь.
– В банке с кредитом могут быть проблемы.
– Можно не оформлять пока развод официально. Мне всё равно.
– Хорошо.

– Пап, где пульт?

Плюхнувшись на диван, Лера принялась шарить под подушками, искать пульт от телевизора. Капустин поставил на журнальный столик блюдце с остатками шоколада. Сказал:

– Ну его. Давай поговорим лучше.

Шоколад долго лежал в холодильнике, успел покрыться белесым налетом. Маленькая Лера говорила про такой: «Припудрился».

– В школе все в порядке?
– В порядке.
– Я, в смысле – в классе, с друзьями.

– Мммм.

– Никто ничего не говорит? Насчет того, что твои родители разошлись и... ну... знаешь, как бывает...

– Не, не знаю.

Капустин попробовал рассмеяться.

– Ну, да... откуда...

Собственный смех, топорно фальшивый, шарахнул по ушам. Но нужно же как-то ее растормошить.

– Слушай, а давай в бадминтон? – спохватился Капустин; когда-то Лера могла часами упрашивать его выйти с ней на спортплощадку, погонять волан. – Стемнеет еще нескоро. Ты ведь не забрала ракетки?

– Да ну, – Лера поморщилась. – Вилы.

– Может, завтра тогда? – потёр он руки, демонстрируя предвкушение игрой.

– Мммм.

Не взаправду всё. Разыгрывают друг перед другом роли. Каждый это понимает, и понимает, что другой понимает тоже. Но как это остановить, Капустин не знает.

Пошел зачем-то на кухню. Вернулся с полпути, спросил в лоб:

– Хочешь поговорить?

– О чем?

– Как же... о разводе, о том, как мы дальше будем жить...

Лера сделала вид, что задумалась, прислушалась к собственным мыслям.

– Нет. Не хочу. Говорили уже... Я всё поняла.

– Что ты поняла?

– Что вы устали, и вообще. Всё понятно, пап, не парься.

Капустин сдался минут через десять. Умолк, дал Лере пульт от телевизора: на, включай.

Решительно отправился в магазин.

– Никаких диет! Сейчас нормально поужинаем.

На улице понял, что оделся чересчур легко. Погода успела испортиться. Капустин сразу замерз, начал дрожать. Пробежал до угла трусцой – не помогло, дрожал как осиновый лист.

– Черт бы тебя побрал!

Выходившая из магазина женщина покосилась на него опасливо.

– Извините! – бросил он ей раздраженно.

Развернулся, пошел к стоянке. По дороге позвонил Лере, сказал, что его не будет часок-другой. Сказал, что вконец измотан этим напрягом, что должен собрать мысли в кучу. Он успокоится, вернется, и они поужинают. И попробуют всё заново.

– Что заново? – осторожно уточнила Лера.

– Как что? Учиться быть папой и дочкой. Как-то же надо...

– Аааа.

Долго сидел в незаведенной машине, уставившись в приборную доску.

Самое яркое было в самом начале.

Забирал из роддома – волновался до одури. Не сразу решился взять на руки. Кто-то пошутил: «Да берите, папаша, пока дают».

Дома, когда ее распеленали, у него закружилась голова – от запаха.

Наклонялся вплотную к ее темечку, тихонько вдыхал потусторонний младенческий аромат.

Лерочка-Валерочка, прилетела девочка.

Господи, куда это делось? Было ведь.

Позвонил Ване, попросил встретиться с ним в «Рафинаде». Ваня сходу отбоярился, сказал, что сидит в очереди к стоматологу – какой, на фиг, рафинад. Миша тоже начал отнекиваться.

Капустин упрашивал – и тот вроде поддался.

– Ну, не знаю... Я тут в пробке... Стоим мёртво. И нужно же сначала своих домой закинуть... Если выпивать, так это машину ставить. Пока в гараж, потом такси. К тому же пробка в оба конца.

Капустин предложил ему безалкогольный мальчишник.

– А тогда какой смысл? – пытался отшутиться Миша, пределом которого были две кружки пива за вечер.

– Слушай, Миш, ну надо, – заявил Капустин. – В кои-то веки прошу.

Миша обещал перезвонить, как только выберется из пробки.

Через двадцать минут Капустин сидел в дальнем закутке «Рафинада» и потягивал китайский чай «улун», распустившийся в стеклянном чайнике ажурными лопухами, которые всплывали и колыхались каждый раз, когда грузный, но стремительный официант проносился мимо.

Так уж случилось, что Капустин впервые думал о грянувшем разводе честно и обстоятельно, без робких умолчаний. Прежде всего он признался себе, что никаких страданий от того, что лишился Гали – не испытывает. То, что он принимал за боль от расставания с ней, имело, видимо, более прозаическое происхождение. Семья закончилась внезапно – ушибся во время резкой остановки. Чувство иссякло задолго до развода. Какое уж там чувство, когда от самого себя тошнит, как от ссохшейся замасленной перчатки?

«Ладно, вышло, как вышло... Проехали».

Но распрощаться так же невозмутимо с дочкой Капустин не мог. Отцовское чувство – вот оно, бьется-ворочается. Живое. Никакая рутина не подточила его, не выжрала. Если и это отдать, тогда – окончательная пустота. Дырка сквозная.

В углу зала расположилась компания молодежи. Студенты: только и разговоров, что про сессию. Одна из девушек напоминала со спины Валерию. Очень похоже держала голову: наклонив слегка вперед и набок – чтобы длинная челка хоть немного приоткрыла глаз.

Дома и в школе Лера челку закалывала. Но отправляясь гулять, отпускала на волю – так, что та свешивалась на пол-лица. Капустин под настроение посмеивался над модной прической. Говорил, что выходить так вечером опасно: темно, глаз из-под челки ничего не видит, не убилась бы... Лера отвечала с водевильным жеманством: «Ах, как меня ранит Ваша эстетическая отсталость, милый папа́». Он предлагал ей прихватить фонарик. Она называла его шутки «шахтерскими».

Официант демонстративно покосился на Капустина – дескать, заказал только чай, даром место занимает.

«Для Лерки я, конечно, стал жалким и никчемным, – размышлял Капустин, отворачиваясь от официанта. – Пыжился, пыжился. Потом – чпок, и сдулся. Промямлил на прощанье – мол, пока, приезжай в гости».

Давным-давно, когда бессмыслицей еще и не пахло, Лере было пять лет. Пока Галя вершила дома генеральную уборку, они гуляли в парке. В руке у дочки – только что купленный шар. Налетел ветер, вырвал шар, понес над соснами и каштанами. Заметив, что дочка готова разреветься, Капустин скроил серьезную мину и, приложив руку козырьком ко лбу, сказал довольным, одобрительным тоном: «Решила отпустить к воздушным зайцам? Ну-ну, пусть проведает». Забыв про слезы, Лера принялась выспрашивать, что это за зайцы такие – воздушные.

– В небе живут.

– Я не видела никогда.

– И никто не видел. Сказано: воздушные. Невидимые.

– А откуда ты про них знаешь тогда? Если невидимые?

– Все про них знают. Никто не видел, но все знают.

– Как это?

– Так это! Вот я тебе рассказал – теперь ты тоже знаешь. К ним шарики в гости летают.

– Почему?

– Как почему? Они тоже воздушные. Родственники.

Лера помолчала с минуту.

– Ничего себе!

Чтобы отделаться от назойливого взгляда официанта, Капустин заказал десерт. Кофейное пирожное. Оно оказалось холодным в середке. Несвежее. Держали в морозилке, в микроволновке разморозили – и не до конца.

К молодежной компании, обхватив руками спинку стула, подсел мужчина. Беглого взгляда хватило, чтобы уловить его основательность, вальяжность. Из господ. Одет дорого, выглядит – будто приценивается. Что-то потянуло его к студентам?

Капустин подлил себе чаю. Только чай здесь и можно брать. Чай настоящий.

Барышня с длинной челкой уткнулась в телефон. Скрылась за челкой как за дверью. «Не беспокоить!»

Да уж, сложно будет оживить отношения с дочкой. Самого бы кто оживил.

Унылый нуль.

Пареный овощ.

Да еще бабушка Мария Константиновна рядом.

С бабушкиной фабрикой оптимизма ему не потягаться.

И Галя, как только они расстались, вся засияла.

Дружи-ка, дочка, с папой, ему сейчас надо. Да уж, поди выпроси у малолетки милосердия. Особенно к предку.

А когда-то он был: папочка, солнышко.

Первого сентября, первый раз в первый класс – Лера споткнулась, и коленкой прямо в лужу. Тут уж от слез ее было не удержать. Отказалась идти в школу наотрез. Галя пыталась и так, и эдак уговорить. Сулила подарки. Лерка уперлась: не пойду.

– Я буду некрасивая. Со мной дружить не станут.

Времени оставалось совсем немного. По округе уже разносились задорные школьные песни. Отойти от дома успели прилично. Пометелил Капустин домой, за новыми колготками. Заляпался с головы до пят, взмок. Но успел. Переодели Валерию за кустиком, она шею его обхватила, повисла.

– Папочка, солнышко!

Пищит от радости прямо в ухо.

Господи, как так вышло?

Куда жизнь-то вся делась?

Или это я в ней – куда-то делся?

Выбраться бы.

Хотелось ведь только хорошего.

Позвонил Миша.

– Старик, не обижайся. Не смогу я никак подъехать. Не срастается.

– Ладно.

– Не обижайся.

– Ладно.

Подойдя к своей машине, Капустин обнаружил, что она безнадежно подперта черной, дочерна затонированной «Ауди ТТ». Капустин постучал в окно. В салоне никого не оказалось.

Номера блатные. Почему-то он сразу понял: машина – того мажора, что подсел к студентам.

Капустин вернулся в «Рафинад», спустился в нижний зал.

– Три «тройки», АРО, – крикнул он, стоя возле лестницы. – Чья машина?

Никто не отозвался. Тип, сидевший верхом на стуле, увлеченно рассказывал что-то юношам и девушкам, отвечавшим ему непроницаемым молчанием.

– Чья там «Ауди ТТ», три «тройки», АРО? – выкрикнул Капустин еще раз. – Я выезжать буду. Могу поцарапать.

Улыбчивый тип не повел бровью.

Капустин подошел к нему.

– Ваша машина там стоит?

– Какая?

– «Ауди ТТ». Три «тройки», АРО.

– Черная?

– Черная.

– Черная моя.

Помолчали. Мужичок смотрел на Капустина с тлеющей улыбкой на губах. Немного ленивой издевки. Чуть-чуть, как раз по ситуации: на большее Капустин в его глазах не потянул. Дескать, такой вот мой сегодняшний каприз – на хрен тебя послать, покуражиться... потерпи, человек ты, вижу, привычный.

– Отгоните, пожалуйста. Вы совсем меня подперли. Мне уезжать пора.

Указательный палец оторвал от стола:

– Минуту, – и, повернувшись к столику, продолжил свой рассказ.

Что-то про Казантип. Молодежь напряженно молчала.

– Мне нужно ехать...

– Стало быть, стоит дурочка перед штурвалом и рыдает крокодильими слезами, а чемодан потихоньку так уплывает, уплывает.

Уловив насмешливые взгляды окружающих, Капустин развернулся и отправился к выходу.

Сволочь. Деньгастый потс.

«Лере пока позвонить, что ли? Узнать, как она там».

На лестнице почувствовал, как внутри начала проклёвываться злость.

Вместе со злостью пришло облегчение.

Будто открыл окно, а оттуда свежий воздух – полился по лицу, хлынул в легкие.

Веселая пружинка в животе. Разворачивается, наполняет весельем.

Здорово.

Давно не испытывал такого.

«Ауди ТТ» сочно сверкала черной надраенной тушкой.

Капустин вынул из багажника своего старенького «RAV4» бейсбольную биту, которую много лет возил с собой на всякий случай, «от дурного глаза». Бросил на сиденье, сел в машину.

Позвонил Миша.

– Правда, не обижайся... не получается...

– Миш, Миш, – оборвал его Капустин. – Некогда мне. Давай.

Нажал на отбой. Завел двигатель.

Сначала – почему-то очень медленно и аккуратно – уперся мордой в крыло «Ауди» и, зафиксировав переключатель скоростей на пониженной передаче, начал добавлять оборотов. Включилась сигнализация. Скрежеща и поскрипывая, «Ауди» подалась, но, сдвинувшись немного, встала как вкопанная. Сдал назад и во второй раз въехал в цель с некоторым разгоном. «Ауди» скакнула на полметра и снова замерла. «RAV4» забуксовал. Снова сдал назад, вышел из машины.

Орала сигнализация.

Вокруг ресторанной парковки, на тротуарах, уже собирались люди. Кто-то успел выхватить мобильник, принялся снимать капустинский таран на камеру.

Его переполняло бесшабашное, праздничное воодушевление. Казалось, он находится в эпицентре большого буйного карнавала, в котором ему выпала первостепенная роль.

Краем глаза Капустин уловил, что с балкона соседнего дома кто-то тычет в его сторону пальцем, кричит кому-то вниз: «Вон, вон туда смотри!».

– Сейчас-сейчас, – бормотал он. – Сейчас шо-маст-го-он.

Вынул из багажника антипробуксовочные ленты, выстелил их перед изрядно помятой «тэ-

тэшкой». На «тойоте» Капустина лишь хромированная защита исцарапана –ерунда.

Усаживаясь в машину, заметил, что из ресторана выскочил барин с пиликающим брелоком в руке, остановился с обалделым видом на крыльце.

– А вот и сами пожаловали, – крикнул Капустин, приветливо раскинув руки. – Милости просим!

– Ты охренел, баклан позорный?! – ответил владелец «ауди», не двигаясь с крыльца. – Ты... охренел, да?!

Переглянулись мельком. Капустин понял: нет, не подойдет. Удивился. Он был уверен, что без побоища не обойдется – и вдруг тут такой пшик... Он даже устыдился своей бейсбольной биты.

– Ну, воля ваша.

Сел в машину.

– Я ж тебя, падла, в порошок сотру! Слышь, падла?!

Заметив, что разгневанный барин вслед за случайными свидетелями стал снимать его на камеру телефона, Капустин открыл окно, сделал приветливо ручкой – и надавил на газ. По шершавой поверхности лент «RAV4» попер как танк.

– Гремя огнем, сверкая блеском стали, – горланил Капустин.

Вытолкав «Ауди ТТ» на достаточное расстояние, он объезжал ее справа, когда наперерез ему рванул охранник из «Рафинада». В руке его торчал травматический пистолет.

– Сколько тебя ждать! Мочи его! Мочи на хрен!

Капустин успел уклониться, но пуля все же клюнула по касательной за ухом. Рефлекторно вжал педаль газа в пол. Еще несколько выстрелов пришлись в заднее стекло, тут же покрывшееся мелкой паутиной трещин, и, судя по звуку, в задний фонарь.

– Пойдут машины в яростный поход!

Домой он ввалился в потешном колпаке, с дуделкой во рту. Купил по дороге возле рынка.

– Собирайся! – крикнул дочке. – Едем!

Капустин дунул, дуделка развернулась, как хамелеонский язык, и заверещала павлином.

– Цигель-цигель! Ай-лю-лю!

Лера смотрела на отца неподвижными округлившимися глазами. На этот раз удивление было вполне себе натуральным. Капустин прыснул со смеха.

– Собирайся же! Быстрее!

Она заметила кровоточащую шишку у него за ухом. Потянула его за рукав, разворачивая к себе боком.

– Что это, пап?

– Мелочи! На вот лучше, дуди!

Он сунул Лере дуделку, она взяла машинально.

– Папа, что случилось? – дочка вынула из кармана очки, водрузила на переносицу. – Тебе «скорую» нужно вызвать. Там у тебя ужас что такое.

– Да брось ты, Лер, – Капустин освободил рукав и, сняв с вешалки дочкину куртку, подал ей. – Собирайся, говорю. Едем.

– Куда едем?

– Куда-нибудь. У нас праздник.

– Какой еще праздник, пап?

– Не знаю. Не успел придумать. Праздник отца и дочки! О!

Лера топнула ногой.

– Какой... Что происходит вообще? Можешь ты мне объяснить?

– Легко! Ты, главное, не бычься на папочку.

Снял с себя колпак, нахлобучил на голову Лере.

– Повздорил с одним. В ресторане. Потом охранник ресторана в меня выстрелил.

– Выстрелил?!

– Ой, да не делай ты такое лицо. Из травматического. Всего лишь. Нечего, в общем, рассказывать...

Затащив отца в комнату, Лера усадила его на диван.

– Повздорил?

– Ага. Но это фигня всё. Честно. Лерочка-Валерочка, заяц ты мой воздушный! Поедем куда-нибудь погуляем. Нам праздник нужен, понимаешь ты?! Сейчас же, немедленно!

– Да что за праздник? Нашел, блин, время...

– А не будем о грустном, – отмахнулся он. – Я тебя люблю, так? Отвечай!

Ответить не ответила, но на всякий случай кивнула.

– И ты меня любишь.

Он показал ей кулак: только посмей ерничать.

– И почему бы нам это, дитя мое, не отпраздновать?

– Тебя контузило, что ли? – не сдержалась Лера.

– А ну не перечь отцу! Сказал: праздник, – он повертел руками над головой. – Значит, танцуй, и всё такое...

– Осторожней, папенька, – она приняла, наконец, игру. – В Ваши-то годы...

– Не сметь! В наши оды... Йо-хо-хо, понимаешь... и... как там дальше... тысяча чертей!

– И бутылка рома, отец. Йо-хо-хо – и бутылка рома, – скорбно опуская глаза, напомнила она. – Но ничего, склероз нынче лечат.

Глядя в ее лицо, Капустин понимал, что пропасть преодолена. Всё будет хорошо теперь. Он такой, как надо.

– А тех, кто будет дерзить, мы заставим драить палубу. Ясно?

– И шизофрения лечится. Правда. Я читала.

Через несколько минут, сопя от усердия, Лера смазывала ему рану перекисью водорода, приговаривая ворчливо: «Вот совсем нельзя без присмотра оставить. Ну, ни на минуту», – а Капустин улыбался и был совершенно счастлив.

Полицейские встретили их возле подъезда. Капитан, едва взглянув на Капустина, обрадовался:

– Ха! На ловца и зверь бежит! Всегда бы так.

Сержант оторвался от осмотра капустинской «тойоты», не спеша двинулся навстречу.

Капустин лишь вздохнул:

– Не успели, дочь. Облом.

И заторопился. Колпак и дуделку бросил в мусорный жбан. Сунул Лере ключи от квартиры, велел незнакомым не открывать, поужинать шоколадом, и, если он к утру не объявится, маме позвонить.

Дочка притихла и смотрела на происходящее будто издалека. Ни слова, ни звука.

– Сопротивления, надеюсь, не станете оказывать? С виду приличный гражданин.

Капустин покачал головой. Недавний кураж растаял бесследно.

В приехавшем за ним «бобике», остро пропахшем мочой, валялось неподвижное, но беспрестанно матерящееся тело.

– Паспорт с собой?

– Права.

– Сойдет.

– Быстро вы, – похвалил Капустин, протягивая документы. – Оперативненько.

Увы, попытка подхватить шутливый тон капитана была встречена мрачным молчанием. Очевидно, он не любил, когда шутили в ответ.

Капустина усадили в кабину «бобика». Капитан сел рядом, принялся оформлять протокол. Сержант стоял возле двери, охраняя задержанного и заодно фотографируя в разных ракурсах морду «тойоты». Лупила вспышка. Жужжал, нащупывая резкость, объектив.

– Меня сейчас надолго? – не удержался Капустин. – Оформят и отпустят?

Капитан только хмыкнул.

– Ты номера на машине хорошо рассмотрел? – поинтересовался он, не отрывая взгляда от бумаги. – Со зрением, как вообще, нормально?

Сержант сипло хохотнул над самым ухом.

Капустину велели пересесть назад. Он вылез из кабины.

Во дворе, как недавно возле «Рафинада», успели собраться зеваки.

– С ребенком-то разберись, папаша, – бросил ему через окно капитан.

Лера стояла под козырьком подъезда, в резком свете лампы. Вокруг теснились соседи, лезли к ней с расспросами.

Капустин развел руками:

– Прости, доча. Так вышло. После отпразднуем.

АМЭ ФУРИ

С благодарностью
Ольге Кошелевой и Маеда Сихо

Захлопнула дверь, прижалась плечом.

– Фух!

Впервые в жизни проспала на урок.

Весь вечер ее осаждали воспоминания, тоска держала мертвой хваткой. Про нового ученика совсем забыла, не завела будильник. А утром открыла глаза: мать моя! меня ж японец ждет!

Мальчик стоял посреди класса. Подбородок кверху. Правую руку прижал к бедру, левая на грифе чуть выше деки. Стойкий оловянный солдатик. С виолончелью вместо ружья.

Он-то спокоен. По крайней мере, выглядит спокойным. Не то, что тетя училка, трусливо прилипшая к двери.

– Коннитива, сенсе.

– Здравствуй, дорогой. Извини, проспала. Совсем разболталась.

Ей бы сейчас уткнуться в подушку и лежать – беззвучно, безжизненно.

От нервов и на охранника набросилась. Тот как раз звонил в учительскую – дескать, здесь иностранец ничейный, что с ним делать... Теперь интернат наверняка загудит-зашепчет: Люда после развода как с цепи сорвалась.

Ну и ладно. Теперь уж всё равно.

Вынула из кармана листок, на котором записала имя мальчика.

Мацуда Сабуро. И что здесь – имя? А, вот же – подчеркнуто.

– Сабуро, ты сядь пока, – она махнула в сторону стула. – Посиди.

Кивнул. Обхватил инструмент поперек, подтащил к стулу, сел.

Люда колебалась. Но – действительно – какая теперь разница. Может, последнюю неделю тут. Ну, две. Если раньше не сбежит. Такое тоже возможно: нервы и впрямь ни к черту.

Она пересекла класс и распахнула окно.

Воробьи шумели где-то неподалеку.

Воздух был душистый, полный пасмурной истомы. Облака теснились. Небом как перламутровой крышкой прихлопнуло, ни единого просвета.

Уже закурив, Люда решила, что дверь лучше бы закрыть на защелку. Ввалится, чего доброго, директриса – взбодрит по самое немогу.

Не хочет Тамара Львовна Люду отпускать. Даже мальчишку ей отдала – наперекор интернатовским корифеям. Те очень даже не прочь взять японского ученика. Надбавка к окладу хоть и небольшая, зато – перспектива засветиться на международном уровне. Если парень себя проявит. Азиаты упорные, известное дело.

– Сабуро, – Люда обернулась. Указав на дверь, крутанула несколько раз кистью. – Закрой-ка... там... фиговина такая... поверни...

– Хай.

Он встал, прислонил виолончель к шкафу. Отправился запирать дверь.

– Спасибо.

Затылок коротко стрижен. Сквозь волосы кожа просвечивает.

Вспомнилась картинка из выпусков новостей: усыпанный обломками, растерзанный берег. Вперемешку машины, дома. Жилища, бесстыдно вывернутые наизнанку. Хаос застыл, но как будто временно. Будто решил передохнуть немного – а потом снова рванет, бросится наверчивать смертельные спирали.

Люда не запомнила, что говорила ей Тамара Львовна: то ли побывал мальчишка в переплете, то ли их семью обошло стороной. Какие-то родственники у него без вести пропали. Кажется, тетка – мамина сестра. Точно. Мать потому и не приехала с ним, осталась до выяснения.

– Да уж, – тихонько проворчала Люда. – Вот так живешь, живешь... до поры, до времени... а потом шарах, и в щепки...

В общежитской бытовке, куда ее поселили – как на том растерзанном берегу. Куча ее чемоданов – грузчики не слишком церемонились – куча списанной мебели. Стопка прелых матрасов, на которых она брезгует спать, поэтому спит на скрипучем шатком столе, откуда до отъезда пренепременно успеет грохнуться.

Пусть. Оно, может, на пользу: ощутить костями, что с ней произошло.

– Сейчас, дружок. Немного очухаюсь, и начнем.

– Хай.

Сначала всё было хорошо. Первый год после того, как Коля вернулся из Москвы. В консерватории, пока учился, числился в подающих надежды. В нескольких серьезных конкурсах участвовал. Третьи-четвертые места. Не везло. После выпуска вернулся домой. Был взвинченный, частенько мрачнел. Позовет на свидание – и молчит по полдня. Видимо, Москва из него выходила. Дразнила. Душу выкручивала. Звала назад – а он отпихивался. Бывало, заведется ни с того ни с сего, будто сам с собою: «Не хочу в Москве пропасть! Она разрушает. Порабощает. Она как наркотик. Я здесь всего добьюсь, дома».

Конечно, Коленька. Почему бы нет. Здесь всего добьемся.

Она, собственно, ждала Колю все эти годы – хотя обещаний никаких с него не брала. Написала только раз, без обиняков: «Хочу за тебя замуж». Он ответил длинно и красиво, называл ее землей обетованной, ведуньей, свежим ветром. Вернувшись, сам в нее вцепился. Люда чувствовала: вцепился как в спасательный круг. Нежности в нем было со страхом поровну. Ее это не пугало. Думала: цепляйся, Коленька, на здоровье, на то и семья, чтобы друг другом спасаться. Поженились скоро. Поселились в квартире с видом на Лену. Коля купил: часть из Москвы привез – заработал там уроками – часть в кредит взяли.

Любимый мужчина под боком, азарт новой жизни. Успела побыть счастливой.

Потом Коля сделался чужим. Как-то вдруг – раз, и нет его, незнакомый тип вместо Коли. Руки-ноги, родинки, запах, – всё то же самое. Слова говорит те же. Так же ходит, ест, бреется. Со скрипкой своей так же здоровается по утрам: «Привет, Маруся». Так же спит, посапывая с присвистом. Но – не он. Похож – но не он...

Уверял, что ей только кажется. Ничего не изменилось. Всё хорошо.

Однажды сорвался – когда она вошла к нему без стука: «Не понимаешь ты меня! Не понимаешь, чужая совсем!». На столе партитура перечерканная, комки смятых листов. Так Люда узнала, что Коля пишет музыку. Вздохнула с облегчением: муки творчества – ничего, всё уладится. А в начале мая пришел с занятий, поужинал, говорит: «Нет, Люда. Не могу больше. Не могу с тобой жить. Не пара мы всё-таки. Хоть режь меня, не могу». Долго и обидно извинялся. За то, что обманул: женился без любви, и всё такое.

Она тогда впервые в жизни выругалась матом. От боли.

И вот – общага, чемоданы, растерянность неодолимая. Что дальше? Куда? В общежитии нет свободных комнат. Дали бытовку – устраивайся, как хочешь. Возвращаться к маме, на глухую окраину, где вода в кране по расписанию, а автобусы – как повезет?

Уехать в Москву?

Поехать – и вгрызаться. Обживать свой пятачок на бетонной трясине. Сейчас в ней столько ярости, что хватит надолго. А там поглядим.

В нижних классах начали долбить сольфеджио. Воробьи прыснули из кустов.

Люда обернулась в класс и увидела, что Сабуро всё еще стоит у двери.

– Ой, а ты на стрёме? – она улыбнулась. – Неплохо мы с тобой начинаем... далеко пойдем...

Мальчик прислушивался, пытаясь уловить смысл ее слов. Но и это – спокойно, без натуги. Он не делает ничего излишнего, нарочитого, отметила Люда. Свой человек.

– Брось, – поманила она. – Не стой там. Сейчас урок начнем... Извини... Сейчас начнем.

Сабуро вернулся на стул, Люда крепко затянулась последней затяжкой, выдула струю сизого дыма в небо.

Выехать бы за город, к реке. Она и в городе впечатляет – там, где распахивается во всю ширь. Многоэтажки на противоположном берегу стоят торжественные. Исполняют неожиданно серьезные для многоэтажек роли. Лена вообще – пространство крайне серьезное. А уж за городом, на воле, как начнет бормотать у берега, думы свои проговаривать – страшно ей мешать. Так бы и стояла, не шевелясь, задумавшись с рекой на пару. Но бывает и другое. Когда выйдешь на верхнюю палубу «Кометы» – навстречу вода и свет, глаз не раскрыть, мокрый ветер обжигает лицо, а в сердце восторг... отчаянный, сладкий...

– Да, надо бы выбраться.

Докурив, собиралась пульнуть окурком во двор, но постеснялась мальчика. Затушила, затолкала окурок под наружный жестяной подоконник.

Сабуро смотрел на нее, терпеливо ждал указаний.

– Ты, стало быть, прилежный ученик, а? Правда-правда?

Кто бы ей самой надавал указаний: сделай, Люда, то-то и то-то – и жизнь возродится. Нащупает новое русло. Новую даль разглядит.

Мама с советами не лезла с самого начала. А когда Люда сама спросила про Колю, пожала плечами, буркнула: «Витает... Как с таким жить?»

Умнеть пора, Людмила. Ну, или взрослеть хотя бы.

Довольно! Нужно отвлечься от своего растерзанного берега, заняться мальчишкой.

– Так... Надо бы выяснить, какая у нас база, дружок...

Отец у него дипломат. Незадолго до землетрясения в Хабаровск назначили, в консульство. Весь такой холеный, с манерами. «Мацуда Юута – можно Юра». Оставил ей специальный мобильник для связи. Обещал звонить каждый вечер. Прощаясь, папа с сыном даже не дотронулись друг до друга. Мальчик махнул отцу рукой, тот в ответ подмигнул. Но, спускаясь по лестнице, мужчина вытер украдкой глаза. Может, не такой уж сухарь?

– Сабуро, ты бывал у океана?

Люда и не рассчитывала, что мальчик поймет вопрос. Неважно. Ее настроение он уже понял. Она чувствовала это по его взгляду.

– Когда океан спокойный – бывал? Я нет. В Токио, кстати, была однажды. На фестиваль ездила с выпускниками. В прошлом году. А океан только из самолета видела. Жутко... В смысле – даже когда штиль, жутко. Да... Ну, что ж, начнем помаленьку.

Сняла с полки нотный сборник. Полистала, выбрала «Наш край» Кабалевского.

– На, вот, – сказала Люда, придвинув к мальчику пюпитр с раскрытыми нотами. – Послушаю, что ты уже умеешь.

Она помогла ему установить стул на нужную высоту. Инструмент он взял довольно уверенно. Подпер деку коленом, расслабил плечи.

Люда вернулась к окну.

– Играй, как будешь готов. Я слушаю.

На дальнем повороте дороги водитель пинал ногой колесо микроавтобуса, размахивал руками. Автобус наверняка сломан, водитель огорчается. Если не успеет починить до конца рабочего дня – выслушает много разных слов от преподавателей, которые собирались ехать на ночь домой.

У Сабуро получалось неплохо. Только каждый раз, как он менял направление смычка – начинал тянуть на себя – звук огрублялся, каменел.

– Погоди.

Мальчик опустил смычок.

Люда поставила стул возле него, взяла его правую руку, показала, как надо.

– Вот, понимаешь, мягче. Мягче нужно. Пробуй.

Сабуро начал играть, но на первой же фразе стало ясно, что он не вполне уяснил, чего требует от него учитель. Получается плавно, но по-прежнему грубо.

Люда прошлась по классу.

– Как же тебе объяснить? – она остановилась, скрестила руки. – Задачка... Говорили мне, учи английский. Сейчас бы инглиш не помешал.

– Ай спик инглиш, – отозвался Сабуро. – Э литл.

– Да знаю, знаю, – сказала она. – Я-то ни бельмеса не спик.

Дошла до стены, обдумывая внезапно пришедшую к ней мысль. Решила попробовать. В той фестивальной поездке их водили в театр Кабуки. Люда запомнила на слух рефрен, который пел женский хор. Там было про дождь и про снег. Как раз то, что нужно.

– Смотри, – она подошла, остановилась перед Сабуро, ткнула пальцем себе за спину, в направлении открытого окна. – Там облака, дождь из них пойдет. Рейн. Второй день уже собирается, обязательно пойдёт... эээ... В театре Кабуки ты был? Водил тебя папа? А? Кабуки... Как там женщины поют про дождь: «Амэ фури», – Люда попробовала воспроизвести мотив. – Амэ фури, амэ фури. А потом, когда сильнее: «Мотто афури», – воздев руки кверху и слегка наклонившись, изобразила актрису Кабуки, которая сетует на усилившийся дождь. – Так вот! Не надо, чтобы смычок двигался по струнам так, как падает дождь. Понимаешь? – сложила предплечья крестом. – Не надо. Вот он падает – отвесно, тяжело... Рейн... Падает, падает... Рейн – донт. Бэд рейн. Смычком так не надо.

Растопырив пальцы, Люда показывала, как падает дождь. Лицо ее в это время изображало недовольство – дескать, это совсем не то, что нам нужно. Дождь – это плохо. Не нужно дождь. Забудь.

Старалась долго. Наконец, мальчик кивнул.

– Хай, сенсе.

– Ага. Отлично. Это ты понял. В общем, тяжело тянуть не надо. Теперь – как надо...

Для пущей доходчивости она выдавила умильную улыбку.

– Снег идет. Как там... Юки фури. Да? Юки фури. Вот он идет, летит вниз плавно, легко... танцует... легкий такой, летучий...

Показала, как парят снежинки.

– Юки фури... Эээ... Сноу. Да. Вот сноу – как раз-таки гуд. То, что нам надо – сноу. Юки фури... Юки фури – ферштейн?

Сабуро кивнул.

– Хай, сенсе.

– Ну, вот. Делов-то. Давай, дружочек, пробуй.

Он взял инструмент, пристроил деку к колену.

– Юки фури! Не забудь!

На этот раз у него получилось. Не идеально, но парень уловил.

– Да, – кивала Люда. – Именно.

Тихонько похлопала в ладоши.

– Молодец.

Дав ему новое задание – упражнение на равномерность – Люда вернулась к окну.

Еще одну – и больше в классе не курим.

– Я вообще-то не курю в классе, ты не подумай. Просто... уйти решила. В смысле, отсюда, из интерната. С мужем вот разбежалась. Думаю, как дальше быть. Куда приткнуться. То ли к маме в тмутаракань, то ли в первопрестольную... Твои-то не курят?

Сабуро не прерывал упражнения. Ни разу не сбился. Хотя учительская болтовня под руку наверняка мешала. Да еще сольфеджио снизу.

Люда слышала небольшую ошибку: сосредотачиваясь на смычке, Сабуро начинал слишком шумно перемещать по струнам пальцы левой руки. Но это мелочь. С этим они позже разберутся.

– Что тебе сказать... Техника на уровне. Недурственная техника. Попал бы ты ко мне в другое время... Не знаю... Потрудились бы мы с тобой на славу. Эт точно. Ты, скорей всего, трудяжка. Я тоже из таких... Помню, в детстве, мозоли долго на пальцах не нарастали. Только к струне – слезы фонтаном из глаз... Нежные очень пальцы были. Ничего, прошло... Научилась.

Коля тоже – пройдет.

Отболит.

И будет уже другая жизнь. Отсюда не разглядеть, далеко. Но ведь будет. Проклюнется робко, как из обморочного зимнего тумана, потянется навстречу, набухнет цветом. Еще чуть-чуть – и вот она, жизнь. А ты уж думала – пропала.

Держись, Люда. Терпи.

Под окном стояла директриса и, скорбно поджав губы, наблюдала, как она курит.

– Я больше не буду, – сказала ей Люда. – Правда. Извините.

Тамара Львовна трагически вздохнула и заковыляла по дорожке к крыльцу.

Зря на нее наговаривают. Никакая она не грымза.

Люда затушила окурок, пристроила его под подоконник.

– Мы с тобой все-таки попались.

Пронзительно заверещал звонок. Сабуро оборвал игру, вскочил на ноги. Покосился на дверь.

– Не бойся, это у нас так заведено, – Люда подошла, села рядом с ним на стул. – Большая перемена. На большую перемену всегда такой громкий звонок.

Она вдруг поняла, что мальчик испугался землетрясения. Принял звонок за сигнал тревоги.

– Не бойся. Здесь не трусит.

У младших классов начинался общеобразовательный блок. Репетитор Сабуро прибудет только завтра, чем занимать мальчика в эти часы, Люде никто не сказал. Или она пропустила мимо ушей.

– Что будем делать? – откинулась на спинку. – У меня вообще-то урок. Со мной на урок? Или к себе пойдешь?

Она показала пальцем на Сабуро, потом на себя.

– Виз ми?

Мальчик кивнул.

– Или... – она махнула по направлению комнат воспитанников. – Ёр рум? Ммм?

Он отрицательно покачал головой.

– Ия, сенсе. Виз ю.

– Ну, ладно. Познакомлю тебя с моими оболтусами. Хороший класс. Там есть, с кем дружить. По-английски кое-кто говорит, кстати. Я уж не знаю, насколько хорошо, но говорят... Ты садись, в ногах правды нет.

Сабуро сел.

– Сейчас перемена. Посидим немного здесь, ладно? И пойдем.

Они посидели, глядя в окно, в перламутровое низкое небо.

Какое-то время с дороги слышался натужный, захлебывающийся гул двигателя. Потом оборвался.

– Дождь пойдет, думаю. Вчера собирался, не пошел. Сегодня наверняка.

– Маа...

Переглянулись.

– Да пойдет, говорю тебе.

Сабуро вежливо промолчал.

– Вот увидишь.

Мальчик и учитель снова посмотрели на небо. Мальчик протянул с сомнением:

– Саа...

– Вот ты поспорить горазд! – Люда хлопнула его по колену, запела дурашливым сопрано. – Амэ фури, юки фури, мотто афури...

Сабуро хохотал в голос.

Позже она уверяла, что именно в этот момент решила остаться. «Уж больно мальчишка приглянулся, – говорила Люда. – Грех было отказываться».

Станислав ШУЛЯК

Рассказы

ПРАЗДНИК СПЕРТОГО ВОЗДУХА

Иногда мне кажется, что я не человек, вовсе не человек, но какое-то сложное соединение хлора. Быть может, таких не было прежде. Или, если и бывали когда-то, то после их существования они многие века, долгие десятилетия пребывали в забвении. Но тогда какими же путями пришлось пройти мне, через какие взаимодействия, чтобы ныне иметь возможность восхититься собой, чтобы содрогнуться от себя. Чтобы вдоволь испить подлой и невозмутимой своей инаковости. Да-да, какая-то надсадная, вечная alteritas угнездилась в воздухе груди моей, в околоногтных заусеницах пальцев, в жестких волосках кожи моей, все более седеющих и гаснущих, как я с грустью замечал, в последнее время.

Я встал со скрипучей кровати и сразу вспомнил, что меня нарочно оставили одного ночевать в этом дрянном деревенском доме. Чтобы я привыкал к нему, чтобы я обживался. Накануне же, при свете, я не успел даже разглядеть его толком. Остальные заночевали в других домах, я не знал, где именно, да я о том ничуть и не любопытствовал.

Я вышел на двор до ветра (ничто человеческое мне не чуждо; но, правда, и не близко тоже), было еще очень рано, туман стелился над соседскими огородами. Деревья поодаль уже осыпались, все живое пожухло, воздух был густ и даже казался жидким или, положим, стеклянистым. Взять мне, что ли, и обессмертить себя парою новых сарказмов, подумал я, покуда мочился под уродливой приземистой яблоней.

Но тут я вдруг услышал голоса где-то, должно быть, на соседней улице и, вздохнув с немалой досадою, заспешил в дом. Разумеется, это уже шли *наши*. Черт бы их всех побрал!

Пол в доме страшно скрипел, чуть в стороне с вечера еще толпились три фонаря на колченогих железных стойках, набросаны были электрические кабели в бухтах. Я с минуту пометался по дому, ища себе места, но места не находилось. Тогда я плюхнулся на табурет подле стола, оперся лбом о ладони, и, едва только на физиономии моей воздвиглось выражение досадливое и неприязненное, какое более всего теперь приличествовало муторному моему духу, раздался грохот в сенцах, и в помещение ворвался Костя Стоверстов и с ним еще куча всяческого озабоченного вспомогательного народа.

– Как спалось, Феденька? – с порога крикнул мне Стоверстов. Я же глаз на него не поднимал.

Народ тут же рассыпался по дому. Стали расставлять фонари, разматывать кабели. Громыхали стульями, скрипели половицами. Хотели было на минуту растворить окно для свежего воздуха, но Стоверстов им этого не разрешил.

– Кошмары не снились, Феденька? – еще раз с усмешливой миною крикнул мне Костя.

– Ты знаешь, как меня звать, – глухо сказал я.

– Нет, я буду звать тебя так, – возразил Стоверстов. – И остальные будут делать так же. – Слышите? – оборотился он к народу. – Зовите его все Феденькой. Пусть пока привыкает. Мне очень важен достоверный психологический рисунок на фоне предлагаемых обстоятельств, каки-

---

Станислав Шуляк родился в 1960 году в г. Кропоткин Краснодарского края. Окончил Институт журналистики и литературного творчества в Москве. Публикации в «Литературной газете», в журналах «Нева», «Урал», «Современная драматургия». Два романа под одной обложкой – «Кастрация» и «Лука» – в издательстве «Амфора» (СПб, 2003). Призер фестиваля короткой драмы «One night stand» (Москва-Вена, 2005), лауреат Всероссийского драматургического конкурса «Долг. Честь. Достоинство» (2008). В журнале «Волга» публикуется впервые.

ми бы эти обстоятельства ни казались. Гротескными или пафосными, или метафизическими, или еще черт знает какими... – по обыкновению своему стал выпаливать Стоверстов со скоростью в двести слов за минуту.

Я медленно начал вставать.

– Вот-вот, хорошо!.. – довольно зашептал Костя. – Неумытый, помятый, нечесаный. Такой и нужен. Именно такой Феденька и есть подходящий.

Ко мне тут подскочила полувековая от бесполезного рождества ее, дебелая женщина Алла и железною расческой стала растрепывать мои волосы еще более.

Я оттолкнул железную расческу этой глупой привязчивой женщины.

– Феденька, Феденька, не противьтесь! – уговаривала она меня.

Костя в это время подтыкал мой сбившийся воротник, чтобы тот сделался еще беспорядочнее.

– Довольно! – еще глуше сказал я. – Мне надоело. Я ухожу.

Лицо Стоверстова вытянулось. В сущности, это был славный малый, отчего-то вдруг возомнивший себя недюжинным режиссером после участия в нескольких маргинальных фестивальцах. Организованных такими же киношными безумцами и для таких же киношных безумцев. Костина головка, обласканная вниманием и осыпанная душистою пудрой, с тех пор закружилась. Былую иронию к себе он не потерял, конечно, и мне это, пожалуй, нравилось в Косте. Но сейчас чаша моей невозмутимости переполнилась, и мне было плевать и на его иронию, и на его самомнение, и уж, тем более, на все те жалкие Костины аргументишки, которые я теперь ожидал от него услышать.

– Куда это ты еще уходишь? – пролепетал он. – Погулять решил? Некогда. Сейчас работать начнем.

– Это все равно, куда я ухожу. Я совсем ухожу!.. – пасмурно сказал я.

– Что?! – закричал Стоверстов. – А контракт?! Ты забыл про контракт?!

– Контракт!.. – усмехнулся я. – Это называется «контракт»?

– Ну, не контракт! Уговор!.. – смутился на мгновение Костя. Но тут же продолжил с возмущением:

– А чанахи ты ел? А пиво пил? А водку ливизовскую? Два раза по двести!.. Ведь мы же все обсудили, обо всем договорились...

– Чанахи! – с презрением сказал я. – Отплачу я тебе за твои чанахи. Только дай до дому добраться. Каждому из вас я отплачу, – загремел я, – за эти его жалкие стоверстовские чанахи. Чтоб вы не пеняли мне, что приехали попусту. И за пиво! И за водку ливизовскую! Хоть упейтесь!.. Хоть уешьтесь! А я ухожу! Меня душеворотит от вашей самодеятельности, от вашей любительщины!.. Слышите вы?!

– Феденька, Феденька, – засуетился Стоверстов, – мы тут все неглупые люди, как говорится. Давай, родной, не будем обострять!..

Он навис надо мною, обнял за плечи, я стряхнул с себя его руку, но он снова стал меня обнимать.

– Феденька, я тебя очень люблю, – замельтешил, затараторил Костя. – Я горд, я счастлив тем, что все на свете выдуманные амбразуры – непременно твои!.. Я, можно сказать, и сам такой же. Но давай подумаем обо всех этих людях, которые поверили... которые приехали...

– Люди пусть сами подумают о себе, – пророкотал я с мрачностию. – А это что, сценарий? – взял я со стола стопку замызганных листочков с Костиными каракулями и швырнул пред собою так, что бумага разлетелась по полу. Дебелая женщина Алла усердно бросилась собирать листки.

Поразительно никчемные они себе обустраивали существования, невероятно никудышные сбирали для себя обстоятельства.

– Я сам это сыграю! Сам! – завопил Костя. – И пусть все смеются! Пусть все хохочут! Директор!..

– Здесь я, – всунулся своим тощим остреньким личиком Семен Аронович. – Здесь!

– Мне надоели эти капризы! – закричал Костя. – Всякая бездарность воображает себя Качаловым или Щепкиным. А сама уже два года сидит без работы, собирает по улицам бутылки да снимается в рекламе шампуней, когда умудряется выйти из запоя хотя бы на три дня.

Стоверстов забегал по дому, расталкивая персонал, меж тем продолжавший делать свою привычную подготовительную работу.

– Федя, Федя, Федя, – строго заговорил Семен Аронович, подсаживаясь рядом. – Давай, дорогой, посерьезнее! Мы же не можем свои прихоти ставить во главу, так сказать...

– Вот его, его сними! – заорал я Стоверстову. – Его – в роли гения русской мысли, русской души. Ведь ты же хочешь балагана?! Ты же хочешь клоунады?!

– И сниму! – огрызнулся Костя. – Не твое дело!

Стоверстов был бледен, как спирохета. Гладенькое же личико его лоснилось, будто очищенное пасхальное яйцо.

– Нет, а каков замысел, каков замысел-то! – увещевающее покачал головкой Семен Аронович. – Гротеск! Символизм! Метафизика! Новизна!..

– Новизна! – презрительно повторил я. – Помойка! Одна только помойка собственной души. Полная импотенция. Жалкая неразбериха и детсадовские шуточки! И это вся ваша новизна?!

– Гоните! Гоните его вообще отсюда! – крикнул Стоверстов. – Я не хочу работать с предателем!.. С бездарью!.. А домой пешком пойдешь! Понял?! Все сто километров!..

– Костя! – укоризненно сказал Семен Аронович.

– Да, я пойду домой пешком, если надо, – с достоинством сказал я. – Не испугаешь!..

– Федя, – снова заговорил директор. – Все финансовые вопросы мы обсудили еще месяц назад. И поставили, так сказать, все точки над «і».

– Причем здесь деньги? – подернул я плечами.

– Костя, ты слышал? Это не вопрос денег! – громко сказал Семен Аронович.

– Что мне его теперь – облобызать слюнями? Это его не оправдывает! – отмахнулся Стоверстов.

– Нет, ну, все-таки... – директор помолчал немного. – Федя, давай посидим спокойно, поговорим...

– Некогда сидеть и разговаривать! – крикнул Костя. – Свет уходит. Через полчаса будет уже все псу под хвост!..

– Вот, Федя, – сказал Семен Аронович. – Свет уходит.

– А ему плевать на это! – ожесточенно еще сказал Стоверстов.

– Свет уходит, и я ухожу, – упрямо сказал я.

– Да, вот так вот! – крикнул Костя. – У него все просто!..

И тут вдруг свершилось явление. Растворилась дверь, и вошла девица. Вполне еще себе молодая, с хорошей фигурою. Вошла, и мы все будто запнулись на мгновение, будто потеряли прежние нити, будто утратили прежние поводы. Только она отчего-то сразу стала отворачиваться от нас, едва лишь вошла в дом. И что-то в ней, как я тут же заметил, неуловимо переменилось в сравнении со вчерашним. Вообще-то я ее знал немного; что называется, видел, даже как-то встречался, но прежде никогда с нею не работал.

– Анюта! – сказал Стоверстов, целуя девицу. – Вот полюбуйся, что здесь происходит!.. Что этот – твой! – здесь устраивает.

– Я сейчас шла, а в огороде гадюка ползает, – звучно сказала девица.

Я настороженно следил за нею. За тем, как она двигается и говорит. За ее полуоборотом. За ее взглядами в самое себя. Странный был у нее какой-то полуоборот...

– Гадюка! – вскинулся Костя. – Гадюка в огороде – это отлично!.. Мы потом ее снимем. Пойди поймай ее, – велел он кому-то, – чтобы не уползла. В ведро посади и накрой чем-нибудь.

– Эй вы, что у нее с глазом? – спросил я. – Слышите? – крикнул я. – Что у нее с глазом?

– Темно было. Ударилась, – смущенно ответил директор.

– Врете вы все! Врете! Это вы нарочно устроили! Вы сами ей по глазу дали. Вы все вчера пьяные были. Вы нарочно хотите снимать Анну Григорьевну с подбитым глазом. Для вас глумление – самое главное. Для вас только издевательство – святое... – беспорядочно бормотал я. – Уроды!.. Просто уроды какие-то... Они называют это черным юмором!.. Они называют это искусством!..

Наверное, я много еще чего говорил или даже выкрикивал. Впрочем, я уже сломался, и я сам

чувствовал это. Будням моим все равно уж никогда не украситься помпезностью или немыслимостью, и если так, то на плаву существования возможно держаться лишь при посредстве слабых желаний моих. Я не знаю, для чего мне дана эта жизнь, или отчего она не была отнята в самом ее начале. Быть может, так было бы лучше, так было бы справедливее. Справедливее по отношению к тем, кому жизнь досталась всего лишь на один-другой вздох, либо вовсе была оборвана еще в утробе родительницы. Они, Костя и все остальные, тоже увидели, что я сломался. Меня подняли из-за стола, снова женщина Алла трепала волосы мои и бороду, и я теперь уж ничему не препятствовал. Зажгли фонари, и жаркий свет их, смягченный матовыми бумажными фильтрами, бил мне в лицо. Я будто впал в забытье и беспамятство. Прежняя моя домотканая злость сменилась спонтанною бессодержательностью.

– Ну, всё-всё-всё... – дружелюбно хлопал меня по спине Семен Аронович. – Понервничали немного. С кем не случается?! Ничего страшного. Стоверстов тоже хорош, – он даже издали как будто погрозил кулаком Косте. Нарочито, всё они делали нарочито. Имя их самих и имя дней их есть *нарочитость*!.. Они и меня, с потрохами моими, с негодованием моим и иными соблазнами, вовлекали в дела проклятой своей нарочитости.

Костя после бубнил мне что-то в самое ухо, я кивал головою в ответ и соглашался, но не знал, с чем именно соглашался. Я не слушаю никогда слов, период полураспада смысла равен времени произносимой фразы. Стол застелили грязною скатертью. Меня усадили за стол, положили рядом исписанные листы. Исчерканные каракулями. Поставили дымящийся самовар. Или нет – самовара не было, это мне показалось. Зато была еще банка с чернилами и несколько острых перьевых ручек. Все будто бы напряглись, подобрались, притихли. Помещение сделалось все в дыму; я не разглядел толком, в какой же момент это произошло.

Костя тихо сказал: «Мотор» – и меня стали снимать. Я молчал и сидел неподвижно, без всякого выражения, но меня снимали. Значит, так было нужно, чтобы я сидел и молчал, только сидел и молчал. Вошла Анюта с подносом, оператор Леша старательно следил за ней камерой, на сей раз она уже не стыдилась своего подбитого глаза, но как будто им даже бравировала. Впрочем, не радостно бравировала, но как-то, пожалуй, *самосокрушенно*. Я хмуро следил за подходящей ко мне Анной Григорьевной, и камера теперь уже вперилась в мое лицо.

– Ты, Федя, подлец, – спокойно говорила мне Анна Григорьевна. – Скоро не из чего будет чай пить. Все из дома вынес. А что не вынес, то переколотил и перепортил. У тебя ужасный характер.

– Замолчи! – сказал я. – Я пишу. Я думаю.

– Вот попей чаю с баранками, – говорила Анна, – потом еще подумаешь и попишешь.

– Чай я уж нынче четвертый раз пью. По три стакана, – возражал я. – Этак скоро водянка сделается.

– Ничего, – отвечала Анна. – Чай для ума полезен.

– А водянка для тела вредна, – сказал я.

– Стоп! – сказал Костя.

Мы остановились.

Переставили свет, растрепали мне еще бороду и снова стали снимать про чай с баранками. Я сделался еще сумрачнее, я сделался еще непроницаемее...

– Стоп! – опять сказал Костя. – А теперь разбей стакан! Она тебе подает стакан с чаем, а ты берешь и – об пол! Так вот – неожиданно!.. Так вот – раз! – и готово!.. Чтобы все вздрогнули. Мерзавка, как смела она тебя сравнить с каким-то ничтожным Тургеневым?!

Снова нас снимали. Анюта стала мне подавать стакан в подстаканнике, я же принимал, рука девицы на мгновение дернулась, чай выплеснулся через край и ошпарил нам обоим ладони. Но мы вытерпели, даже не поморщившись. Я взял стакан, взглянул на Анюту, взглянул с какою-то оловянной, задержанною досадой, подержал еще паузу и вдруг швырнул стакан с кипятком на пол. Девица всплеснула руками, лицо ее перекосилось, и она заплакала. Я этого не ожидал. Я растерянно стал оглядываться, будто ища со стороны помощи.

– Ты виноват! Понял, что виноват. Утешаешь, утешаешь ее! – зашипел мне Стоверстов.

Я обнял Анюту. Сначала неловко, даже как-то зло и досадливо, потом приноровился, взялся обнимать половчее. Что можно было сделать еще, я не знал.

– По голове, по голове ее гладишь!.. – подсказывал Костя.

Я стал гладить Анюту по волосам.

– Прости меня, Анна, – гулко сказал я. – За все прости.

Девица, кажется, перестала плакать, но стояла предо мною – отчужденная и бесчувственная.

– Да, но ты – старый развратник, и никогда не забываешь об этом, – шептал Костя. – Это всегда в тебе. Сиськи-то ей помни! Помни, помни, не бойся!.. Тебе всегда этого надо!..

Рука моя соскользнула на грудь Анюты, и я стал понемногу сжимать ее и поглаживать, как мне велел Костя.

– Но – нет! Она не прощает. Не прощает... Не хочет простить!.. На колени!

Я рухнул на колени перед Анютой, обхватил ее бедра.

– Прости, Анна! – сокрушенно и звучно говорил я. – Прости!

– Ладно, Феденька, – со вздохом сказала Анюта. – Забудем об этом.

– Забудем, – сказал я.

– Продолжаем, продолжаем, – командовал Стоверстов.

Мы постояли так еще некоторое время, потом девица вдруг отстранилась и потянулась всем телом сладко-сладко.

– Так пуншику хочется, Федя, – сказала она. – Аж моченьки нету!..

Я смотрел на нее с суровостью. Злые желваки блуждали по тяжелым скулам моим. Мне не давали разойтись, разыграться в полную силу моего презрения, и оттого во мне набухало что-то такое свинцовое и недвусмысленное, чему я сам пока не ведал названия.

– Что ты такое говоришь, жена? – сказал я.

– Сбегаю-ка я в подпол за пуншиком, – сказала еще. И что-то такое коротко почертила по полу ножкою. С дрянненьким этаким кокетством почертила. С потусторонним, я бы сказал, кокетством.

– Что это?! Нет, что это?! – завопил я, сотрясая кулаками. – Костя! Что это за «сбегаю в подпол»? Что за «пуншик» еще в подполе? Разве такое возможно?! Что же мы делаем? Что за безумие мы творим? Слышишь?! Я тебя спрашиваю!..

Я думал, что Костя нас остановит, но он лишь нахмурился и процедил через зубы: «Хорошо! Хорошо!»

Мне поневоле пришлось продолжать.

– Анюта, такой ли ты была, когда много лет назад я взял тебя девицею? – с болью душевною говорил я.

– Что же плохого в пуншике? – удивилась Анна и стала поднимать квадратную крышку в полу.

– Плохое не в пуншике! – загремел я. – Плохое в нас самих! Гадкое!.. Безобразное!.. Похабное!..

– Десять лет назад, Федя, ты так ко мне не придирался, – сказала она, спускаясь по лесенке под пол.

– Стоп! – заорал я. – Костя! Что происходит? Я так не буду! Я не стану ничего этого делать! – крикнул я еще и топнул ногой.

Но Костя подождал немного, покуда Анюта не скроется совсем в подполе, и лишь тогда тихо скомандовал:

– Стоп!

Произошло некоторое движение, от меня отвернули свет, и стало не так жарко. Стоверстов о чем-то говорил с оператором. Директор подскочил ко мне и потрепал меня по плечу.

– Вполне, вполне, – проговорил он. – Я чуть даже не прослезился. Когда ты сначала ее по голове... а потом на колени.

– Сеня, – сказал я. – Что это? Скажи мне!.. Я дал себя уговорить, я сожалею об этом. Но я больше не произнесу ни одной фразы. Я больше не стану участвовать в этом бреде.

– Отлично, Федя! – возразил тот. – Качалов!.. Станиславский!..

Женщина Алла грязною тряпкой утирала пот у меня со лба.

– Алла, – мрачно сказал я, – ты-то хоть понимаешь, что это – говно?

– Эстетика, – сказала она.

Из люка в полу высунулась Анюта.

– Не-не, сиди там, сиди, – замахал ей рукою Стоверстов, – через минуту продолжим.

– Там темно, я курить хочу. И еще кое-что, – огрызнулась она.

– Сиди, говорю! Сейчас крупный план снимать будем. Мне нужны твои зрачки расширенные.

– На свету все равно сузятся, – пожала плечами девица.

– Костя, давай ей атропину в глаза закапаем, – подсказала Алла Стоверстову, но тот, кажется, не обратил внимания на ее слова.

Анюта снова скрылась в подполе.

В сенях вдруг послышалось какое-то урчанье, будто животное. Собака, что ли, была там? Нет, должно быть, все-таки не собака. Урчанье было каким-то нехорошим, зловещим.

Стоверстов этаким нездоровым кузнечиком, кривоногим и лукавым кузнечиком, подскочил ко мне, обнял меня за плечи и повлек за собою.

– А теперь с тобою, Феденька, – сказал он.

Мы присели с ним на корточках над входом в подпол.

– Вот, значит, как, дружочек, – ворковал еще он. – Ты уж немолодой человек. Да нет же: просто старик!.. Жизнь к концу подходит, и ты сознаешь это. И иногда думаешь о себе: ведь я, в сущности, неплохой человек, вот в следующий вторник брошу пить, носки постираю – и можно баллотироваться на должность Бога. Ты надеешься еще послужить миру иронией. Но вот эта женщина, Анюта... Ты взял ее когда-то совсем юною чистой девицей, ты любил ее тогда, ты хотел ее тогда... Но вот прошло несколько лет – десять или пятнадцать... неважно... и она уже другая, совсем не та, что раньше... И ты понимаешь, что ничего другого уже не будет, и тебе от этого горько!.. Да-да, я настаиваю: горько! горько! И ты – пусть ты и несправедлив! – но зачастую винишь во всем ее, винишь Анюту. Винишь, что жизнь ее рядом с твоей, что она рядом с тобой, и потому у тебя не может быть ничего другого. И она для тебя часть этих самых смертных, подземных сил, со всеми ее пуншиками, со всей ее пошлостью, дряблым телом, и вот, когда она вылезает из подпола, тебе кажется, что она вылезает из преисподней... И что ты тогда делаешь? Ну? Скажи, что ты делаешь, когда вылезает чудище из преисподней? Гидра или скорпион...

– Ногой! – мрачно сказал я. – Ногой! Ногой!..

– Вот! – радостно закричал Стоверстов. – Именно так: ногой!..

– Все равно, Костя, волюнтаризм какой-то!.. – начал я.

Но Стоверстов уже отшатнулся от меня, отстранился, перешептался с кем-то там из своих помощников, из своих рабов и приближенных и тихо сказал: «Мотор!»

Я теперь остался наедине с этим проклятым подполом. Я начал его даже бояться, я не знал, чего от него можно ожидать. Крышка медленно стала подниматься, я опустился на колени и придавил ее предплечьем. Крышка затихла на некоторое время. Но потом снова начала оживать.

Я вскочил с пола. Возможно, ужас, омерзение отразились на моем лице. Крышка снова стала подниматься, медленно, но неуклонно. Я топнул по ней ногой, но это не помогло. Кажется, тот, кто оттуда, снизу, управлял крышкой, обладал немыслимой силой. А ведь то была, должно быть, всего лишь хрупкая девица Анюта. В щель просунулась Анютина рука, я, не раздумывая, топнул по руке ногою тоже, топнул с силою, вкладывая в свое движение все пренебрежение к нелепым Костиным выдумкам и затеям. Да, это так, но примешивался к сему еще и некоторый мой ужас перед происходящим, перед необъяснимым и неудержимым. Жизнь – кладезь неудержимого, и это-то неудержимое составляет ее (жизни) темную, подспудную сторону.

Крышка поднялась еще выше, и оттуда, снизу, высунулась голова Анюты. Она была ведьмою, природною ведьмой, я видел это теперь совершенно отчетливо.

– Голова!.. – шептал Костя. – Одна голова!.. Совсем близко!..

Оператор с камерою застыл перед девицыной головою на расстоянии полувытянутой руки.

Я попытался засунуть Анютину голову обратно в подпол, навалившись на ту всею своей тяжестью. Но – нет, неудача!.. Неужто Анюта сильнее меня?! Это ведь невозможно. Голова ее казалась отдельною от тела. Она мне представилась каким-то дьявольским снарядом, который вот-вот вырвется на волю и станет летать и метаться по дому или даже по миру, глумясь над всеми нами, маленькими обиженными человечками, жалкими квартирантами существования сего, кусая нас, тираня, запугивая...

Я стал затаптывать Анютину голову, иногда нога моя срывалась на ее плечи, я распалялся и топал ногою все сильнее. Но самое ужасное было, что Анюта будто не замечала моих ударов, моих топаний. Голова ее лишь вела какую-то свою бесполезную монотонную речь.

– Сегодня из лавки табачной посыльный приходил. Ты там, Феденька, оказывается, до восьми рублев денег задолжал. Хозяин недовольствует страшно. Ежели, говорит, не заплотют, я, мол, завтра уряднику пожалуюсь. А я тогда спрашиваю, а как фамилия урядника-то? Карамазов, говорят, фамилия его. Николай Макарович.

– Карамазов не может быть урядниковой фамилией! – завопил я. – Никак не может быть урядниковой фамилией. Карамазова я сам придумал!..

– Я не буду тебе, Феденька, ничего больше под диктовку записывать, – невозмутимо продолжала Анютина голова. – Если ты мне только еще в пуншике станешь отказывать. Пусть тебе кто-нибудь другой под диктовку записывает.

– Будешь, Анюта, – хмуро сказал я. – Муж и жена – плоть едина. Куда муж, туда и жена, и что муж велит, то жена исполняет с радостию!..

– А я все равно не буду... Пусть тебе кухарка под диктовку записывает...

– А я говорю – будешь, Анюта. Будешь, будешь!..

– А я говорю – не буду!.. Ни за какие коврижки не заставишь, Феденька!.. Вот разве только за пуншики...

– Будешь!.. Будешь!.. Будешь!..

– Хорошо-хорошо! – прошептал Костя у меня над ухом, над вздрогнувшей душою моей. – Снято!..

Мы остановились, снова остановились. Почему я был столь слаб, что не мог теперь броситься опрометью из этого дома и из этого мира с их чудовищными коллизиями, с их безобразными фабулами и тошнотворной риторикой?! Неужто какие-то жалкие мои обязательства, которых к тому же я и сам не помнил толком, удерживали меня?! Ведь не могло же происходящее быть подпоркою моей негодной alteritas, совершенно не могло, оно, напротив, препятствовало той. Я – человек с пустыми кладовыми, но с захламленными, нестерпимо захламленными переднею и гостиною. Все ничтожное и негодное сгрудилось во мне для общего доступа, и этот общий доступ лишь перечеркивал мое потаенное, мое недосягаемое, мое небывалое!..

Мне трудно, трудно сойтись со всяким иным, со всяким двуногим, у нас качество лукавств разное. Воздух!.. Воздух!.. Отчего существование мое запнулось именно на этой точке?! Отчего я вдруг осознал себя здесь противодействующим, одним смыслом своим противодействующим сему всеобщему помешательству, полудрагоценной и полупричудливой сей абракадабре?!

Анюта проворно вылезла из подпола и, ни слова не говоря, едва ли не вприпрыжку помчалась к выходу.

– Куда? – одернул ее Стоверстов. – Еще не закончили.

– А что, проводить хочешь? – огрызнулась девица. – Пописать мне надо. Теперь вся голова в песке, – сокрушенно вздохнула еще она, выбегая. – Федя ваш всю прическу мне истоптал. Киношники чертовы!..

Я уселся за стол. Нет, я не уселся, я рухнул. Провожая взглядом Анюту, я еще подивился нераздельности головы ее и туловища. Девица оставалась девицею во всем блеске ее невозмутимости. Она снова была человеком, человечьею самкою; подземное свое, преисподнее свое она снова загнала в мутные глубины бездушия своего. Нет, положительно, здесь скрывалось нечто необъяснимое, сказал себе я.

Снова я слышал животное урчанье в сенях. Должно быть, Костины приспешники нарочно там мучили какого-то зверя. Вот только что это был за зверь? Я отчего-то точно знал, что то не собака.

– Снимай пока его разложенную постель, – бросил Стоверстов оператору Леше. Тот стал снимать постель. – Интересно, где можно так долго ходить писать? – притопнул еще ногою не находивший себе места Стоверстов.

Страдания юного Кости меня не слишком-то забавляли. Меня вообще ничто никогда не забавляло. Пойти одному против всего Запада и против Востока, думал я, усомниться в деяниях Севера, отвергнуть поползновения Юга, совместить и сплотить в мозжечке своем и своей переносице правды всех сторон света, морали и неурядицы всех континентов, всех перешейков и всех территорий, быть точнее и скрупулезнее мира – мира и Бога, обоих вместе и каждого порознь, – с небом и с недрами играть по своим правилам, не обязательно даже выигрывать, достаточно только играть, полагал я!.. Но дайте же мне, дайте хоть год или два, чтобы успеть дописать мне пресловутую мою библию безверия, начертать мои письмена отчаявшегося, испещрить мои листы содрогания моими же глаголами настойчивости!.. Я знаю, мне уж говорили раньше... Заставь меня рассказать анекдот, самый пустейший анекдот, – а я непременно собьюсь на проповедь. На блистательную ярость собьюсь я. На саркастическое безумство... Мог ли я со всем этим совладать? Или даже с собою самим совладать? Хватит ли у меня для того величия? Хватит ли у меня для того иронии и безнадежности? Хватит ли воздуха легких (тем более, что он столь темен и муторен)? Хватит ли соков и сил мозжечка моего и гипоталамуса?

– Там поселянки пришли, – сказал кто-то Стоверстову.

Я вздрогнул. Может, вообще все они были животными, и там, в сенях теперь мучили такого же, как они сами. Я не знал, кто был подле меня. Я не доверял им всем, даже когда они предо мною заискивали, и – пуще того, когда я им был безразличен. Ныне я погряз в бесцветности, и мир лишь нехотя вливается в скважины моих загадочных и бесприютных зрачков, мир безжалостный и непритязательный. Мир, не закрепленный в строчках, не предъявленный в рассуждениях, неизобретенный, неосознанный, неказистый, несформулированный. Что бы там ни говорили, но в этом мире невозможно, невозможно гордиться ни одним из его пресловутых мэйнстримов. К тому же ведь высшее из достижений человеческих – умение отсечь от мира иные из важнейших его оснований бритвою безобразий. Таков человек, таковы дела его!..

– Скажи им, пусть пока раздеваются, – крикнул Костя. – Еще минут десять, и с ними начнем. Еще одна сцена осталась... А человек с опрыскивателем? – спросил еще он.

– Тоже здесь, – ответили ему.

– Хорошо-хорошо!.. Пусть ждут. Ну, где эта сучка ходит?! – весь передернулся Стоверстов. Плечами, руками, лицом и туловищем передернулся он. – Если она сейчас не вернется, я сам ей в рот нассу!.. Феденька, – ласково обернулся ко мне Костя, – Федор Михайлович, потерпи, дорогой. Совсем чуть-чуть осталось... Еще одна сцена, сейчас Анна Григорьевна придет, и мы быстренько все прогоним. Потом поселянок снимем и отдохнем немного.

– Константин, – гулко сказал я. – Помолчи. Не мучай меня!..

– Сам мучаюсь – и тебя мучаю, – ответил Стоверстов. – Сей процесс неизбежен. Ну, давай дальше. Представь себе... ночь на дворе, но ты хочешь работать. Анна Григорьевна таскается неизвестно где...

– Где же ночь-то? – хмуро перебил я Константина.

– Костя сказал – ночь, значит – будет ночь, – вставился своим маленьким личиком Семен Аронович.

– Да, это неважно, – подтвердил Костя. – Это наши проблемы.

– Дело техники, – важно сказал директор.

– И вот Анюта появляется... – сказал Костя. – Ты хочешь, чтобы она стенографировала, как в старые добрые времена... Ты хорошо помнишь те времена. А она отказывается. Нахально так, наотрез... А повод-то каков!.. Каков повод!

– Несусветный какой-то повод, – сказал директор.

– Вы вот кофейку лучше глотните, пока Анька ходит, – всунулась в разговор дебелая женщина Алла с термосом на полведра. – Костя, тебе с молоком или со сливками?

– Мне с солью, – огрызнулся Костя. Впрочем, взяв кофе, он и впрямь изрядно его посолил, после чего только стал пить.

Я от кофе отказался, выпил лишь немного воды без газа. Я всегда так делаю. С иными из газов у меня некоторое недвусмысленное избирательное сродство; всякие из них – мои свойственники, соплеменники, соотечественники, однополчане. Лишь воздуха я не люблю, наш воздух не по мне, я всегда впускаю его в кровь свою, в сердце свое с настороженностью.

Появилась Анюта.

– Кофе ей не давать! – крикнул Стоверстов. – Доснимем – пусть хоть упьется!..

Я замер в пресловутой своей застольной позе. Заплывший Анютин глаз смотрелся теперь воплощенным укором.

– Начали, – сказал Костя.

И мы начали. Подлость свою начали, паскудство свое начали, коих я не одобрял, но более не мог и противодействовать.

– А ты все романы пишешь, Феденька, – нагло ухмыльнулась девица. С самою предельной своей бесцеремонностью сказала она. – Как же самому не надоест-то?!

– Что, опять пуншик без спросу пила? – упрекнул я Анну Григорьевну.

– Нет, я на дворе писала, – отмахнулась Анюта.

– Врешь, Анна!.. Пила, знаю, что пила. Ты, как выйдешь куда-нибудь, так непременно украдкой пуншик пьешь.

– И не пила я, и все равно: не твое дело, Федя.

– Как не мое, когда я муж твой, Анна?!

– И не муж ты никакой мне, а так – старичок бесхозный!..

– Совести у тебя нет, Анна, стыдно слушать мне речи твои непристойные, – говорил я.

Подле меня, совсем рядом, были черный глазок камеры и бледное Костино лицо. Я же был в испарине, я ее не утирал ни рукавом, ни платком, ни салфеткою; испарина моя была крест мой, нимб мой, удел мой, предназначение мое. Ныне я – человек испарины и неблагодарности!

– Старичок! Старичок! Старичок! – несколько раз топнула ногой Анна Григорьевна.

– Садись, Аня, – сказал я. – Оставь все дела свои. Будем писать под диктовку.

– Не будем! Ничего писать не будем!

– А я тебе говорю: садись, Анна! – твердо говорил я.

– Никогда! Никогда!

– Садись, Анна, сейчас роман допишем, весной в Ниццу съездим.

– Ты, Федя, не в Ниццу хочешь. Ты опять в Монте-Карло собрался. Приедешь, сразу деньги продуешь – нас с детьми по миру пустишь.

– Замолчи, Анна! – сказал я.

– Не замолчу! Уйду я от тебя, Федя. Прямо вот сейчас, какая есть, голой и уйду.

– Куда ты уйдешь? Некуда тебе идти, Анна. Всякому человеку должно быть место, куда ему пойти возможно, а тебе пойти некуда.

– Пойду! Пойду! Прямо сейчас и пойду!

– Не пойдешь!

– Пойду! – Анюта вдруг решительно шагнула к окну, распахнула его, взобралась на подоконник и, кряхтя, как старухи столетние кряхтят, медленно полезла в окно.

– Стой! – крикнул я. – Там не дверь, там окно, – и, ухватив Анюту за ногу, стал втаскивать ее обратно в дом.

– Всяк человек свободен пойти, куда глаза глядят, коли ему не хорошо где-то, – возразила, обернувшись, Анюта и с силою пнула меня ногой.

– Дверь! Дверь! Дверь! – исступленно повторял я. – Решила уйти – уйди через дверь, Анна, не

позорь меня перед миром.

– Ты еще попомнишь у меня, Федя! – крикнула девица. – Попомнишь все недоданные мне пуншики!

Бывает ли у вас такое, что вы вдруг чувствуете чужое присутствие? Со мной вот случилось такое: я почувствовал. Я обернулся растерянно и увидел идущего по дому... волка. Тот скалил зубы и шагал настороженно. В мою сторону шагал волк. Причем здесь вообще волк?! Страшен волк, когда скалит зубы. Ничуть не похож оскал его на улыбку. Это все были, конечно, новые Костины штучки.

– Анна! – с замирающим сердцем сказал я. – Здесь волк. Волк в нашем доме.

– Ну, уж сразу волк! – отмахнулась Анна. Или, вернее, плечами передернула она. – Братьев Карамазовых, Федя, было четверо: трое – люди, четвертый – волк. Это и есть – четвертый брат Карамазов. И зовут его как-то так на букву «вэ»: Володя, Вадик, Валерик, Витек...

Волк вдруг застыл на месте и стал смотреть на меня угрожающе. Я снова тащил Анюту за ноги, она отбивалась с силою и с отчаяньем. Мне никак не удавалось с нею совладать.

– Через дверь куда хочешь иди, Анна! Через окно же не смей! – бормотал я.

– Ишь ты, муж! – крикнула она. – Пуншиков ему для жены родной жалко. А еще за всякими там волками от жены родной прячется!.. Не надо, Федя, за волками от жены прятаться!..

Анюта вдруг с размаха саданула меня ногою по носу. Я задохнулся. Я отлетел от окна весь в слезах, зажимая ладонью переносицу. После я оперся о стол, силясь пережить, силясь утишить боль. Кровь стекала на мои губы, на подбородок и на одежду. Я не видел точно, зато слышал: Анюта полезла далее в окно, головою вперед, потом потянулась руками куда-то вниз, стараясь, должно быть, дотянуться до земли, как-то так отчаянно потянулась и неловко, и разом вдруг вывалилась наружу.

Я бросился к двери.

– Стой! Стой, гадина! – кричал я. Волка более я не замечал. Не знаю даже, куда он делся.

– Держите его! – крикнул Стоверстов.

– Мужа! Мужа позорить!.. – бессвязно кричал я. – Таково ли назначение жены, чтоб мужа позорить?!

Меня, и вправду, старались удержать. Какие-то люди набросились сзади, сбоку и со всех сторон, лишь чудом мне удалось вывернуться, вырваться, я выбежал в сени, а оттуда и на двор. Ведра гремели сзади, хлопнула какая-то бесполезная дверь; быть может, слышались увещевания или угрозы, но ни тем, ни другим никто и не верил.

Я скатился со ступенек крыльца, упал, лицом и грудью упал в грязь, тут же поднялся и огляделся. Анюта не могла никуда уйти далеко, не могла даже повернуть за угол дома, и вместе с тем ее нигде не было. Быть может, и не было никогда, и прежнее ее существование было всего лишь фантомом, иллюзией, досадной придумкою. Быть может, изобретена она была для одной лишь обиды, как и мир наш изобретен для обиды. Бог и мир сговорились об истреблении всех на свете существований, всех достоинств, всех проектов, всех упований, всех круговых, квадратных и прочих геометрических порук!..

Что бы я сделал, если бы догнал Анюту? Если бы она оказалась живою и реальною. Хотя могла ли она оказаться живой и реальной?! Быть может, снова бы упал пред нею на колени. Быть может, всего лишь тихо бы говорил о чем-то и о чем-то тихо упрашивал. Туман, который час назад, кажется, совсем уж собирался рассеяться, вдруг стал еще гуще, еще весомее и осязаемее. Я задыхался от этого тумана, от этого воздуха, грудь моя разрывалась, как гнилое полотно. Как сюртук карлика, натянутый на великана.

Среди огорода, будто бы даже паря над землею, мерно проплывал хоровод обнаженных поселянок. Телеса их, весьма далекие от совершенства, от благородных форм, колыхались, сотрясались, раскачивались. «Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки, разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые!» – распевали поселянки нестройным хором. Одна из них, видно, совсем пьяная, упала на спину, прочие стали поднимать ее, а песня меж тем продолжалась. «Затяните

песенку, песенку заветную, заманите молодца к хороводу нашему...» Гнусный, гнусный Чайковский!.. Впрочем, все поселянки безбожно фальшивили, и от Чайковского практически ничего не осталось, осталась одна гнусность! Бегал еще человек с распылителем, и из раструба его причудливого агрегата со зловещим шипением вырывались струи то ли разведенного на воде мела, то ли чего-то совсем уж ядовитого и неудобоваримого. Он прыскал на деревья, он прыскал на кусты, на землю, на пьяных поселянок. В огороде, посреди полузатоптанной межи, ползла темная гадюка, и над нею копошился какой-то голопузый и босоногий деревенский ребенок. Зачем над гадюкою копошился ребенок? Не надо ребенку копошиться ни над какою гадюкою!.. Нагая старуха с отвисшими грудями и дряблым задом, старуха из этого дьявольского хоровода гадко подмигивала мне: «Как заманим молодца, как завидим издали, разбежимтесь, милые, закидаем вишеньем. Вишеньем, малиною, красною смородиной...» – была еще песня. Потом старуха высунула мне язык и с хохотом убежала вслед за своими бесстыдными товарками. И вот они все пошли по новому кругу. Забор поодаль покосился и даже местами упал; впрочем, казалось, что он от построения своего всегда был таким и никаким иным быть не мог. Место такое, время такое, народ такой, что и покосившиеся заборы для них – доблесть. Доблесть и единственное достояние их. Мир – величайшая первородная сволочь, я точно знал это, а с иллюзиями же никакими не соглашался; впрочем, при таком Боге ничего другого ожидать и невозможно.

– Анна! – отчаянно сказал я, в пустоту сказал, в воздух сказал, в проклятый этот, безжалостный воздух. – Анна, жена моя, смерть моя, тоска моя, одиночество мое, где же ты, Анна?! – сказал я. – Анна! – сказал еще я. – Виновен я в жизни своей, виновен я в смысле своем, виновен в слабости рук, в ветхости чресл, в скудости колен... Виновен я, но и вы все виновны тоже!.. Да-да, виновны! Так сбросим же вины наши, стряхнем их со своих плеч, окунемся в радость, в беззаботность, в безмыслие! Будем, как дети, как птицы, как деревья лесные, как каракатицы в море, как перистые облака над преподлейшим этим вашим горизонтом!.. Только не будем более как человеки!.. Не надо быть нам более никакими человеками!.. Анна! – сказал я. – Анна!..

Ответом мне была глумливая песня поселянок, шипение распылителя, туман, который угнетал и обижал мою грудь. Где-то вдалеке еще грохотал трактор. Мычала чья-то глупая корова, единственная, должно быть, утеха столь же глупого хозяина или столь же глупой хозяйки. День только начинался, а столько он уж принес подлого, несчастного, недостоверного!.. Как, быть может, ни один из дней моих!..

Волк медленно сходил с крылечных ступеней. Я вдруг понял: он не мог причинить никакого вреда, он был на веревке, на поводке. Человеки! Двуногие! Зачем держите вы самого свободного, самого безжалостного из животных на поводке?! Впрочем, вы ведь и Бога своего содержите на поводке, для прекраснодушия, для благообразия; и люпуса – для забавы, для насмешки, для щекотки нервов.

«Не ходи подслушивать песенки заветные. Не ходи подсматривать игры наши девичьи...» Я, впрочем, никуда и не ходил, я стоял, прижавшись спиною к бревенчатой развалюхе, где только что был унижен я. Плечи мои сотрясались рыданиями. Устал уж я в этой жизни ногами своими ходить по кручинам, меланхолиям и неудовлетворенностям!.. Душою своей неприкаянной по ним шествовать. Кровь и грязь засыхали, стягивая кожу лица, было больно, нестерпимо больно, голова моя кружилась, или, кажется, это сам мир закружился в пляске, пустился вскачь, рассчитывая, должно быть, стряхнуть всех жалких человечишек с уверенной груди своей. Будто насекомых, столпившихся на беспредельном теле его; чудовищный, небывалый, немыслимый мир!.. Боже, это – Твой мир! Мир, это – твой Бог! Стоите вы один другого, что бы вы там о себе ни выдумывали, что бы ни нагнетали, какою бы мистической манною ни обольщали, каких бы миражей, соблазнов и галлюцинаций ни подсовывали в скудное и угрюмое обращение наше!.. Боже, Боже!.. Анна! Анна!..

– Снято! – сказал Костя.

ШПИОН

Мне велели не упоминать никаких брендов, ни одного. Без самой крайней необходимости, разумеется. Если я иду по улице в плаще и в шляпе, в брюках и ботинках, то следует позабыть, какой фирмы на мне плащ, какой – шляпа (хотя голова у меня, буквально, забита названиями шляпных производителей, я знаю их сотни...), это будет только мешать, говорят мне. Я, хоть и сомневаюсь, но не спорю: у меня привычка – никогда не спорить. Что с нами со всеми станет, если мы заведем обыкновение спорить по пустякам!

Во мне толпятся многие языки, я же пока выбрал этот – уверен, что не прогадаю. Опять таки и язык аборигенов слишком похож на мой! Немаловажное обстоятельство!

Но чужие языки могут выплеснуться из меня. Внезапно, неудержимо; я буду кричать, метаться, сбивающийся мой голос окажется подхвачен порывами осеннего ветра, я буду разоблачен, низвержен, все воочию убедятся в моей враждебности – и тогда мне каюк, разумеется! Нет, надо следить за собой, надо сдерживаться, отстраняться! Пока у меня еще остались силы. А остались у меня еще силы?

Новая моя квартирная хозяйка велела мне не высовываться в форточку. Как будто я часто высовываюсь! Хотя, когда она ушла, нарочно высунулся. Оказалось – интересно: новое ощущение. Высоты я, конечно, боюсь, но меня долго тренировали, и я могу преодолевать страх – это здорово помогает.

Она будто знала заранее. Это я о квартирной хозяйке.

Я умею преодолевать многие страхи, даже страх разоблачения. Я приучил себя к тому, что меня могут разоблачить в любую минуту. Внезапно, без видимой причины.

Тележная!.. Проклятая Тележная улица! С таким наименованием улицам жить вообще нельзя. Зато Невский неподалеку. Он словно выскакивает из-под ног или, наоборот, бросается под ноги. Будто собачонка, с лаем. Такие вот у вас проспекты!

Причины всегда невидимы.

Во мне долго набухало новое слово.

– Я теперь точно знаю: вся проблема в дешифровщиках, нет приличных дешифровщиков, – сказал я. – Можете вообразить: ни одного!

– Что? – вздрогнула женщина.

Тут и я несколько опомнился. Взял тон ниже. Ниже и глуше.

Не такой, как у заговорщика. Скорее, как у сетующего.

– Шифровщики-то остались, – подтвердил я. – Отчасти и я сам – шифровщик. Но ведь сообщение нужно потом кому-то и распознать...

– Рыбу по-польски брать станете? – переспросила она.

– Долго готовится?

– Двадцать минут! – тут уж она окончательно сделалась официанткой. Можно было даже не сомневаться.

– Если двадцать минут, возьму, пожалуй. Можно подумать, я не найду двадцати минут для вашей рыбы по-польски.

– Пойду, скажу на кухне.

– Да, именно так все и передайте!

Она ушла. Пожалуй, несколько поспешнее, чем можно было предполагать.

Мы так и не поняли друг друга.

Мы часто не понимаем друг друга.

Тем лучше! Если уж мы еще станем понимать каждого, так тогда и вовсе хоть в петлю лезь! Разумеется, лучше жить, не понимая. В том мое глубокое убеждение.

Одно из многих.

Зато оно глубже всех ваших убеждений. В том числе, и самых глубоких.

Возможно, мой прежний акцент все-таки сохранился.

Иногда молчание мое громче моих речей. Не говоря уж о вздохах. И иных выходках.

Третьего дня я был в Берлине. Рядом с Цоологишергартен ел у молодого, скуластого, улыбчивого китайца из ларька китайскую вермишель, жаренную с овощами и мясом. Вермишель была в бумажном стакане, и к ней придавался нестерпимо жгучий соус. Соус был нестерпим, но я терпел. Заливал раскаленную утробу ледяным пивом из бутылки. Так и спасался.

Там я был спокойнее, чем здесь.

Хотя не могу сказать, что мне ничто не угрожало.

Берлин холоден.

Земля под Берлином тверда и безжалостна. Землю, вроде берлинской, и поискать – так не сыщешь!

Опасность есть везде. Она в тебе самом, она в воздухе и в воде. Она в пиве и в китайской вермишели, она и в самом китайце, эту вермишель продающем. Опасность как птица: летает туда и сюда. И еще опасность как ветер. Впрочем, скорее, она как ветер и птица одновременно.

Тиргартен же исхожен вдоль и поперек, я его давно не люблю.

Гадок Тиргартен.

На Александерплатц меня вытошнило всем тем, съеденным у Цоологишергартен. Жгучим, китайским. Желудок всегда прав. Мозг значительно реже.

Квартирную хозяйку я постарался побыстрее спровадить.

Для чего ей было говорить мне о форточках?

Прежде я носил в себе один *трагизм несмыкания*. Несмыкания с миром и млекопитающими. Это много, очень много, того просто пока никто не осознает. Теперь же меня все чаще посещает *отчаяние возможной уловленности*. Она же еще требует осмысления.

Без квартирной хозяйки я сделался великолепен. Будто бриллиант, великолепен. Бриллиантам всегда мешают квартирные хозяйки. Они так поступают нарочно. Возможно, сами воображают себя бриллиантами. Но они не бриллианты!

Мне принесли рыбу. Ту самую, по-польски. Я почти сразу пожалел об этом. Мог ли я думать прежде, что когда-нибудь пожалею о заказанной рыбе? Это, по меньшей мере, странно!

Не люблю странного.

Пройдите со мной вместе дорогою слов, отдохните от трудов и смыслов своих под их (слов) протяжную, раскатистую, восхитительную музыку, задохнитесь от их беззастенчивой непосредственности, от их пожароопасного лукавства, от их промозглой грандиозности, от их умаления, от их распыленности! Слова, слова! Они – единственное достояние твое, двуногий, спасение твое, поручители твои, ходатаи, сокровища твои, смарагды твои и аметисты, твоя наследственная масса. Пока ты со словом, ты и с небом, и с землей, и с Богом, и с воздухом. И с ближним твоим, и с врагом твоим, и с братом твоим, и с матерью, и с домочадцами. Я знал, что мне предстояло задание, очень ответственное, но замысловатое. Его трудно, почти невозможно описать простыми фразами. Его можно только угадать, им можно изумиться, пред ним можно благоговеть!

Для того нужно было выйти из дому. Предстояла встреча. Нет, не теперь, позже, вечером. А теперь вечер только еще собирался, загустевал, обживался в глухих углах, расщелинах, трещинах. Трещин же, как нарочно, сделалось много.

Заканчивался ноябрь. Ноябри всегда заканчиваются. В том их главное свойство.

Я быстро собрался. Сегодня я буду великолепен, я решил это твердо. Если бы квартирная хозяйка могла видеть меня! Она бы тоже восхитилась! Но, нет, ей незачем видеть меня! Ей невозможно меня знать.

Шесть лестничных пролетов, я прошел их все, исполняясь по пути немыслимого достоинства. Я теперь уж более не талант средней руки, замешенный на странности и беспорядке. И что же, вы полагали, я стану писать пейзажи и заплутавшие души красками отчаяния, неверия и нерассудительности? О, наивные! Пустые! Слабомыслящие! Бесполезные! Словом – человеки! Со всеми вытекающими из них (человеков) последствиями.

На втором этаже остановился. Чему виною все та же чертова хозяйка. Лучше бы она мне того не говорила!

Здесь – проход. Здесь можно пробраться на другую лестницу и выйти по ней в другой двор. Дворы не соединяются. Чтобы пройти из одного в другой, нужно выйти на улицу, но мне-то как раз не нужно переходить из одного в другой, мне нужно очутиться как можно дальше. От того места, где я теперь. И, если об этом проходе ничего не известно моим возможным соглядатаям, так – отличный способ сбить их теперь с толку! Черт побери! Ради того стоило постараться!

Сбитые с толку! Имя вам – полчища! Имя вам – Сила! Имя вам... (придумать позже!)

Перегородка, армированное стекло, старый дом, и листы фанеры внизу. Один лист оторван, образовался лаз. Здесь можно только ползти на четвереньках. Неужто я... я... а что делать? Опускаюсь на колени, прислушиваюсь, просовываю сперва голову, потом и плечи

Тесно, неудобно, я едва просунулся!

Град сей – мой ужас, ужас в камне, в воздухе, в водах его, во плоти!

Другая лестница была даже грязнее и древнее первой. Фактически это уж другой дом. Странное соединение. Срослись лестницами. Но что мне с другого дома; мгновение я даже торжествую! Прислушиваюсь, потом поспешно схожу вниз. Слишком даже поспешно.

Запутать, загипнотизировать, заворожить!.. Наэлектризовать, самому переполниться!..

Двор и воздух. Появилась внезапно.

– Мужчина, а не хотите?..

Тут она подышала в ладошку.

Темно, холодно, и где она здесь увидела мужчину?

Ах да, это мне! Чудеса!

– Что?

– Ну... это... не хотите?.. – задумывается.

– Чего? – переспрашиваю. Я уж и не рад почти, что меня понесло в этот двор. Предосторожности, проклятые предосторожности! С ума возможно сойти от предосторожностей!

– Ну, там... отношений... или просто отдохнуть!

Рассматриваю ее. Ей нет тридцати. Не сказать, что потасканная. Такой можно даже увлечься. Такую может глаз выхватить и в толпе. Немного простушка. Но это не портит ее.

– А что – возможно и то, и другое?

– Ну... только мне нужны деньги.

– Деньги не вопрос, деньги есть.

– Так, значит... – протягивает она.

Прямо теперь, соображаю, прямо теперь? Нет, это невозможно! У меня задание, у меня встреча! Такие зыбкие, такие необъяснимые!

– Да, но только...

– Что? Заняты? Не сейчас?

– Вроде того, – с облегчением отвечаю.

– Я подожду!

– Прямо здесь?

– Хоть бы и здесь, что такого?

– Это может быть и нескоро.
– Когда? Ночью? Я подожду и до ночи. Или я пойду погуляю, а потом вернусь.
– Да, – говорю. – Пусть так! Погуляй, а потом возвращайся.
– Встретимся здесь?
– Почему нет! Хорошее место для встречи! Только сейчас за мной не надо идти!
– Я не пойду! – светится вдруг лицо женщины. – Я немного подожду, а потом уже погуляю.
– Да.
– А ты точно будешь?
– Да.
– Точно-точно?
– Ну, конечно!

Та целует меня в щеку; я выбрит отлично, сам это чувствую, я готовился. Я готов ко всему.

Выхожу на улицу с поднятым воротником. Мне велели не упоминать никаких брендов, ни одного. Да, так лучше, теперь я сам это понимаю. Улица, что за улица – я не знаю ее названия, но она ведет к Невскому, и слышу музыку, и тянет дымом, и вот уж Невский едва не бросается мне под ноги, брусчатка местами выбита, перепрыгиваю через канаву и поворачиваю за угол, и теперь уж проспект открывается во всей своей перспективе. Да, это – Невский, натуральный Невский, хищный и злоречивый, больной и упадочный, старая его часть. Здесь костры, и музыка громче, живая народная, гармошки возле костров, и люди, люди, люди, чертовы горожане! Проклятые человеки!

Они с ума посходили, они затеяли праздник? Для чего гармошки, и еще... стук кастаньет... сухой маленький старичок с невозмутимым лицом сидит против гармониста и лихо выстукивает, выщелкивет ритм, стремительный, бойкий, беспокойный. Рука его летает, да и гармонист ловок, виртуозны оба – тот и этот. И под ногами у них... нет, не щебенка... а... как бы точнее сказать... камушки! Страна камушков. Как просто все у них тут устроено!

Люди слушают, кто-то пляшет, выбивая каблуком и носком ритм. Бабы в простонародных одеждах, откуда они здесь? Вдруг – раскат фейерверка невдалеке.

Иные поднимают головы, удивляясь фейерверку.

И снова – камушки, камушки, камушки...

– Праздник? – спрашиваю у кого-то.
– Праздник.
– Какой?
– День газа.
– Почему – газа?
– Его долго не было в нескольких кварталах, во всех квартирах, а теперь вот вдруг пошел – люди празднуют! Им нужны праздники! А газ – хорошо! Газ – тепло, газ – пища!
– Так, значит!..
– Их не заставлял никто, сами вот вышли – и музыка, музыка!..
– Я понял уже!
– Да.

Я отошел от того. Мне спутников или поучителей не надо. Я и сам – поучитель!

Гармонист седой, кудрявый, залихватский. Русский. Смотрит в сторону, на гармонь свою не смотрит – и вдруг раз! – оскалился, будто пес, и такое обаяние в этом внезапном оскале, такие восторг и тоска!.. И усталость!.. И замысловатость!.. Многое в этом оскале! Старичок с кастаньетами поглядел на товарища своего по-особенному и несколько утишил свой стук, замер, тут и гармонист подобрался и вдруг запел хрипловатым, надтреснутым голосом:

В наших трубах нету газа.
Это даже ничего!
Вот когда лишуся глаза –
Не обрадуюся я...

«Э-эх!» – выкрикнул еще гармонист.

Частушка. Частушка. Она была, пожалуй, неказистой и несовершенной, но в ней гнездилось и нечто расхристанное, разудалое, скудосердое, как и весь народ этот скудосерд и расхристан. Не зря боятся его другие нации, другие территории, другие генералы, министры, правозащитники, мозговые тресты, подкомитеты и масонские ложи. Много страшного в этом народе, много подавленного и примечательного. Мистического, магнетического, магического, пряничного.

Газ, гори! Газ, гори!
Разжигайтесь, фонари!
Я иду вас бить да резать
От зари и до зари! У-ух!..

Хороши эти люди, когда в руках их гармошки, кастаньеты и маракасы, когда заняты они делом, к которому Бог их приставил, определил и сподобил. В такие минуты ими можно и восхититься. Темны они и забубенны, когда не знают такого дела, а часто, очень часто не знают они своего дела. Потому-то долго еще не будет миру покоя, долго еще будут нации вздрагивать. Земля с дурью, с удалью, с размахом, но без инстинкта самосохранения.

Трагическая участь – быть русским! Ни за что бы не согласился.

Тут к играющим подошел еще гармонист, и баба, толстая и немолодая, перехватив плечной платок, пошла себе и пошла, сначала мелким и тихим шагом, а после все быстрей и быстрей, притопнула, взмахнула концами платка, будто крылами, и заголосила вдруг:

На бензине, на газу
Далеко вас завезу!
У меня машины нет,
Поломался драндулет! И-их!

И подошедший гармонист не остался в долгу:

Эх, катушечки, да нитки!
Я до девок безотказный!
Газ не твердый, газ не жидкий!
Газ газообразный! А-ах!

Тут и зрители, смеясь и галдя своей густой, многочеловеческой массой, тоже выкрикнули «а-ах!», фейерверк вспыхнул, раскатился треск фейерверка, я вздрогнул, потому что на меня явно кто-то смотрел. Наблюдал даже, наблюдал за мною одним.

Улыбка, заигравшая было на моем лице, быстро сошла с него. Как и свет фейерверка быстро сошел с неба. Я незаметно огляделся и пошел прочь. Неосторожны улыбки, играющие на лицах! Улыбки вообще неосторожны!

Я не увидел того, кто наблюдал за мной. Но кто-то это все-таки был – здесь я не мог обмануться!

Я не люблю громогласное, самодовольное, я удивляюсь тайному, сосредоточенному; я и сам полон тайного и сосредоточенного. Я привержен к нестерпимому и молитвенному. Потому празднества угнетают меня. И праздность тоже. А еще, сказал я себе, надо убить глаз свой, язык свой, ум свой, душу свою, надо набраться выражений неуклюжих, неловких, неудобоваримых. Надо пополниться мыслями неистовыми, безудержными, беспредельными, неисправимыми. И *это* говоришь ты? И *это* ты позволяешь впускать в свое сердце? Потом я, возможно, произойду еще в буквенные мессии. В светочи межлитерных пробелов. Пока же слова толчеею своей изнуряли меня.

Невский был весь в кострах, Невский был полон несуразного праздника. Я повернул в какую-то улицу, названия ее не знаю. Названия теперь перемешались. Зашагал, подняв воротник. Далее, далее! Поспешно, настороженно. Музыка стала стихать, чертова ваша музыка! Бесполезное ваше веселье! И еще я оглядывался. За мною никто не шел, но это вовсе ничего не значило: те самые глаза мне не могли померещиться!

И они точно мне не померещились! Я столкнулся с ними на следующем перекрестке, в пятидесяти шагах. Они возникли неожиданно. Глаза.

– Кто? – крикнул я. Ощетинившись, крикнул.

Человечек, предо мной стоявший, сам будто испугался моей ярости.

– Хотел спросить, как пройти на одну улицу, да забыл название, – запнувшись, сказал он.

Это ведь совсем другое дело! Пароль, разумеется, я не мог спутать ни с чем другим. И тут же ответил:

– Никогда не встречал названий, совпадающих с сутью.

Человечек вздохнул с облегчением.

– Ой, слава Богу – вы!..

– Почему подошли раньше времени и не на условленном месте? – строго сказал я.

– Виноват! Подумал, что вы – это вы, и боялся упустить!

– Глупости! В нужное время я был бы там, где и должен быть.

– А вдруг бы что-то поломалось или поменялось!..

– Довольно! Идемте туда, где можно поговорить.

– Да, здесь есть хороший двор. Там безопасно.

– Посмотрим, – сказал я, – как там безопасно.

Я пошел следом за моим связным. Я что-то слышал, какой-то стук. Может, стук сердца. Мой или его. Не так уж трудно услышать человеческое сердце. Гораздо труднее его понять.

Двор был велик, с голыми черными деревьями, с кустарником посередине, с детской площадкой. Мы остановились подле помойки. Вокруг не было никого. Во всем дворе никого не было.

– Здесь хорошо? – заглянул мне в глаза человечек. Уж не знаю, что он там увидел. Ничего нет в моих глазах.

– Пусть будет здесь. Что у вас ко мне?

– Мне сказали, что вы передадите мне какое-то сообщение.

– Они там с ума сошли? Вовсе нет.

– Тогда я не знаю.

– Хорошо. Что с письмом?

– Оно у меня!

– У вас? – удивился я.

– Показать?

– Странно, что письмо отдали вам.

– Может, вас смущает мой вид или моя моложавость? Вы не думайте ничего такого. Я был завербован еще при Ярузельском.

– Мне нет дела ни до вашего вида, ни до Ярузельского, просто это – непорядок, что письмо у вас.

– Наверное, были какие-то соображения, которые мне не сообщили.

– Это письмо очень важно, вы это понимаете?

– Понимаю, – опустил голову человечек.

– Вы хорошо понимаете?

– Хорошо... – вздохнул тот.

– Кто еще из наших вам известен?

– Шнур, – сказал тот. – Певец такой. Настоящая фамилия – Шнуров. Правда, мерзавец порядочный!..

– Еще? – потребовал я.

– Еще один критик. Черт! Забыл его фамилию!.. Еще пять минут назад помнил. Это болезнь. У вас так бывает?

– Литературный?

– Да.

– Разве они еще существуют?

– Да, но все такая шваль, что после них всегда хочется вымыть руки!

– Еще кого-нибудь знаете?

– Еще? – задумался тот. – Надо вспомнить! Никак!.. М-м-м, вспомню – скажу!

– Ладно, показывайте!

Тот вынул конверт из-за пазухи. Самый обыкновенный конверт. Протянул его мне, но я не стал брать в руки. Не хотел осквернять? Оставить следов? Отпечатков?

– Это то письмо?

– То самое, – сказал человечек.

– А помяли-то! – недовольно бросил я.

– Что поделаешь! Его нельзя нигде оставить, приходится повсюду таскать с собой!

– Это не выход!

– Виноват!..

– Виноват!.. Как думаете доставить?

– А по почте разве нельзя?

– С ума сошли? Никакой почты! Никаких бандеролей! Только нарочными! Сорок или пятьдесят человек... передавать из рук в руки, ехать электричками или попутками! Чтобы не смогли отследить всю цепочку!

– Слушаюсь!

– На самом последнем этапе можно уже и почтой, но этим человеком придется пожертвовать!

– Да-да, у нас есть люди, готовые на все!

– Сильно не радуйтесь! Энтузиасты иногда опаснее предателей.

– Мы понимаем.

– И все проверить и перепроверить! Десять раз! Нет мелочей в нашем деле!

– Так точно! Будет исполнено!

– Интересно, содрогнется ли Кремль от этого письма?..

– Непременно! Это бомба, самая настоящая бомба!..

– Вам бы все только бомбы!

– Так ведь хочется, чтобы сработало.

– Мало ли что хочется!

Человечек вздохнул сокрушенно.

– Спасибо, что вы меня поправляете!

– Вы ничего не слышите?

– А что? – насторожился тот.

– Я спрашиваю: не слышите? Быстро спрячьте!

– Письмо?

– Черт вас дери!

Тот спрятал. Или – почти спрятал и все ж немного не успел.

– Совсем ничего.

– Я слышу.

Я и вправду слышал. А через мгновение еще и увидел. Это уж невозможно было не увидеть. К нам бросились люди. Молниеносно, почти беззвучно. Двое от помойки, двое от детской площадки, еще кто-то едва ль не из-под земли – мчались со всех сторон. Письмо упало на асфальт, человечек склонился над ним.

– Бегите! – крикнул я.

– Мы случайно! Я его в первый раз вижу! – испуганно заголосил прежний мой собеседник.

И тут на нас накинулись, стали крутить. Одному из нападавших я успел поставить подножку, но их было слишком много, их была тьма, и имя им, должно быть, была тьма, тьма была повсюду, живая, тревожная, безумная тьма, на мгновение мне померещилась моя квартирная хозяйка, в одном из неожиданно осветившихся окон. И у нее был взгляд моей вечерней простушки, тихий и теплый. Смысл мой, бог мой, почто ты оставил меня? Отчего лишил призрения своего? Милости своей? Убежища своего, пристанища своего? Слова своего? Меня повалили, и связного моего повалили, руки мои вывернули за спину, кто-то уж шарил по моим карманам, по моим бокам, и тут из меня, будто горох, посыпались бренды, шляпные и иные, меня будто тошнило, будто выворачивало ими.

– «Borsalino»!.. «Kangol»!.. «PANIZZA»!.. «Goorin Brothers»!.. «Tonak»!.. «Brixton»!.. «San Diego Hat Company»!.. «Resistol»!.. «QUIX»!.. «QUIX»!.. «Eugenia Kim»!.. «Eugenia Kim»!.. – выкрикивал я. Я много-много раз выкрикнул эту самую Юджинию Ким! Я будто молился на Юджинию Ким, я восхищался ею. Этою неведомой мне Юджинией Ким!.. Все равно они от меня ничего не услышат иного!

Тут нас поддернули, поставили на ноги. Человечек, имени которого я так и не узнал, вдруг шумно и натужно выпустил газы. Отчего, кажется, сделался даже меньше размером. Руки мои уж были надежно скручены, но все равно мучителям моим, гонителям моим не повезло, точно говорю: не повезло; как бы они ни старались.

– Довольно! – холодно сказал я.

Юджиния Ким придавала мне силы. И даже – величие! Тихое, но неоспоримое.

И – чудо! – тут же превратился в мотылька (чудо для всех, кроме меня, разумеется). Свободно взмахнул крылами, в которые превратились мои руки, и полетел себе, полетел!.. Сбивчиво, беспорядочно! Они, мучители мои, враги мои, снова пытались изловить меня или хотя бы прихлопнуть, но не сумели! Смешны они были, хлопающие, жалки они были!.. Я взлетел над помойкой, над крылечным козырьком, над детской площадкой, над голыми черными деревьями, я видел внизу одураченных, злых, чертыхающихся человечков и растерзанного связного. Впрочем, они уж не были ни человечками, ни связным, но лишь – движущейся, мечущейся бесформенной массой, человеческой магмой, которую я уже не осознавал и не понимал толком, не знал ни законов ее существования, ни порядка, ни смысла. Их теперь не стало вовсе – законов, смысла, порядка – ничего!.. Да у вас, на самом деле, никогда их и не было! Ныне же и мир сделался безобразен, и прямоходящие, да млекопитающие, населяющие оный, – пусты и безвидны, и воздух – тяжел, вода и земля – мертвы, и само время, сорвавшееся с цепи, ополоумевшее время лишь мозжило и будоражило мои бедные нервы.

Что ж, теперь только остается ждать, когда я снова превращусь в человека! Я и по сей день жду!

Светлана БУНИНА

МАЛЫЕ СТРАНЫ

1

Во вторник читала Уайльда.
Промокший Голем
стоял за моими плечами,
октябрь был полон.
И на любовь не хватало сердца.

А ты проходил по улице в самом сердце
Хельсинки. Было холодно,
шаг до смерти.
И думал: жена оставила. То же,
что раньше...

Мы были в одном пейзаже – осенней влаги,
непонимания, даже – куда до Праги –
между двумя городами,
где кот наплакал
нежности.
Засыпали в печали, но были рядом.

И поля
укрывались своим нарядом
нелюбви, как промокшим флагом.

2

Вещи, когда-то любимые,
а теперь оставленные,
оставленные в меру любви –
так же ёмко...
На дне твоего сердца
находят пристанище.
Я видела блошиный рынок
в Праге.
Где жили куклы
с оторванными руками.
И – странно – всё это еще продается?
– В меру твоего сердца,
моя дорогая.

Светлана Бунина родилась в Харькове в 1974 году. Поэт, переводчик, доктор филологических наук. Стихи и переводы публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Волга», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Новый Берег», «©оюз Писателей» и др. Автор книги стихов «Удел цветка» (2009).

3
Она похожа на русскую поэтессу,
только ямочки на щеках
чуть слаще.
Голубей глаза.
Вот на улице голубь –
она готова вспорхнуть
и в прорубь –
смотрите, птицы!
Этой женщине не дано писать,
не дано хотеть своего
от Бога.
Но она торжественна, как Агнус Деи.
Ведь ее двойник
выпил страдания
за них обеих.

4
Пили кофе
возле дома с гортензиями.
Местное Ар Нуво
приценивалось,
что получится
из этого придыхания,
из твоей руки
у меня за пазухой.
Что получится,
когда не получится ничего?
Ни цветком больше /
хоть цветком больше.

5
Ветка омелы над входом,
хозяйке сорок.
Среди нежнейших пирожных
порхает ангел.
Как Вас зовут? Ангеликой?
Этот шорох
сегодня мне сердце ранил
в прохладе пражской.
Какая пагуба видеть
её запястья.
Просится дотянуться,
мешает нежность.
Едва ли минута до смерти –
и пять до счастья.
И всё, что мы можем выведать,
только смежность.
Я знаю равнины, где верность
косит глазами,

как голубая ослица,
за правду бита.
И то, что сперва не вышло –
до нас и с Вами –
еще ничего не значит,
моя Лолита.

6

Ежедневный газетный хоррор.
А мы с Вами встретились –
неужели чтобы расстаться?
Я чувствую себя такой прозрачной,
и спешу со словами,
пока время не перебило меня.
Что нового напишут в завтрашних газетах?
Что смерть сильнее любви?
Мы, кажется, съели это на завтрак,
и до сих пор в экстазе.

7

Завтра в семь
служба на этой улице.
Костел святого Войцеха,
когда народу немного,
похож на лодку:
грациозные формы
и никакого воздействия
на судьбы мира.
Я отдам тебе это чувство,
моя любимая.
Эту лодку,
где мы никому не можем
принести спасение.
Никого не исправим.
Разве что будем
плыть по течению,
опуская весла
в завтра и послезавтра.

Прага, Мала Страна, 2011

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ

ветреное

Живи у моря. Выходи на мол,
встречая вал, который сам пришел
разбиться у темно-зеленых скал,
вскипел, нанес удар – и пал.

Иди по пляжу, где несом песок
вечерним бризом – волн наискосок –
и заметает лежаки, зонты;
там, занесенный, мог лежать и ты,
за временем шпионя. Между строк:
оно повсюду сеет свой песок,
и метит атрибуты наших драм
штрихами незаметных монограмм.

Вдоль царских откровенных мозаик
(давно ль ты к откровенности привык),
арен, колонн, конюшен, лавок, служб,
прибоем аннексированных луж,
к парашютисту, тянущему гуж.

Провинциальный островной Икар,
который столько раз уже икал
с тех пор, как, сын взаимогордых родин,
его гордыней попрекает Оден –
вываживает мокрое крыло
из нравной бездны, чтоб не унесло,
покуда ждет на траверзе буксир,
колеблемый оглядывая мир.

О, эта сцена – море, ветр, песок,
заката свет из туч наискосок
и розовых ракушек чешуя
у линии, где ты идешь – и я,
как будто предназначена, Протей,
служить подслоем боевых затей
измученного играми ума;
Псамата, огляди ее сама –

Рафаэль Шустерович родился под Москвой в 1954 году. Окончил Саратовский государственный университет, в настоящее время живет в городе Ришон-ле-Цион (Израиль). Публикации в журналах «Волга», «Иерусалимский журнал», «Крещатик», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Северная Аврора», «Зинзивер» и др.

и стайкой снова бабочки вспорхнут;
их над волнами погоняет кнут,
пестрящих голубянок. И закат,
как водится, ни в чем не виноват.

2009

***

I

Черноликие молотобойцы,
Наверняка еретики и пропойцы,
Замерли, занеся кувалды.
Дирижеры откинули фалды,
Приготовляясь к музыке,
Или уже играют.
Местные мурки и мурзики,
Даже каменные, загорают,
Пока свет дневной
Не сменился на свет, но лунный,
И пока проливной
Собирается над лагуной.

II

Эта пьяцца для пьяниц,
Здесь пялятся и толпятся
Обладательницы лучших задниц,
Чем и славятся эти пьяццы.
– Герцог, дама, валет, –
Закадровый комментатор.
Каждые триста лет
Здесь сгорает все тот же театр.
Лабиринт, тропа,
Где торгуют сегодняшней манною,
И чем гуще толпа,
Тем безвестнее мы, безымяннее.

III

Поглядите вверх,
Но будьте особенно бдительны:
Все доносят на всех,
И доносы уже недействительны,
И простаивает, застегнутая на засов,
Лавка сувенирных песочных часов,
Где маленькие молотобойцы,
Наверняка еретики и пропойцы,
Обстукивают молоточками
Талии устройств
Для перевода некоей субстанции
Из одного объема в другой.

2009

день в деревне

третий смертельный укус пчелы
застает его у пруда
клевер подорожник сурепка
медсестра снова и снова вкалывает димедрол
шофер торопясь выбрасывает песок из кузова
до райбольницы пятнадцать по грунтовке и еще пятьдесят по асфальту
жена трогает холодеющую голень и начинает тихо подвывать
кто-то подходит к пустому трактору выключает движок

2010

полуденный отдых

На сеновале, как в невесомости,
два тела во власти своей несомости,
и одно парит, протянув руку
невдалеке парящему другу,
в небе колком парящему брату,
на пустоте являя заплату.
Быль, небыль.
Невель.

Стрелки движутся, задевая сухие травинки,
продолжая деление на половинки –
остающихся, уходящих,
пробудившихся, спящих.

Две плывущие рибосомы,
как и было сказано, невесомы.

Здесь в полях отползшего Марса
знай вручную сбивай масло,
здесь в садах притихшего Гадеса
мёду и млеку радуйся,

предавайся сну в местечке, где предки
берегли драгоценные свитки,
где выгревали наседки
озерного золота слитки,

где на всю округу полтора хулигана –
дуэт недокарлика и великана,
испаряющийся, не смея сунуться,
при попытке проснуться.

Невель, небо незнаемое, неверное.
Катапультируешься в неведомое,
неизвестное, непредсказуемое,
ни с чем не сообразуемое.

2010

долина

Самсон, Давид – рэкетиры, охальники
атаманы местных урочищ
хранимые предо львами и соседской шпаной
задающие загадки, перебирающие струны
гальку подбирающие в суму
отдыхающие под дубом, фисташкой, рожковым деревом
сотрясатели устоев
женолюбцы
родоначальники
оплакивающие детей своих
предупрежденные
вооруженные
временем обожженные
оплаканными преданные

сорок дней слышать насмешки с той стороны долины
где цветут бессмертники и люпины
где застывшие молнии чертополоха
не заботятся, какая эпоха

главное то что жалит

2010

el paraíso de los gatos (кошачий рай)

Анне Мельниковой

Четыре серых, дымчато-серых (одна из них трехногая),
двое рыжих,
один с явным преимуществом тьмы
над пятнами снежного,
один полосатый, болотный, немного табачный,
впору гниющим тростникам,
одна благородно трехцветная с невозможно пушистой шерстью,
и еще какая-то мелочь, показавшаяся в конце улицы или выглядывающая из кустов.

В эти знойные дни, когда выгорают деревни
и среднерусская полоса подыхает от копоти,
когда чума цвета хаки подбирается к душам тех,
кто, в общем-то, желал бы только покоя
на пару ладоней,
можно идти по тропинке между особняками,
заросшими жасмином, юккой и лимонными деревьями,
и вдруг заметить, как из калитки высовывается женская рука
и разбрасывает пропитание для всей честной компании.

Но вот, по случаю, другая мизансцена из новейшей истории.

В недавнюю войну верхний город Хайфы почти опустел
из-за ракетных обстрелов с севера,
и долг кормления местных gatos лег на плечи жены NN.

Она и сам NN
по телефону уговаривали детей не волноваться, болтали
с перехватившими трубку внуками,
косились на экран телевизора,
слышали сирены ПВО, взрывы СКАДов
(будь проклят тот давний день, когда я подписывал анкету у кадровика – думал NN),
время от времени спешили в бомбоубежище.

Утром и вечером она выходила с мешком корма в скверик,
куда уже стекались чуть ли не все кошки Хайфы,

и т.д.,

пока не кончилась война
и не вернулись жёны других NN,
не столь безрассудные, как наша героиня.

2010

сочини себе сон

Сочини себе сон
если сны не снятся
не теснятся

если сны не снятся
не теснятся сниться
сочини себе сон

сочини себе сон
втянут глоткой голодного змея

сочини себе сон
из товарняка
высажены в голую степь
рыть землянки
вьюга
что бы то ни было вживаться
вкапываться в почву

сочини себе сон
спиной к ограде

зимнего сада
где липы туя каштаны

против троих

с разбитым ртом
и учебник античной архитектуры
на затоптанном грязном снегу

сочини себе сон
в молочном тумане
не отыщешь нужную тень
и нельзя не уйти

2010

Петров Вал

Ветхий вокзал, вывеска «Петров Вал».
Тот ли Петр, что канал затевал,
или тот, что у вала на страже с ключом,
у калитки – куда не заманить калачом?

Не зарекаясь от заплечной сумы,
прогляди проскрипционные списки зимы.
Ранний апрель, туманная стылая прель,
вольные всадники крутят в степи карусель.

Веткой камышинской из тумана миндаль,
чертополох теребит местный мистраль.
Видимость ноль, не потеряться изволь,
тракта незримого передвигаясь вдоль.

В рамках отчизны здесь относительно юг,
в ямках клубки вежливо-сонных гадюк.
В меру брюзглив сорный брелок-сон,
в поле царицынское занесен.

То ли – назад: рука в горячей руке,
словно летишь – без рюкзака, налегке,
черное пламя в гриве, руках, очах,
лишнего нет на плечах.

Не позабыть, благодаренье уму,
эту весну и следующую – следующую во тьму,
окаменевших лавров дряхлые пни
в новой тени.

2010

Василий ШЕВЦОВ

ВАННА

Рассказ

Когда Виктор приоткрывает глаза и, соорудив из ладони противосолнечный козырек, начинает встревоженно прочесывать взглядом морскую поверхность, ему кажется, что Марина пропала. Он уже чувствует, как по телу распространяется цепенящий панический гул, но в ту же секунду различает черную точку ее головы в заметном отдалении от берега. Виктор выдыхает: это в ее стиле – заплывать бог знает в какую даль и до посинения релаксировать, раскачиваясь на волнах. Подает ей знак рукой. Нет, не видит.

В принципе, что он так беспокоится? Свои силы рассчитывать жена умеет, плавает превосходно, даже насчет имени своего – Марина – шутит, что оно ей не зря досталось. Говорит, что в прошлой жизни была рыбой. Или дельфином. В Москве она хныкала, просилась на море, и Виктор пошел ей навстречу, хотя сам бы предпочел Прагу или другой какой-нибудь европейский город с историей, так вот оно, море: лучший антистресс, талассотерапия, растворение женщины в водном пейзаже. Все примерно так и планировалось. К тому же, разевать рот на Европу Виктор мог лишь неопределенно-умозрительно, а как доходило до подсчета финансов, оставалось развести руками. Турецкие три звезды, с вонючими простынями, бьющей по ушам дискотекой под окном и несвежими обедами «олл инклюзив», конечно, в разы бюджетнее.

Нет, средства у них, разумеется, водились. Причина для экономии была солидной и заключалась в том, что после пяти лет совместных скитаний по съемным квартирам Виктор с Мариной наконец решились на ипотеку. Пару месяцев бегали по банкам, выбирали подходящее агентство, смотрели варианты – то окна выходят на военную часть с барабанным боем, то из-за двери выглядывает десяток грязных зашуганных азиатов, а жене это все, конечно, неприятно, то и без азиатов такая разруха, что сердце ноет и разбегаются мысли, – пока не наткнулись на что-то приличное.

Север Москвы, двушка, даже не сказать, что особо обшарпанная. Можно въезжать без ремонта, да и место ничего: вдали от шоссе, кругом зелень, вишневые ветки стучатся в окна. За неделю до вылета, уплатив все виды комиссий и оформив кипу документов, успели заселиться и кое-как на первое время обустроиться. Разная мелочь так пока и лежала в мешках и коробках в свободной комнате (она предназначалась для их еще только в отдаленном проекте намеченного ребенка), из мебели купили лишь самое необходимое, чтобы было где разложиться на ночь. Холодильник еще, конечно. Стол, стулья. После этого свободных денег почти не осталось, но на горящую путевку, совсем по демпинговой цене, Виктор все же наскреб.

И вот – какое-никакое Средиземноморье. Он лежит на в меру замусоренном общественном пляже, вдалеке расстилается по скалистому мысу сельджукская крепость, а прямо под боком, даже в воде не снимая своей униформы, плещутся мусульманки – с вполне общечеловеческим смехом, понятным любому неверному. Если же не обращать внимания ни на них, ни на дорогу

Василий Шевцов родился в 1975 году в г. Кулебаки Нижегородской области. В 1996 году окончил филфак Нижегородского государственного университета. Занимался фольклористикой (в особенности «страшным» детским фольклором). В 2003–2007 гг. регулярно печатался и вел авторскую колонку в газете «НГ Ex Libris», в 2007–2008 гг. вел ежемесячные обзоры общественно-политической литературы в газете «Время новостей». Создатель сайта kulebaki.ru (совместно с Андреем Гороховым). Проза публиковалась в интернет-альманахе «Топос» и журнале «Сибирские огни». Работает выпускающим редактором объединенной редакции молодежных изданий в ИД «Бауэр-Медиа», учится в магистратуре ВГИКа (сценарно-киноведческий факультет). Живет в Москве.

позади от пляжа, а смотреть поверх прибрежной возни, к горизонту, прихватывая сбоку крепостные башни и стены, то можно на мгновение ощутить себя не банальным «руссо туристо, облико *аморале*», а, скажем, древним пиратом, только что высадившимся в неведомой бухте за границей христианского мира.

Виктор слегка приподнимает корпус, выставляет локти на краешек полотенца, и, подперев подбородок кулаками, усмехается. Марина уже переместилась на мелководье. В стороне от купающихся хиджабов она нежится в легком прибое, всем своим видом демонстрируя, как ей там хорошо и не хочется вылезать. Виктор думает, не присоединиться ли к ней, но его одолела такая бесстыдная лень, что нет сил подняться. Он устало любуется женой и снова жестом подзывает ее. Та, щурясь от счастья, быстро-быстро, как капризная девочка, качает головой и делает еще один короткий заплыв.

Когда Марина все-таки выходит на мелкую гальку – почти песок, – она спотыкается на ровном месте. Виктор вскакивает, кидается к жене. Та стоит на коленях и растерянно ему улыбается. Он отвечает вопросительным взглядом с оттенком шутливого порицания, протягивает ей руку, помогает встать.

– Надо в море смыть, – Марина имеет в виду налипший на нее после падения крупный серый песок.

– Высохнет, – Виктор почему-то не хочет снова пускать ее к воде и, придерживая за плечи, ведет туда, где расстелены их полотенца.

Жена тяжело ступает, кажется, вот-вот, и она рухнет снова.

– Ногу, что ли, подвернула? Не поранилась?

Марина и сама недоумевает:

– Не понимаю, как-то странно упала...

Виктор не придает этому случаю значения, однако после ужина все повторяется.

Темнеет рано – конец августа, но воздух прогрет, и вода теплая. До вереницы пляжей доходит слабый свет фонарей, равномерно натыканных возле проезжей части. На берегу народа меньше, чем днем, оживление спадает, но не прекращается совсем: вечером к морю ненадолго приходят и местные, и туристы, одни ради коротких морских ванн – разок окунулись и уже обратно, – другие с пикниками. На вдающейся в море небольшой скале рыбачат турки. Здесь тихо, только мягко шумит прибой.

Виктор и Марина с общественного пляжа перемещаются на соседний, он относится к территории пятизвездочного отеля «первой линии»: днем аренда лежака стоит там два доллара, а на ночь их не убирают, и можно занимать свободно. Они усаживаются, Виктор отвинчивает крышку с бутылки кофейного ликера, купленного в шереметьевском дьюти-фри, и разливает по пластиковым стаканчикам.

После тяжелого потного дня сейчас наступает относительная прохлада, с моря дует легкий бриз. Равномерный гул прибоя и резкий, йодистый морской запах успокаивают. На какие-то несколько мгновений Виктору становится совсем хорошо. Он отрывает взгляд от шелкового мерцания лунной дорожки и говорит Марине, что любит ее. Та смущается, как на первом свидании, как будто они не женаты уже больше пяти лет, спрашивает шепотом: «Правда?» – и Виктор, громоздко перетягиваясь к соседнему лежаку, долго целует ее в губы.

В это время мимо них проходит турецкий мальчик лет семи, оборванец с выпученным детским пузом и наивной белозубой улыбкой. В руке у него охапка роз, которая волочится по земле, в полутьме даже невозможно различить, какого точно они цвета. Дождавшись окончания поцелуя, мальчик заискивающе протягивает одну Виктору.

– Уан доллар, – мяукает он почти неслышно.

Виктор отрицательно кивает, тогда мальчик для проформы протягивает розу еще и Марине, но она, разумеется, тоже отказывается, и тот молча удаляется. Виктор начинает сомневаться: может быть, стоило купить цветок, в номере приспособить под него стеклянный стакан – простоял бы, наверное, до самого их отъезда, жене было бы приятно, – но вспоминает, что все равно

оставил деньги в отеле. Ему приходит в голову, что он давно не дарил ей цветов, только по особым случаям, а надо ведь без случаев, просто так, чтобы радовать вниманием. Хорошо бы дома взять привычку каждую неделю приносить домой букет... При воспоминании о Москве его мысли сворачивают на грустное: предстоящие расходы, ремонт, возвращение на работу, но он старается быстро перескочить к тому, как все будет замечательно, когда они окончательно устроятся и смогут уже позволить себе ребенка, ведь время идет, и Марине надо поскорее забеременеть, с каждым годом ей все сложнее будет рожать...

Марина, все еще взволнованная его внезапной близостью, показывает, что хочет чокнуться пластиковыми стаканчиками.

– Пойдешь купаться? – говорит она заговорщическим тоном, сделав глоток.

Виктор встряхивается:

– Вместе? Ну пошли!

Бодрым движением Виктор скидывает рубашку и шорты, потом они с Мариной синхронно встают с лежаков и решительно направляются к морю. Зайдя в воду по пояс, Виктор опасливо косится на оставленные вещи – впрочем, это лишние опасения, ничего ценного там нет – и ложится на волны. Медленно раздвигая руками послушную толщу, он видит, что Марина уже где-то впереди, и кричит ей вдогонку, чтобы не плавала далеко, начинает штормить, – но она не слышит. Тогда в нем неожиданно вырастает раздражение на нее, он разворачивается в воде на сто восемьдесят градусов и гребет к берегу. Пусть плавает, где ей хочется, плевать, ее дело!

Виктор подливает себе густого ликера – правильнее называть его кремом, но звучит это както чересчур уж претенциозно, по-дамски, хотя надо заметить, что и напиток соответствующий, – и закуривает, чтобы успокоиться. Он твердит себе, что нарочно не будет следить за Мариной, и поворачивается направо: там, километрах в пяти отсюда, блещет огнями ночной город и гигантской темной гусеницей ползет по скалам средневековая крепость. Когда пляшущие вдали огоньки начинают расплываться перед глазами и мысли в голове останавливаются, Виктор слышит крик, слабо доносящийся сквозь прибой. Марина зовет его.

Он сразу находит жену взглядом: та лежит на самой кромке воды, беспомощно вцепившись пальцами в расползающуюся прибрежную гальку, так что мощные волны периодически накрывают ее целиком. Виктор моментально мобилизуется. Он бежит к ней, по пути задевает локтями и коленями расставленные всюду лежаки.

– О господи... Что случилось?! – бормочет, вставая перед ней на корточки.

Марина жалобно смотрит на него и не знает, что отвечать.

– Помоги мне... подняться...

Виктор подхватывает ее под мышки и практически несет на себе: ноги ее не слушаются. К страху примешивается чувство неловкости перед уставившейся на них компанией из пяти человек – судя по едва доносящимся обрывкам комментариев, немцы.

До отеля – нужно пройти примерно двести метров – они добираются с переменным успехом. Стоит ему отпустить жену, как она начинает медленно оседать и искать рукой точку опоры, и он снова ее подхватывает. У Виктора дежавю: примерно так вот, когда в детстве играли в войну, надо было тащить «к нашим» раненого товарища. Неуместное совершенно воспоминание.

– Что же с тобой такое? – в очередной раз спрашивает он, растянувшись на шезлонге возле бассейна, и покручивает в руке стакан дармового джин-тоника.

Еще нет одиннадцати – дискотека грохочет на всю округу, сверкает убогой цветомузыкой. Вся дискотека, собственно, – крохотный, ограниченный четырьмя столбами пятачок перед баром. Рядом установлены несколько пластмассовых столиков и стульев. С той стороны раздается визг: юные соотечественницы последовательно опустошают бар, машут руками, виснут на отельной обслуге – крепких южных мачо с масляными физиономиями и уложенными гелем прическами. Те, на которых не виснут, исподтишка снимают происходящее на телефоны, через блютус обмениваются друг с другом особо колоритными сценками, со смешками комментируют.

Марина молчит и рассеянно улыбается чему-то своему – может, просто не слышала? Виктор повторяет вопрос.

– Ничего страшного, думаю, ерунда, – она продолжает наблюдать за дискотекой, и его настораживает легкость ее интонации. – Какой-то гул в ногах, такое уже было в детстве, сейчас вспоминаю. Быстро прошло. Не обращай внимания.

Однако на третий этаж, в номер, Марина поднимается все еще с трудом, ноги подкашиваются, и Виктору снова приходится ее придерживать. Добравшись до номера, она с облегчением валится на кровать. Следующий день – базарный: всю ночь под окном гремят, ставят за оградой отеля торговые палатки, разгружают машины, и Виктор долго не может уснуть, то и дело выходит курить на балкон.

С утра оказывается, что с Мариной все в порядке, но она сама говорит, что нет никаких сил идти к морю. Вместо этого они спускаются к возникшему за одну ночь, как в сказке, базару и устраивают маленький шопинг: смотрят дешевый текстиль, покупают дурацкий рахат-лукум в коробках, турку, банное мыло, Марина настаивает на магнитике и большой ракушке, с крепкий мужской кулак. Потом целый день валяются в номере, щелкают каналами, читают, выходят только в столовую. О вчерашнем молчат. Виктор томится: чужое, все чужое и неинтересное, что он здесь делает?

За остающуюся до вылета пару дней они еще трижды успевают сходить на пляж, и странное Маринино недомогание каждый раз повторяется, правда, уже без падений, просто слабость в ногах, некоторое пошатывание. Виктор строго-настрого запрещает ей заплывать за конец скалы – той, с которой турки закидывают удочки: не хватало еще, чтобы вдали от берега у нее отнялись ноги, кто ее тогда успеет спасти?

– Но в воде я себя прекрасно чувствую, – робко парирует Марина.

Потом – подъем ни свет ни заря, двухчасовой трансфер до аэропорта, паспортный контроль, бойкая очередь на регистрацию рейса, невкусная пицца и дорогущее пиво в транснациональной сетевой забегаловке. Когда «Ил-86» садится в Шереметьеве, Виктор вместе со всеми искренне аплодирует экипажу и крепко сжимает Маринину ладонь. За последние дни он привык к постоянному волнению за жену, к невротическому слежению за каждым ее шагом, и когда они выходят из салона, пропускает ее вперед, чтобы тут же в случае эксцесса прийти на помощь. Никаких эксцессов не происходит, Марина уверенно спускается по трапу. Виктор свободнее вдыхает воздух родины, он уже готов списать ее недомогание на турецкий климат, гормональный сбой, чуть ли не на смену часовых поясов, и вообще хочет поскорее выветрить все это из памяти. Из экономии такси не берут – доезжают до Речного вокзала на автобусе, пересаживаются на метро, из метро в маршрутку.

Завтра воскресенье, еще не на работу. До полуночи в их новой квартире льется по «икейским» бокалам красное вино, они под шипение сковородки обсуждают, как поинтереснее обставить квартиру, жмутся друг к другу, а глубокой ночью Виктор просыпается от какого-то странного ощущения. Он проводит рукой по простыне: точно, мокрая. И запах, приторный и одновременно солоноватый. Косится на Марину: та лежит на спине, неестественно широко раздвинув ноги, и тихо посапывает. У нее энурез? Вот еще новости... Виктору спросонья приходит в голову абсурдная мысль, что как-то так должны пахнуть околоплодные воды. Он отодвигается на самый краешек дивана, подальше от мокрого, и вот ему уже снится: Марина приезжает из роддома со свертком, но не хочет показывать ребенка, прячет его, и когда уходит в туалет (мощный звук струи раздается на всю квартиру, лезет в уши), Виктор тайком подбирается к свертку, разворачивает – и отшатывается. Из-под пеленок и одеял на него смотрят круглые рыбьи глаза, огромная рыба пульсирует жабрами, жадно заглатывает воздух.

Он встает рано, понуро идет варить кофе, а когда просыпается Марина, из деликатности помалкивает. Та за завтраком виновато отводит взгляд, потом, стараясь быть незаметной, проскальзывает с бельем в ванную, полощет его руками, поспешно развешивает на балконе. Виктор механически отмечает про себя, что к списку срочных трат надо добавить стиральную машинку. Сколько всякого барахла им еще понадобится, одно другого нужнее...

Ближе к вечеру Марина говорит, что хочет принять ванну, и после отразившихся на лице колебаний добавляет дрожащим голосом:

– Прости, я ночью... Ужас! Ты меня теперь не разлюбишь?

– Гм, – Виктор подбирает слова, ему и самому стыдно касаться этой темы. – Со всяким может случиться. Наверное, стресс после перелета, недосыпание, этим можно объяснить...

– Спасибо! – Марина смотрит на него благодарно.

***

Наступает понедельник. Виктор возвращается с работы (он менеджер по заказам в крупной типографии) после восьми, по пути покупает бутылку коньяка, направляется к дому, но спохватывается и сворачивает в цветочный магазин за розой. На кухне, пока нет жены, заботливо обрезает стебель и ставит розу в банку. Садится покурить перед окном. На улице моросит поосеннему, небо в серых тучах, но именно такая погода обычно вызывает у Виктора душевный подъем. Он набирает Марину, собирается спросить, не желает ли она на ужин чего-то особенного, если что, он метнется в супермаркет, просто ему не сидится на месте, хочется поскорее ее видеть, что-нибудь сделать для нее... Она не сразу берет трубку: «Задерживаюсь, извини, куча дел навалилась, устала жутко». Марина – дизайнер в сетевой рекламной компании, график там у них ненормированный, и оставаться допоздна на службе ей случалось уже не раз. Но настроение у Виктора неуклонно падает. К двенадцати он уже весь на нервах, ходит по квартире кругами, не выпускает из рук телефона. Наконец решается открыть коньяк, посылает жене очередную гневную эсэмэску и, не дождавшись ее к часу ночи, ложится.

Поворот ключа пробуждает его от полусна. Виктор дотягивается до мобильного, чтобы узнать время. Без пяти три. Протирая глаза, выходит в освещенную голой лампочкой прихожую и остолбенело застывает. Марина со стеклянной улыбкой слабо покачивается, как в замедленной киносъемке, безуспешно пытается разуться, и, полуобернувшись к мужу, лепечет заплетающимся языком что-то абсолютно дикое – про то, что ей хочется в отпуск, на море, что в Москве слишком холодно гулять по ночам. Виктор не верит своим ушам.

– Что с тобой?! – трясет жену за плечи. – Ты пьяная?

Она хочет ответить, что нисколько не пьяная, что не заслуживает такого отношения – но слова рассыпаются у нее во рту, и в довершение всего Марина, так и не справившись со своими туфлями, оседает на пол. Внутри у Виктора все клокочет, однако в виду такого ее состояния разбирательство он решает отложить до утра, а пока волочет жену в ванную, прыскает ей в лицо холодной водой, старается привести в чувство, снова тащит через прихожую, грубо раздевает, укладывает спать. Марина вяло сопротивляется, но, судя по заторможенности реакций, не вполне понимает, что происходит.

С утра Виктор не успевает устроить ей намеченный нагоняй. Звонит ей днем на работу: Марина в порядке, отшучивается, говорит, что просто так на нее действует усталость. Виктор, смягчившись, даже извиняется за то, что вчера был слишком резок – но его тоже можно понять, нельзя же так испытывать его терпение, – однако вечером она снова приходит не совсем в себе, хотя и получше, чем вчера, тем не менее, уклоняется от беседы и, ежась от холода, идет в ванную. Виктор уныло смотрит в потолок, слушает доносящийся из ванной шум воды, спустя десять минут перебирается на кухню. Капает в стакан коньяку – сначала немного, на донышко. Разом проглатывает, потом подливает еще и еще, как будто кому-то назло. К тому моменту, когда Марина вылезает из ванной, он уже успевает немножечко набраться и с недобрым чувством наблюдает, как та осторожно, держась за стены, направляется на нетвердых ногах к постели.

– Черт, твою мать! – взрывается он, с секундным опозданием узнав «турецкий синдром», и бросается за ней следом. – Да что же это творится?!

Марина, красная, распаренная, закутанная в полотенце, раскидывается на диване по диагонали, так что голова упирается в стену, а ноги свешиваются к полу.

– Ноги мои, ноженьки... – ее голос тает, она слепо захватывает мужнину руку и по очереди прикладывает к своим щиколоткам. – Укрой меня...

Виктор отдергивает руку и, на секунду задержав ее в воздухе, поддается внезапному импульсу – замахивается на жену, изображая символическую пощечину. Та отшатывается, и в ее глазах вспыхивает животный испуг. Виктор, который никогда раньше не поднимал на Марину руку, выдавливает из себя стон и вылетает из комнаты.

Через месяц, может быть, немного раньше, ему становится ясно, что у возникшей проблемы нет рационального решения, то есть поначалу Виктор даже не отдает себе отчета в том, что это действительно проблема, и проходит несколько дней, прежде чем он вычленяет жесткий сценарий, которому автоматически следует Марина: хроническая усталость к концу дня, долгие пролеживания в ванной, потеря внятной речи и – в финале – частичная парализация ног. Виктор привыкает ждать вечера с тоской, ревностно отслеживать состояние жены, с тоской подлавливать ее на угасании умственных и физических сил, привыкает к тому, что с утра она снова как огурчик, плохо помнит вчерашнее и подозревает его в паранойе. Он действительно накручивает себя – что, если у нее совсем отнимутся ноги и она будет передвигаться на инвалидной коляске: да, он, пожалуй, будет готов за ней ухаживать, но как же тогда ребенок, сможет ли она рожать? Ладно бы только ноги, но и с головой у Марины беда: речь становится обрывистой и невнятной, она многое забывает, регулярно путает даты и имена, настроение колеблется.

Сначала он упрашивает ее показаться врачу, но она отмахивается, и тогда Виктор в рабочее время (взяться за подключение домашнего интернета нет никаких сил) начинает прочесывать сайты медицинских консультаций, теряется в описаниях симптомов атеросклероза, варикоза, дисфункций щитовидной железы, вегетососудистой дистонии, высылает жене для ознакомления по десяти ссылок на дню. Ухватившись за какое-то обсуждение на одном из любительских форумов, он развивает версию, что всему виной противозачаточные таблетки, с трудом убеждает жену на время от них отказаться, но стоит в их жизни снова появиться презервативам, как исчезают последние намеки на секс. И главное, ничего не меняется: несмотря на все его просьбы, протесты, ультиматумы, даже рукоприкладство (не столько с целью воздействовать на жену силой, сколько из самоуничижения, готовности стать плохим, чтобы только донести до нее градус своего отчаяния), Марина каждый вечер запирается в ванной комнате и – кажется Виктору – ведет там свою какую-то тайную разрушительную жизнь. В отсутствие жены он поражается тому, с какой скоростью ванная наполняется разнообразными косметическими средствами: шампунями, бальзамами, пенами, гелями, кремами, морской солью, эфирными маслами, масками для лица и тела, молочками, скрабами. Разноцветные тюбики, баночки и флаконы громоздятся друг на друге в каких-то фантастических количествах, целиком заполняют нерабочую раковину, оставшиеся от прежних хозяев полочки, стоят рядами на кафельном полу, и в непрекращающемся прирастании этой избыточности, особенно на фоне почти девственной пустоты остальных комнат (им, разумеется, уже не до ремонта, не до покупки мебели или смены обоев), ему видится что-то маниакальное.

Приступы бессмысленной ярости, когда Виктор кругами ходит по квартире и крушит все попадающееся ему на пути, сменяются попытками найти с женой хоть какое-то подобие общего языка. Он чувствует, что теряет ее, ему не удается достучаться до Марины даже в выходные, когда они целые дни проводят вместе. Однажды, после сто пятидесятой попытки восстановить взаимопонимание, он устает бороться.

– Это развод! Ты понимаешь, развод! – срывает он голос, колотя в захлопнутую перед ним дверь ванной.

Оттуда раздается только звук льющейся из крана воды: мощная, толстая, омерзительная струя. Виктор хватается за голову и привычно достает из-за холодильника ополовиненную бутылку коньяка – последнее время он без этого не может. В несколько истерических залпов выпивает все, что осталось. Ну что же, это конец, надо разъезжаться, но куда он поедет, во Владимирскую область, к родителям? Снимать однокомнатную? Найти себе другую женщину, чтобы с квартирой? Бред, бред, все не то! Даже и не говоря о том, что они созаемщики, привязанные друг

к другу пятнадцатью годами долговых обязательств – все, конечно, решаемо, – даже не говоря об этом, как он может ее оставить? За ней нужен постоянный присмотр, одна она загнется, ей на то, чтобы загнуться, хватит одного дня... Только бы поскорее забыться, уснуть и видеть сны, потом она уж как-нибудь доберется до дивана, протиснется сбоку, может быть, все каким-нибудь чудом наладится...

Его будит посреди ночи глухой удар в прихожей – звук такой, будто набитый одеждой чемодан свалился с антресолей. Виктор с тяжелым сердцем, не успев протрезветь, идет проверять, что случилось. В прихожей темно, он шарит по стене в поисках выключателя и натыкается на что-то мягкое, что тут же идентифицирует как тело жены. Она лежит, распластавшись, на полу, совершенно голая, с виска по щеке сползает струйка крови. Марина даже не движется, не пытается встать или ползти, просто лежит, как труп из сводки криминальных новостей.

– Ты жива? Эй! – Виктор с силой подхватывает гибкое истощенное тело, вглядывается со смешанным чувством ужаса и брезгливости: при подъеме голова жены безвольно заваливается назад, зрачки закатываются.

Вернуть ее в сознание не удается – в ответ на его отчаянные встряхивания и удары по щекам она только беззвучно шевелит губами. Пока Виктор тащит ее, как мешок, через прихожую, он думает, что по-хорошему надо бы вызвать скорую, но что-то мешает ему это сделать: возможное вторжение чужих людей, пусть даже врачей, в то, что он хотя бы в некотором смысле воспринимает как последствие семейного скандала, кажется ему позором.

С утра он нависает над Мариной:

– Что? Вчера? Случилось? – каждое слово клином врезается в самое ее тело с высоты его моральных позиций.

Марина лежит под одеялом притихшая, вся какая-то опустошенная, закутанная в собственную виноватость, с видом таким, словно у нее похмелье.

– Витя, пожалуйста, не кричи, меня сейчас каждый резкий звук ранит, – она говорит это так, как прежде, как шесть с хвостиком лет назад, когда они еще только начинали жить вместе, женственнейшим из своих голосов. – Поверь, мне очень плохо и очень стыдно...

– Так что же все-таки это было? – Виктор теряется, он почти готов зарыдать у нее на груди в экстазе примирения, но, в подробностях вспомнив ночные обстоятельства, не дает себе воли, и еще украдкой поглядывает на часы: как бы не опоздать на работу, работа для него вдруг приобретает какую-то важность, то ли как подтверждение того, что не все потеряно и многое продолжает иметь смысл, то ли просто как временное укрытие от засасывающей воронки домашнего кошмара.

– Ну, так что же? – Виктор все же находит в себе силы для нового разгона. – Ты там наркотики принимаешь, клей нюхаешь? Я уже ничем другим не могу этого объяснить. Или это ванна на тебя так действует? Сколько ты вчера сидела? Два часа, три? Никакой организм такого не выдержит.

– Я ничего не нюхаю, естественно, – обиженно сникает Марина.– Вышла из ванной и споткнулась, о косяк ударилась... Ты не волнуйся, я сегодня останусь дома, я, конечно, не могу никуда так ехать. Подашь мне телефон?

В прихожей Виктор, тупо разглядывая подсохшие пятна крови, слушает, как Марина предупреждает начальство, что заболела и чтобы ее сегодня не ждали, неторопливо обувается.

– Может, раз уж дома, дойдешь до поликлиники? – спрашивает с порога, когда она кладет трубку.

– Посмотрим, – неопределенно произносит Марина.

Конечно, Виктор не рассчитывает, что она прямо сегодня же займется своим здоровьем, но ее решение остаться дома немного его успокаивает: может быть, и не развод, может быть, вечером им удастся до чего-то дотолковаться, потому что вчерашнее происшествие – это уже за гранью, и она это тоже понимает, тогда хорошо бы освободиться пораньше, тем более что дел особых никаких не намечалось – и он, проскучав на рабочем месте до трех, отпрашивается у начальника отдела. С улицы набирает Марину: та отвечает, что ждет, что рада, но хотя голос ее не выражает соответствующих эмоций, это все же его приободряет.

Когда, через час с небольшим, Виктор, уже нагруженный разными вкусностями, двумя бутылками спиртного (полусухое шампанское и коньяк) и с тремя розами в руке, звонит в дверь, никто не отвечает. Он недоуменно отпирает дверь своим ключом и еще с порога слышит доносящиеся из ванной бурно-сбивчивые рулады. Не разуваясь, ставит пакеты на пол и с букетом в руке заглядывает в открытую дверь: жена лежит в холмах пены и напевает какой-то старинный романс, что-то про темно-вишневую шаль, или ему только так кажется, потому что не разобрать ни слов, ни мелодии. Марина, заметив мужа, улыбается до ушей, и он, конечно, узнает эту идиотическую улыбку. На него вдруг нападает тоскливое равнодушие.

– Ты собираешься вылезать? – помертвевшим голосом спрашивает он после порядочно выдержанной паузы.

Марина не выходит из ванной ни через час, ни через два – Виктор и не настаивает, ему становится на все наплевать, и он потихоньку напивается, курит сигарету за сигаретой и смотрит в окно, на то, как под мелким дождиком девчонки лет тринадцати гоняют мяч на футбольной коробке. Покончив с коньяком, достает из морозилки заледеневшее шампанское и с горя даже несет бокал жене: примерно тот самый случай, когда хочется чокнуться хоть со статуей. Марина по-прежнему что-то мурлычет себе под нос, и, готовясь принять бокал, блаженно обводит расправленными ладонями пространство ванны:

– А я теперь здесь!

***

Виктор всегда подозревал в себе предрасположенность к алкоголизму и еще в студенческие годы давал зарок – ни за что не опохмеляться: пей сколько угодно, но на второй день к рюмке не притрагивайся, как бы ни было плохо, как бы ни подначивали друзья-собутыльники. Рассол, кефир, томатный сок, клюквенный морс – все, что попадется под руку там, где застанет хмурое утро; только не клин клином. Однако сейчас он, проснувшись с гудящей головой, просит по телефону отгул и тащится за новой бутылкой. Вместо коньяка берет водку; не из метафизических, конечно, соображений, а из чисто экономических. Виктор уже догадывается, что выпивка ему теперь будет требоваться часто и помногу. Потому что настоящий ад – это не когда жена перестает тебя слышать, не когда она падает с ног, теряет разум или расшибается в кровь в прихожей; ад – это когда жена живет в ванне. Живет, то есть, в прямом смысле: спит, ест, справляет естественные потребности – и все это в лежаче-согнутом положении; лежачем, потому что встать на ноги она уже и не пытается, а согнутом, потому что малогабаритная чугунная ванна не позволяет ей растянуться в полный рост.

И не сказать, что такая неудобная жизнь как-то огорчает Марину – напротив, она круглосуточно, с короткими перерывами на сон, пребывает в приподнятом состоянии духа, можно сказать, в эйфории, так что Виктор часто просыпается среди ночи под ее плохо артикулированные мелодические импровизации, больше похожие на вопли глухонемой. Поначалу мысль прибегнуть к медицинской помощи еще тлеет у него где-то на задах сознания, но он глушит ее водкой и тогда проникается вдруг к жене то щемящей нежностью, но чаще – отвращением, кричит ей в мало что выражающее лицо: «Ты высосала мою жизнь!» или еще что-нибудь в этом роде. К тому моменту Марину многократно пытаются вызвонить с работы, выяснить, как и что и надолго ли у нее больничный, намекнуть, что без нее встали несколько проектов и если так продлится, то ей будут вынуждены искать замену – и поскольку Марина давно уже перестала заряжать свой мобильный, а к домашнему подходит только ее муж и лепечет что-то не слишком успокаивающее, то ее решают в одностороннем порядке уволить за прогулы.

У Виктора с работой тоже что-то не ладится, работа перестает быть спасением. Все мысли вращаются вокруг того, как бы кто не узнал, что происходит с Мариной, сохранение тайны становится идеей фикс: ему приходится брать на себя переговоры с Марининими работодателями, пока те не замолкают, уклоняться от прямых ответов на вопросы тещи, которая удивлена, что вот

уже столько времени не может поговорить с дочерью, и подозревает что-то (к счастью, она живет далеко, в Челябинске, и визита ее пока можно не ждать); разумеется, запланированное еще два месяца назад отмечание новоселья в узком дружеском кругу откладывается «до лучших времен». «У нас тут сейчас бардак, вот сначала отремонтируемся», – сдавленным голосом обещает Виктор.

И он пьет, привыкает просыпаться с похмелья, по привычке ездит на службу, но не может сосредоточиться на делах, с отсутствующим видом просиживает штаны, получает внушения от начальства, а финалом его типографской карьеры становится потеря важного заказа, после чего вопрос об увольнении встает ребром и решается полюбовно. И он снова пьет, уже не сдерживаемый никакой внешней дисциплиной, пьет, пока остаются деньги на карточке, варит пельмени или еще что-нибудь такое же простое, таскает Марине – в миске, как собаке, и она каждый раз этому рада, хотя качество пищи неуклонно снижается и под конец в дело идут уже какие-то отбросы. А когда наступают даты очередных платежей по кредиту, Виктору уже не до того, да и откуда возьмутся такие бешеные деньги – почти шестьдесят тысяч. Из банка до него пытаются дозвониться, но он, как и Марина, давно перестал заряжать мобильный и за стационарный телефон не вносил абонентскую плату, потому что кому чего от него может быть надо, а информационные письма о просрочке он даже не получает – просто не заглядывает в почтовый ящик.

К тому же, от него начинает плохо пахнуть: он не моется уже пятнадцать недель, с тех пор как Марина заняла ванну, и, соответственно, одежду тоже не стирает, а потом и вовсе перестает ее менять. На улице его принимают за бомжа, на просьбу помочь рублем или десяткой через раз отвечают: «Иди работай!», таджикские дворники добродушно шпыняют его, и Виктор в поисках пропитания осваивает мусорные баки. Но сближения с коллегами по этому промыслу избегает, ведь с ними придется, наверное, о чем-то разговаривать, а он свято бережет свою семейную тайну, хотя уже плохо помнит, в чем ее смысл. Однако скоро такая чересчур активная жизнь ему надоедает; может быть, и сил не хватает работать на два фронта, и в конкурентной борьбе между едой и выпивкой побеждает последняя, то есть у Виктора остается одна цель – сшибить денег на дешевую водку, а прочие калории он исключает из своего (а следовательно, и Мариниого) рациона. Марина, больше суток не получавшая от него миски, меняет репертуар: ее кликушеские завывания превращаются в единый протяжный стон – и в конце концов Виктор устает все это слышать и заколачивает дверь в ванную гвоздями. Помогает такая мера плохо, стоны слышны по-прежнему, и он, чтобы усилить звукоизоляцию, баррикадирует дверь мешками, коробками и сумками, дополнительно укрепляет перекрытие поставленным на попа диваном, так что кухня оказывается отрезанной от остальных комнат.

А еще через неделю заклеивает дверные щели, те, до которых может добраться, скотчем – от мух, но мухи все равно плодятся, и он гоняется за ними с топором, оставляя на стенах рубцы и иногда темно-вишневые ошметки.

***

В конце февраля двое судебных приставов – один постарше и попузатее, по имени Валерий, второй помоложе и поподтянутее, Виталий, – приходят арестовывать квартиру, зарегистрированную в едином государственном реестре на Виктора и Марину Полесьевых и находящуюся в залоге у банка «Бета-кредит». Приставы трижды жмут на звонок, затем колотят в дверь ногами, и поскольку никто не открывает, они, согласно инструкции, выламывают замок.

– Обосраться просто, – отдышавшись, резюмирует свои впечатления от представшей им картины Валерий и зажимает нос. – Че за быдло здесь живет?

Виталий отмахивается от мух, презрительно сплевывает на пол и шагает вперед, к забаррикадированному подступу в ванную.

– Ну и бомжатник. Ипотека, бля, – он пинает приставленный сбоку дорожный чемодан на колесиках. – Сдох, что ли, кто? Запашок...

– Смотри-ка, – подзывает его Валерий.

Виталий делает три шага через прихожую и останавливается рядом с напарником на пороге

двадцатиметровой комнаты-пенала. Они обмениваются многозначительными взглядами, Виталий с иронической ухмылкой позвякивает наручниками.

– Да убери ты их, какие на хер?.. – внезапно раздражается Валерий.

Зрелище и вправду жалкое. На желтом линолеуме, посреди опустошенных водочных бутылок и беспорядочно раскиданных бычков, прислонясь головой к отслаивающимся обоям, лежит Виктор. Пуховик на нем подран и запачкан, на джинсах различаются несколько слоев грязных разводов, свалявшиеся пшеничные волосы больше напоминают клочья стекловаты. Серое заросшее лицо одеревенело, глаза закатились.

Но он жив. В ладони у него зажата большая ракушка, с крепкий мужской кулак. Виктор приставил ее к уху, и ему кажется, что со всех сторон его окружает соленая морская вода, что он отчаянно плывет, не видя берега, выбивается из сил, а мощные волны ревут, надвигаются, заносят его с головой.

Андрей БЕЛОЗЁРОВ

ЛЮДИ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Повесть

1. Чужой дом

Была ночь и очередной приступ судомрачия. Что такое судомрачие? Просто слово, появившееся само собой, и звучанием своим как нельзя лучше передающее мое нынешнее состояние. Мое чувство вины и неподдельного страха, словно ты изо всех сил жмешься к стене, а за ней заочный кто-то, кого ты не чувствуешь и не слышишь, а только знаешь о своей перед ним вине и боишься, боишься, что он уйдет и будет уже неизменно пусто, а ты и не поймешь, не услышишь, а только будешь все также жаться к стене.

Они, мои приступы, сродни белой горячке, и наваливаются на отравленный организм после изнуряющих запоев. Так было и в этот раз. Я пил неделю, но не слишком много, чтобы судомрачие заявилось ко мне. А потом из деревни с каникул вернулся Виталик, и мы отметили его приезд. В первый день мы испили прорву водки. Второй день мы до обеда стойко держались, и он веселил меня песнями, сочиненными по ходу, под монотонный гитарный мотивчик.

> Я работаю на фабрике по производству использованных презервативов, о-о-го-го.
> Да! Мы производим использованные презервативы-ы.
> А еще съеденные булочки и рваные носки, у-у-угу.
> А вчера нам выдали зарплату за полгода
> Продукцией нашей фабрики, о-ы-ы-ххы!

Мы смеялись и смехом спасались от похмелья, однако после обеда решили, что нужно продолжать пить.

И был день третий, и Виталик сказал, что больше не может, что лекции у него и надобно отойти. Сказавши, засобирался в свою общагу. У меня же лекций не предполагалось, поэтому, проводив его до ближайшего перекрестка, я свернул в магазинчик с ничего хорошего не предвещающим названием «Аннушка», где и приобрел литровый тетрапак «Анапы» и 0,5 тридцать третьего.

Ночь была бесконечна. Голова хотела лопнуть, а сердце, напротив, сжало, что и не вдохнуть. Я лежал колодой, только моргал, наблюдая, как ухмыляющиеся свиные и говяжьи головы крутят вокруг меня хоровод. Вместо лампочки с потолка висла петля, а на тополе за окном белели гирлянды лошадиных черепов, помнится, они еще слегка бряцали.

Утром же, после череды болезненного бреда, после того, как судомрачие отступило, грань, на которой стоял, кажется нереальной, и рука моя левая снова движется; и тогда я смотрю на эти чужие стены в обоях с розовым узором, выцветшим местами до бледно-желтого, на вышарканные жирные овалы над кроватью, оставленные спинами и головами многих квартировавшихся до меня, на потолок с лампочкой на длинном шнуре и назойливым крюком для люстры, словно кто палец протянул через все потолки и подманивает, показывает верный путь; смотрю, и странно

Андрей Белозёров родился в г. Абакане (Республика Хакасия). Публиковался в журналах «Абакан литературный», «Тверской Бульвар, 25», «День и Ночь», «Урал», «Бельские просторы», «Флорида» (Майями); в сборниках «Новые писатели» (фонд СЭИП, Москва), «Первовестник» (фонд Астафьева, Красноярск). Вошел в шорт-лист премии В. Астафьева (2008), лонг-лист премии Казакова (2009).

мне: отчего это такое хрупкое все – и не рухнет, ведь непонятно чем держится, отчего потолок на меня не падает, суставы мои не рассыпаются, отчего земле бы на солнце не упасть, отчего жизнь сидит внутри, как паразит, и длится, и теплится, и держит кладку, сочленения связывает.

И я, конечно же, встаю с кровати и не осыпаюсь, прохожу на кухню, где на столе, на изрезанной, с плавлеными кругами от горячих кастрюль клеенке обычно томятся накрытые железными кружками два-три таракана, сажусь за этот стол, стираю рукой жир и крошки на небольшом пятачке, чтоб не зажирнить тетрадь, и, конечно же, пишу.

Пишу в чужой тетрадке с Бритни Спирс на обложке – у Бритни плотоядно обведены губы и глаза, прежней, видимо, хозяйкой тетради. Рядом древний кассетник, я включаю его, он безобразно тянет – женский вокал превращается в мужской, мужской в дьявольский, но в чужом доме выбирать не приходится. И моя похмельная муза расправляет здесь крылья.

2. Счастливое место

Митек – производная от ее фамилии. Она приходила, когда кончались бабки, а желание выпить не кончалось. Это посредством Митька и портвейна попал я в замечательное место, похожее на рай...

Приняв портвейна, Митек плакалась на судьбу, на сволочей-любовников, которые кидали и обкрадывали ее, страдала по последнему – татуировщику, похожему на Горшка из «Короля и Шута».

Приняв еще, хвасталась хмельными подвигами, совершенными на сессии в Новосибе: тут и ночные лазанья по простыням с четвертого этажа общаги – в поисках спирта, тут и панки, которые заедают водку тараканом, и лесбийские танцы на пьяных столах баров.

Приняв по максимуму, она просто утыкалась в налитый портвейн и грузилась, или же иногда смачно сплюнув туда, в стакан, демонстративно выпивала.

Вот она, Митек, Митечек, с милой мордашкой сердечком и скромной, а на самом деле наглющей, улыбочкой. И улыбочки ее, думаю, ломом не перешибешь, она с этой улыбочкой, как у напаскудившего школьника, думаю, и через труп мой перешагнула б.

И вот пришла Митек, а у меня еще оставалось малость от получки, и мы двинули отовариваться. Пока я покупал «Анапу» для себя и Митькин традиционный «Кавказ», она стащила пару бананов с прилавка и затырила под полы своей в красную клетку рубахи. Потом мы еще искали плавленый сырок, потому что она канючила, что всегда закусывает «Кавказ» сырком, что в Новосибе единственно так она и делала, что это едва ль не священнодейство.

Потом было хорошо. В парке отдыха мы забрели на заброшенную дискотечную площадку, огороженную двухметровым забором из рабицы, отчего площадка больше походила на вольер для скота. Чудесно запущенная, поросшая бурьяном и тополями, которые взломали асфальт. Одно кривейшее дерево стволом вросло в рабицу – будучи молодым побегом, оно сунуло верхушку в ячейку сетки и росло так, и утолщалось, и врастало плотью в железную проволоку. Красота запустения ублажала мой глаз.

Мы ели бананы, ломали сырок «Орбита», по очереди грызли неподатливый уголок тетрапака, пока таки не отгрызли, закатывали друг другу репейник в волосы. И солнышко в тот день вовсе не надоедало, не тыкало в меня лучами, наоборот – грело по-доброму. Разомлевшая Митек стала напевать подражательным образом: «Мы все уйдем из зоопарка». Это забавляло меня, вдвойне забавляло, потому что наша танцплощадка напоминала вольер.

Я быстро пьянел, сердце, неумолимый насос, перерабатывало портвейн в блаженство, в возвышенность чувств – я любил Митька, репейник, птичку. Сырок наполнялся особым вкусом, его суховатые, кислые крошки молодили мне душу – ведь он был родом из моего детства.

«Мы все уйдем из зоопарка-а...» И я даже верил – уйдем.

– Самое время покурить, – сказал я, жмурясь на солнышко.

И полез в карман. Ветерок хоть и легкий, но задул три спички в моих руках, как я от него не

уворачивался. Тогда Митек научила меня прикуривать «по-морскому» – раскрыла коробок до половины, быстро подожгла спичку и сунула в образовавшуюся в коробке нишу – а там огоньку никакой ветер не страшен.

Сделав пару жадных затяжек, я сказал:

– Слушай, Митек, выходи за меня замуж, что ли...

И тут же:

– Стой, не отвечай прямо сейчас. Вот приедешь с сессии... Тогда... Но не забудь. Приедешь и сразу дашь ответ. Идет?

Она пожала плечами и сказала: «Ладно». И, естественно, с неперешибаемой улыбкой.

Мой чудный сырок с округлыми углами, каемочкой, с клочком серебристой фольги прилипшей... Я отламываю белый мягкий уголок, и пока я это делаю – я живу. Сейчас бы я сказал, что никогда не связался бы брачными узами с бесхозяйственной пьяницей Митьком, совсем не похожей на мой мещанский идеал, что я сделал это предложение, потому что никто этого не делал до меня, и таким образом хотел расположить ее к себе, и если бы я не был уверен, что впоследствии она скажет «нет», я бы не бросал слов на этот задувший три спички ветер. Но там, на танцплощадке, я хоть чуточку, но жил, а это редкость ведь, и отдавался игре в любовь, и искренне верил в сказанное.

Вечерело. В том же магазине мы взяли еще «Кавказа», и пока я неумело строил продавщице свои пьяные глазки, Митек стырила очередную пару бананов.

А по выходу случилось преображение. Сказка опустилась на город. Мы шли по улицам, и нигде не было видно людей. Мы гуляли, утопали в молчании на закрытом еще в 70-х городском кладбище, любуясь на светлые, черно-белые лики в овальных рамках. Мы взгромоздились по лесам на колокольню строящейся церкви. Сидели на залитой теплым мягким гудроном крыше школы. И пили, пили. А людей все не было. За ними исчезло солнце, и в темноте мягко остановилось время.

И мы шли в темноте, холодало, и мы открыли первую дверь на пути. Это была то ли контора, то ли общежитие, за стойкой стоял стол вахтера. Мы сидели в его кресле, Митек звонила по черному дисковому телефону с отколотым углом внизу, звонила наугад – и везде только длинные гудки. Мы достали «журнал приема-сдачи дежурства», расписались в нем. Митькины глаза радостно светились, мои, наверное, тоже – ведь я дышал, так свободно дышал.

Потом – лицом к лицу.

– Ах, Борисыч, – с улыбкой вздохнула Митек – даже улыбка выглядела иначе.

И, конечно же, поцелуй.

И я осознал вдруг, каково оно, счастливое место. Моя утопия. Ведь все зло мира от излишка людей. Чтобы этот рай появился, нужно просто одномоментно убрать отсюда всех людей и оставить только меня с Митьком.

И все сразу станет на свои места. Не будет никого, кому бы я позавидовал или пососрадал, пососострадал, не останется повода для кривых ухмылок, ни одной твари – возлюбленной, ненавистной; и не отразится более рядом со мной в витрине ни одного соперника по сосуществованию, сососуществованию, ни одной мрази с квадратной мордой, жаждущей размножаться, строить, ширить среду обитания. Только я и Митек. И не скажет она впоследствии «не-а, Борисыч, все-таки я не буду с тобой спать». Ведь больше не будет королей с шутами и ни одной теплой койки, впрочем, как и у меня. Будет лишь одно – погружение в счастливую обреченность. Митек обреченно станет моим идеалом.

И значит, идеалы отпадут, как дохлые кровососы, а с ними – сублимации, амбиции, дурные тексты. Во мне счастливо упокоятся недоношенные мессия и пророк, Казанова и принц Уэльский. Со временем, конечно, умрем и мы с Митьком, мы же паразиты, неспособные добыть из матушки-земли кусок хлеба, и это, конечно, минус, но ведь, с другой стороны, не придется, не придется же мне слушать очередного отказа и униженному, жалкому, отодвигать полоску ее стрингов и тайно ебать ее, спящую на моей кровати, вусмерть пьяную, и маяться гадко, никчемно, в злости, вине, и прочем, бестолковом...

А вообще-то, на первое время, портвейна и сырков в вымерших магазинах нам хватит, а там, глядишь, и Бог манны отсыплет – мы же почти Адам и Ева. Только плодиться нам ни к чему...

Этот рай так захватил меня, что я взял Митька на руки, посадил на стол, прямо на «журнал приема-сдачи» и долго, нескончаемо долго целовал ее в губы, длил зыбкий рай.

3. Поэзия жизни

Наш аэропорт – замечательное маленькое государство: свои придворные и холопы, свои слесари, дворники, электрики, бензоколонка, автопарк, два буфета, собственная больница и ментовка, наши гэсээмщики – уникальные спецы по зачистке емкостей и колымят по всей области, наш аргонщик варит алюминиевые сплавы, к нему стекаются со всего города, потому что треснувшие движки и радиаторы варятся только здесь, есть отменный стоматолог, и повара искусны в выделке беляшей, а борт питания – неистощимый клондайк минералки, разных шоколадок и леденцов от тошноты.

У нас случается много интересного: кортежи вождей и звезд, аварийные посадки, трупы экипажей, разбитый вертолет Лебедя, обезумевшие родственники, встречающие известный груз из Чечни.

А мое место – вахта административного здания, эдакий аквариум и вертушка со стопором.

Восемь часов утра, ты говоришь «можно ваш пропуск», «пропуск есть», раз 50 говоришь «здрасьте», 50 – «доброе утро» и 50 – «привет». Все сопровождается кивком, когда под нос тебе суют пропуск. У нас в конторе куча смазливых девок, я пялюсь на них пятнистым окунем из своего аквариума, когда они проходят мимо, а они, перехвативши взгляд, суют мне сраный пропуск под нос, думают, что мне нужен пропуск, будто меня и заинтересовать больше нечем. Я ничто здесь, сигнализация, детектор пропусков, стопоритель вертушки, нажиматель ментовской кнопки под столом, если внутрь рвется неидентифицированный объект. Стоит ли говорить, как я ненавижу свою работу, как налит усталостью, безразличием через пять минут после заступления на смену.

Но все это лучше во сто крат монотонного физического труда и колеса восьмичасового рабочего дня, перемалывающего всякие зачатки сознания, поэтому я смиренно сижу в аквариуме и киваю болванчиком.

Живут только глаза. Бухгалтерия, кадры, юристы, отделы доходов и договоров – царский двор, на который я хлопаю глазами. Они сидят здесь династиями и скрещиваются исключительно между собой, заботясь, видимо, о породе. Вот холеная девица из доходов с росписью под гжелку на ногтищах и вечным пасьянсом на мониторе, дочь главбухши и жена юриста, сына заместителя генерального по производству. Недавно они играли свадьбу в нашем буфете. Теперь они работают через коридор и, возможно, на обеде они запрутся, и он сделает с этой красоткой то, чего я никогда не смогу с ней сделать, а вечером сядут в дареную на свадьбу десятку и поедут в свое счастливое будущее, чтобы там размножаться и посадить однажды своих породистых, холеных детей сюда же.

Как же трудно вариться в этих сливках, пожирать их глазами, быть недоразумением в камуфляжных пятнах униформы на пути их туфель на шпильках.

В пять пластинка крутится в обратную сторону, вертушка, вытертая до блеска человечиной, – тоже. Пара сотен «досвиданий», «счастливых путей», «всего доброго».

Поздним вечером по обыкновению начинаются полеты и крысиная возня экипажей: внутрь тащат баулы с картошкой на Норильск, а с Москвы наружу – телевизоры. Аэропорт – здоровенная мясорубка по переработке картошки в телевизоры.

И... тошно мне в вашей мясорубке... никаким взлетно-посадочным леденцом не заешь. А еще, еще отдельные элементы здесь, средь вас, стали звать меня писааателем. Просто однажды дернул меня нечистый поклянчить денег на книжку у генерального. Денег не дали, но отдельные элементы, бывшие тому свидетелями, начали посматривать на меня, как на поющего крокодила, что ли, или юродивого, – с нежностью, заботой посматривать. Женщины из царского двора, с печатью

благородного воспитания на лицах. Они стали со мной сюсюкаться, всячески помогать, то билеты бесплатные оформить, то отпуск сессионный, мол, что с него, с литератора возьмешь, у него повесть в мозгах, он весь в эмпиреях витает-с, а тут суровая документация, заявления, справки, трудовое законодательство. И вели по кабинетам за ручку. И интересовались после – «как вдохновение», а у меня ж сдохновение одно...

Расплачивался я за неоценимую поддержку этих, в общем-то, добрых, замечательных дам выслушиванием разных историй.

Например. Он! И Она! Еще учились в параллельных классах. Жизнь развела. Разлука, нечаянная Встреча, мимолетный взгляд. Еще десять лет Разлуки. И вот, и вот... Опять нечаянная встреча, подстроенная Судьбой! А завтра у нас венчание! Чем не тема для нового произведения? Дарю. Спасибо. И глазки светятся счастьем. Мне остается только поздравить и преподнести конфет.

А начальник мой, который гнобил меня и выживал за распиздяйство, переменился с той поры – хлопает отечески: о чем задумался, потерянное поколение, сюжет нетленный вынашиваешь? Или идет мимо моего аквариума с кем-нибудь и тычет в меня: «Видал? Наш писатель, будущий, так сказать, Достоевский, в Москве аж учится, у кого еще такие кадры на службе, а? вот он сидит, улыбается, а сам пишет про тебя». И начальник громогласно хохочет.

Наконец, заполночь, поимев все вышеозначенное, традиционное, я расположился спать в своем протертом до фанерного дна сонмами долготерпных седалищ кресле, покряхтел, похрустел костями, сдвинул кобуру ближе к пряжке ремня, чтобы не давила на бедро, и закрыл глаза, намозоленные человечьим движением.

Но пришел начкар, оказалось, что прилетел московский и привез «фабрику звезд», и они должны выезжать, как большие шишки, через международный сектор, а там на заборах висят наши провинциальные фанатки, жаждущие снимков на фоне звезд. Согнали всю аэропортовскую милицию. Начкар послал меня в поддержку.

Плелся я к межсектору, как на пытку – не радовала меня мысль, за сутки и так перекормленного людскими лицами, оказаться в клокочущей восторженной куче. Моя надежда, что пока я дотащусь, все само собой рассосется, не оправдалась. Гомонили телки, покачивались их пьяные ухари, покуривали и крутили цифровые мыльницы на тесемках, менты хмуро и бессловесно теснили их от забора и ворот.

Словно из черной норы, вынырнул фээсбэшник. А эти создания адовы весьма странны – они верят в нужность свою и своего дела всемерно. Они среднего роста, один к одному, как клоны, худощавы, с залысинами и интеллигентно-писклявыми голосами. Все до смешного в черном – агенты матрицы. Настороженные, как сурки, пугливые, постоянно вертят мордочками.

– Не позволяйте им фотографировать стратегический объект! Вот здесь, надо еще человека, когда будем открывать ворота! – попискивает фээсбэшник, а сам держит руку между пуговиц черного пиджака – у него там кобура. Скучно фээсбэшнику в аэропорту, работы, видать, мало, а тут такое шоу, он цветет, он, наверное, даже счастлив.

«Еще человеком» стал я. Было стремно участвовать в клоунаде. Я встал у ворот, в указанное место, втянул голову, опустил взор, чтобы часом никто из толпы меня не узнал или по телевизору не засветиться во всем позоре, ибо там и телевизионщики были. Сунул руки в карманы. Зябко.

В толпе пошло шевеление, визги, взмахи конечностями – к самолету дали трап, к заветному отверстию бизнес-класса в носовой части. Две черные машины на поле послушно рванули к самолету, как собаки, завидевшие хозяина.

Я смотрел исподлобья в бледные акварельные пятна девчоночьих лиц с глазами, блестящими от света прожекторов на мачтах, лиц, над которыми Бог словно и не старался, а катанул малярным валиком туда-сюда – вот тебе и пять дюжин, и ненавидел себя и начкара, ненавидел это бабьё за то, что я просто недоразумение, из-за которого они не могут повиснуть на заборе, препятствие, темное пятно на пути их зрения.

Где-то в стиснутых зубах у меня хрустнула пломба. Я вжался в чугунные прутья, прибитый светлыми пятнами возбужденных лиц, став тенью у ног спустившейся по трапу «фабрики».

4. Полые люди

Я истекал словесами. Брюзжал. Почему? Наверное, я, невостребованный писака, и сам бы хотел сходить по тому трапу. Я, взмокший от своей неизвестности, считал себя и более достойным внимания, чем эти, соевоголосые. Я взращивал искусство трудоемко, медленно, а они топтали его и не замечали даже. Я был Сальери, а они – какие-то абсурдные Моцарты. И от абсурдности я брюзжал.

– Это оскорбительно, вдвойне оскорбительно, чем просто шоу-бизнес, – выговариваю Анне на следующий день, – эти какашки заворачивали в фантики беззастенчиво на глазах у всего народа. Вот, мол, мы из чего угодно сделаем, мы, профессионалы, а вы ссаться будете, и теперь, мол, ешьте, хавайте. Оскорбительны эти ядреные телки, мальчики с тщедушным пидорским подвыванием, глагольная рифма, три ноты, размазанные на четыре четверти. Им самим-то не стремно звать себя полуфабрикатами, а? слушать подобострастно этих... поучения таких же уродов, только старых, заматеревших в своем уродстве.

– Напиши про это.

– Да что писать! Мастурбировать, блядь. Другие понаписали, без меня. Или про желчь свою? Как я регулярно смотрю по телевизору «фабрику» и плююсь в их елейные рожи. И испытываю глубочайшее удовлетворение. Нехер тут писать, комплексы свои тиражировать. Плакаты надо писать. И к стадиону до начала концерта. Долой, блядь! Верните человеку чувство брезгливости. Чутье на пошлость.

– А давай плакаты. Нарисуешь?

– Ага... Кто пойдет? Кто у нас остался? Кому это нужно. Мы вдвоем? Смешно это, и стыдно... с плакатами.

– Эх, смешно... А знаешь, единственное, что мы можем противопоставить? Напиши слова к песне, такие, чтобы те же, кто сейчас на стадионе будут, потом эту песню твою в парке под гитару... И слушали, проникались...

– Смешно это.

– Или подпевали... Простую, но не пошлую... Нет?

– Ты поэт у нас, тебе и карты. Пиши. Кто только петь будет. Вон барды сидят кружком и бренчат друг другу. А в парке чего-то не слышно их, там от «сектора газа» и «красной плесени» скупая юношеская слеза льется, а не от глубин твоих душевных.

Аня кротко улыбается, опустив бледно-серые глаза, цвет из которых словно вымыла река долгой жизни. В ее 20 противоестественно старушечьи черты проступают на лице. Если ее длинные растрепанные волосы станут вдруг седыми, получится безумная старуха из какого-нибудь черно-белого фильма.

Мы с Аней – две дряблые души, два полых человека без ядра и набитые сеном из трав, некогда горьких, пьянящих. Но кровь этих трав вышла из нас сквозь раны на сердце. Мы только ходим, смотрим, как все разлагается, рассыпается, и повторяем: как было хорошо. Два привидения, кормящиеся обрывками собственных строчек, когда-то написанных, и несобственных, которые когда-то трогали душу; лоскутками воспоминаний: былой бережок, где так звонко пелось, былые качели, на которых мы, казалось, мир раскачали под собой, былая злость, былая радость...

Ненавижу – так. Ненавижу перестановки слагаемых, потому что не «все одно», потому что – меняется. Ненавижу – «и это пройдет», занявшее все полости в душе моей, оно гравируется теперь не на кольцах, а на лице всякой вещи и человека. Не должно проходить! Не «одно к одному», не «все кошки серы», жизнь не театр вам. Ненавижу философского отстранения, груды модных пособий о том, как прошмыгнуть по жизни и не замарать калош. Хочу марать и ненавижу актерство.

Впрочем, ненависть моя слабосильна и скоротечна – уже прошло. Не проходит лишь то, что все проходит.

Мы сидим с Аней, понимающе улыбаемся и курим одну за другой, чтобы как-то убить и растянуть одновременно выпавшее нам на долюшку время.

5. Прогулка

Утро, говорят, вечера мудренее. Утром надо с новой силой вставать, солнышко встречать. А тут поясница ноет, гравитация к полу гнет, выставляешь ей, словно волнорез навстречу волнам, позвонок у основания шеи, а она льется сверху на нас, людей, превращая со временем в оплывшие комки – провисают щеки и подбородки, опускаются плечи, груди у женщин текут вниз двумя каплями по огарку свечи. А в желудке все узлом, во рту погань. От стакана чая, равно как и от сигареты, – блевать хочется. Глазу положить не на что – от всего омерзение, и от нас, людей, в особенности. А людей нужно любить.

И значит, я снисхожу по подъездной лестнице во внешний мир. Хотя это просто прогулка до магазина, что в ней – пересек улицу и протопал пару кварталов, но, как и любая другая прогулка, она сопряжена с разнообразными душевными ранениями, томлениями и переживаниями, стерегущими за каждым углом.

Сейчас еще зима, сейчас не так сложно. Но вот придет весна. Покровы, срамные места прикрывавшие, будут таять, язвы прогалин изуродуют белое, и оно уйдет, обнаружив под собой собачьи какашки и разных мертвяков. Мертвяки разморозятся, отмякнут, разомнут суставы и начнут снимать с себя одежды, смердеть похотью.

Где тут справедливость – лето находит в зиме столь благородную смерть, как царевна в хрустальном гробу, а зима дохнет непристойно, в судорогах, отошедших водах и грязи...

Я тоже буду вариться в самом котле весны – таять, вонять, болезненней спотыкаться о каждое лицо. Так малопривлекательная девица, попадаясь на пути, радует глаз, поднимает настроение, а если подобная особа еще и под руку с парнем – я в цвету, ведь не я там с ней. Но шагов двадцать вперед: и настроению суждено поменять вектор – навстречу вихляет восхитительная телка, мечта поэта, только мимо поэта, а следом – еще лучше, да с каким-то совсем уж задрипанным ублюдком. Такой раны мне не снести – я в глубоком унынии.

Зимой легче, зима – это отсрочка, которую я сам себе даю, отпуск, на время которого я могу возвышаться над миром, говорить, вот ты, мир, у ног моих, а я зна-а-аю суть твоих механизмов. А потом, бух – и ты в котле, со своей похотью, комплексами, желанием самоутвердиться, как у всякого о двух ногах и со всем, что между.

А для честолюбия нет ничего сквернее плохо одетой дурнушки, взявшей вас под руку, увы, это механизм...

Еще странно, очень странно украдкой наблюдать свою прогулку в витринах магазинов. И витрины доказывают тебе, что ты есть, что ты занимаешь определенное место в мире вещей, и, следуя закону Архимеда, хоть малость, но выдавливаешь мировой воды, и так же невозмутимо витрины отражают твоих соперников по бытию, которые тоже выдавливают... И там, в витринах, идет настоящая война, все друг друга выдавливают, а отвернешься – и снова ты иллюзорный объектив, плывущий над утоптанным снегом на тротуаре.

Так я вплываю в магазин, беру «Кавказа» и пачку сигарет. Плыву обратно.

Все это столь прискорбно – сосуществовать, превращать прогулку в войну, а затем, выпив, мечтать о золотом веке и родстве душевном.

Вот Горька, он мог взять меня за руки, под руку, и не боялся, что сзади кто-нибудь начнет хихикать, решив, что мы пидоры. И решали, а я вырывался и говорил: «ну что ты, социум ведь», и тоже хихикал, по-пидорски гаденько – кривлялся, топтал родство...

Отравленный век... Где ты, Горька, сейчас бы мне твоих рук...

6. Кора и Горька

Всем хочется востребования. Все ищут круга по интересам. Но пока не попадешь туда – не поймешь, что и этот круг замкнут.

Так четыре года назад я оказался на собрании молодежного литобъединения. Я тогда еще

одолеваем был романтической идеей фикс – влюбиться в красивую такую, стройную, ясноглазую поэтессу, которая своими большими ясными глазами читала б мою душу, и мы бы понимали друг друга с полувзгляда. И я бежал бы с ней, бежал рука об руку по ночным крышам города, телеграфным проводам, лунным дорожкам и прочей чепухе подальше от ухмылки действительности.

Оказавшись на месте, а дело было в выставочном зале, я понял, что красивые и стройные сидят не здесь, в душном помещении, насильственно окультуренном при помощи поделок, картинок, благообразной старушки и расстроенного пианино с западающими клавишами. Лживые степи, розы и рожи в рамах прикрывали черные дыры, этот закуток культуры был неказист, комичен и выпадал из жизни, городился от нее стеллажами с глиняными безделушками, был цветастой латкой на дыре, которая находилась на месте искусства. А вокруг осадным кольцом стояли гриль-, диско-, пивбары, и стройные-красивые сидели именно там, и не было там лживости, они честно наливались пивом, маслились жирной курятиной, им не нужно было страдать и писать стихов о любви – их любили вполне.

И думая о тех, что вне, я сидел на полированной скамеечке и слушал о том, как дышится любовью, от которой до ненависти шаг.

Но время от времени приходили двое – оба в очках – один с анархистской небритостью, другая с рассеянным щенячьим взглядом. Впервые увидев их, я решил, что это сектанты, потому что словно два столпа света над ними стояло, и мирская грязь к ним не липла. И когда было уже невмочь, они подарили мне очередной круг, весьма спасительный на тот момент.

Я набился к ним на чай – странное дело, чай тогда был в ходу чаще водки – и стал ходить к ним регулярно, не мыслил без них дальнейшей жизни.

Оказывается они – двое – посещали литобъединение в поисках своего человека. Находок было – я да Лелька, с которой они столкнулись у себя на филфаке, да Тать – девушка по имени Таня с того же филфака.

Началось строительство мифа. Позднее, конечно, будут и другие, допущенные до строительства – так появится Аня, которую я приведу из того же литобъединения, – к прочему было много прихожан текучих, глазеющих на Кору и Горьку – идеальную пару, на миф, который пленял ностальгирующих по чистоте отношений – прозаика и поэта, вдохновителя и его ближайшего сотрудника.

И у меня был допуск номер один в этот мавзолей, тайную ложу. Не по себе мне было вначале, казалось, что человек-то я не тот совершенно, так – закосил удачно, что вот-вот раскусят и тогда – изгнание неизбежно. Изгнание с клеймом убежденного жителя, посредственного обывателя, очередного использованного жизнематериала. И имени у меня подобающе тайного не было – Абэ да Абэ – инициалы одни, не Тать, не Горька.

Впрочем, шло время, беседы на сонных кухнях, чай, кофе, сигареты, разговоры о «метасибирской культуре». Они и сами верили в свою богом друг другу назначенность, в брак, свершенный на небесах. Горька точно верил, хотя тут, думаю, и не без личной выгоды вера – так: человек да человек, а вместе – богоизбранная пара, а это уже хоть и одна вторая, но твоей персональной богоизбранности. Да и Кора купалась в том мифе, снисходила даже до слушанья Земфиры, ведь там: «ты – белый и светлый, я, я темная, теплая...», и: «я множу окурки, ты пишешь повесть...». И множили, писали, верили, что соберут вокруг подвижников этой культуры, и все мы дружно возьмемся и положим ее фундамент. Уверовали и подвижники.

Помнится, Кора и Горька даже умели быть счастливыми, для этого им требовалось убежать ночью в лес. Тащили за собой и меня – счастливить. Лелька сама бежала – впереди всех. Ночь, холод, дождь, окушка моя, тогда была еще у меня машина, окушка брошена где-то в темноте на расквасившейся проселочной дороге – до счастия ли мне... Возможно, будь машина не моя, тогда был бы я счастлив? О ней, родимой, я думал, карабкаясь по мокрым склонам, обмакиваясь телом в черные речные воды, рябящие от вод небесных. А рядом бесновалась меж двух вод черногривая Лелька.

А было еще и так. Солнце палит, асфальт калится, и даже неприхотливые ильмы повесили

уши – свои вялые листочки. И ливень вдруг – аж дух перехватило. Они, двое, – носки долой, тащат и с меня, толкают во двор. Опять хотят осчастливить. «Нет, – кричу я, – стыдно, там социум». За полминуты лывы по всему двору. Они в них – прыгать, веселиться. Социум из-под карнизов пялится. Водосточные трубы от струй гудят. И я в той луже, мокро так, жалко улыбаюсь на Кору с Горькой, как мокрая курица на взмывших в небо стрижей. Только капли бегут, нос щекочут.

Никогда я не умел быть счастливым, а все те редкие моменты ущербных моих околосчастий обычно были связаны с женщинами моими, а такие счастия и в расчет брать неможно – уж больно известного они свойства.

Впрочем, по-прежнему шло время, и однажды я заметил, что они разучаются... Быть счастливыми. Горька все больше ворчал и ныл, мечтал о трубке и кресле-качалке, Кора фыркала, и никто не помышлял о лесе. Кроме Лельки, только та почти перестала появляться. Но я-то, признаться, тайное облегчение испытал, когда счастье, стеклом витрины отделявшее меня от Коры и Горьки, исчезло. Они стали мне только ближе, роднее.

А Горя чумной был, нельзя с ним близко... У меня ведь иммунитета к той болезни не было... Теперь я умею видеть, как неправильно живут люди. И болеть – болеть, видя, как живут люди, и на глазах гаснет их огонь, болеть от того банального несовершенства мира...

А в конце нас ждал распад, огонь гас и здесь, в таинстве таинств – очередной круг из спасительного превращался в удавку. Чай стал горьким, сигаретный дым на кухне – едким до слез. Наше общество тихо разваливалось, как гниющий труп.

Но развалилось оно несколько честней и неожиданней, резким ударом – эти двое расторгли свой небесный брак. Ударом в самое сердце подвижников – в чистоту, в миф. А следом было много дней молчания...

7. Распевочка

Бумага, моя бумага, чистенькая, миленькая, потому – сбор жизненного опыта – жопыта – дело крайней важности. Была у меня задумка – повесть о низших слоях общества, о неквалифицированно-трудящихся, о тех, что соль земли, родных сердцу, вот они, вижу: выступают из бездны и в бездну уходят, королевы бензоколонок, княжны круглосуточных магазинов, зубоскалит охранник, да просыпался медью алкаш в бесконечные, бездонные, вездесущие блюдечки для монет, старый сторож на стройке – он хранит свою злость, он знает цену победам, свежевыпивший дворник – он знает прикосновение чистоты!

А я плохо знал – отошел за пару лет, проведенных в мифе с Горькой и Корой. Требовался жопыт, а, может, просто требовалось заполнение пустоты душевной – потому что их более не было со мной...

Я вернулся к старым своим знакомцам, благополучно спился, подхватил триппер от одной несовершеннолетней, которую, как выяснилось позже, имел даже собственный отчим. Измызгался в той жиже, нахлебался всеми своими пустотами, и только бумага оставалась по-прежнему чистенькой, нетронутой – я самоотверженно добывал опыт, вполне им и удовлетворяясь.

А потом я понял, что лишние и вечно лишние люди химическим процессам не нужны, пьется вполне и одному, а эти душевные рожи – дополнительный финансовый отток из моих карманов. Я понял, что к душевности их, к нескончаемым страдальным рассказам о жизни, к самим всем, живым, написанным в текстах, после каждого вздоха, фразы, лица, можно подставлять строчку из поэта нашего, Виталика, посещавшего литобъединение. «Как всякое невечное говно». Рядом с которым строчка эта, впрочем, смотрелась не менее органично.

И я стал пить уединенно... «как всякое невечное говно». Похерил повесть. Бросил свою мисс правду жизни трипачную... «как всякое невечное говно», устав тянуть ее из бездны и видеть проступающую из души ее эту Вечную Женственность, вечнющую... «как всякое невечное говно».

И на сердце сразу предательски полегчало – ибо, как раны мирской не прикрыть своею, как не увидеть ничком неба Аустерлица – так бы и душа у раба Божьего Андрея не горела б, не тлела, не горела б, не тлела, не горела б, не тлела...

А вот этой осенью, довольно долго у раба Божьего не было бабы. И снова задумка. И тема неисчерпанная – люди, которые знакомятся по объявлениям.

Орды разобщенные виделись мне в том, они жаждали востребования, хотя бы как это доступно их пониманию. Шли из тьмы череды вдов и брошенок «бальзаковского возраста». Череды испуганных приближающейся старостью с неподаным стаканом воды рохлей и некогда убежденных отшельников. И помладше шли – детство, юность, отрочество, устала от одиночества, аденомы и мамы... А с ними ленивый или закомплексованный молодняк не менее уставший, которому подайте здесь и сейчас, который иногда в идеализме своем слагал, типа: «О, принцесса моих грез, приди в мой душный мир и осве(я)ти его своим небесно-голубым взором» – но это самый умный из молодняка слагал... Даже страдающие от непонимания гомики, искавшие свою вторую половинку жопы, шли чередою вслед и виделись...

Были средь объявлений, конечно, и простодушные предложения потрахаться уверенным в себе, состоятельным и не жадным, но я не брал их в расчет, хотя бы потому, что не подхожу по заявленным параметрам.

Также не брались в расчет и не виделись чередами: развратники, решившие по-легкому обновить гардероб любовниц, охочие до оргий пары и прочая извратная мразь...

И опять требовался жопыт. А может, просто хотелось востребования, хотя бы так – простота человечья всегда пытается скрыть наготу.

Для начала я выбрал лаконичное, без выкрутасов: «Привлекательная блондинка, 23 года, познакомится с молодым человеком до 30 лет. Ценю в людях порядочность и надежность. Ирина. До востр. Главпочтамт.№/п ******». Самое среднестатистическое объявление.

Сел за ответ. Написал, что все у меня среднее – и ум, и рост, и вес. Немного подумал и написал, что «есть увлечения», «есть относительное чувство юмора», «вредные привычки в разумных пределах». Про то, что работаю охранником, писать не стал – тривиально как-то, написал – «свободный художник» и для пущего очарования мельком упомянул, что «учусь заочно в некоем московском гуманитарном заведении».

Вскоре встретились. Нет, конечно, не красавица, но я и не ждал. Полновата в талии и бедрах, что не вяжется с тонкими голенями и худощавым лицом. И не блондинка уже, а совсем и брюнетка. Она сказала: «Красить волосы это мое хобби». Я подумал: «Какая же серая у тебя, наверно, жизнь».

Ириша – так она подписывала свои письма – приехала из деревни и училась на преподавателя музыки. Жила в общаге, в безумно, до слез обиды, тесной комнатушке, куда с трудом втискивались две койки, и, чтобы в них попасть, приходилось карабкаться через козырьки.

Я ходил с ней в какое-то училище и слушал, как она разучивает на «фано» двадцатую сонату Бетховена. Фано было заезжено неимоверно, самые ходовые клавиши затерты и скрипучи, крякали скрипуче и педали, которые, как я понял из Иришкиных комментариев, действовали по принципу газ-тормоз: одна длила звук, другая приглушала.

Первая часть сонаты – аллегро. Вторая – менуэт. Поэтому ее розовые нежные пальчики вовсе не выдающейся длины витали над клавиатурой плавно, неторопливо. Но постоянно, уже когда душа летела вслед за ними, пальчики эти, окаянные, нажав не туда, замирали, как паук в угрожающей стойке – текучесть музыки обрывалась, и начинался подбор верной ноты. И это как если хочешь вдохнуть полной грудью и не можешь. Закончив очередной отрывок, Иришка интересовалась заботливо – не устал ли я, потому что подобные учебные музицирования плохо действуют на психику. И она была совершенно права.

Но когда Иришка сыграла «Две багатели», уже раннее разученные, легче не стало, потому что хотя она теперь и не спотыкалась, все было ладно и хорошо, да только выглядело как понурая обязанность учителя музыки, пальцы ее не способны были выбить огня, и грань этим прыжкам ни разу не удалось преодолеть.

Огорченный недовоплощенной музыкой, я ее уже не слышал. Я слышал скрип изношенных

клавиш – Бетховен и Лядов, повесив головы, удалялись, а скрип рос и рос, лениво били молоточки, крякали газ и тормоз, все похрустывало, покряхтывало на разные лады неистребимыми механизмами. Я, забыв обо всем, падал в эту безжалостную симфонию, подгоняемый зубчатыми колесами и шкрябаясь о частокол рычажков. А на дне, в ореоле вращающихся шестеренок, шуршащих от соприкосновения друг с другом, сидел поэт Виталик и криво лыбился...

Еще у Иришки было верхнее сопрано. И однажды, когда матери не было дома, я уговорил ее петь для меня. С трудом – очень она стеснялась.

И опять я не совершил того желанного вдоха – я хотел лететь, а Иришка пела себе ровнехонько. Допела и с облегчением замолчала. И поинтересовалась, не устали ли у меня голосовые связки, потому что от посредственного пения у слушателя устают связки... Действительно, устали...

Да, и так повсюду, хоть пруд пруди – несовершенство и недовоплощенность. Душа моя ноет от хороших людей – был бы дурной человек, ну и выкинуть его из головы и жизни – не жаль, а разве выкинешь, вот, Иришку, за нее поешь, напрягаешь связки душевные, перепеваешь ее внутри себя со всей ее смурной тоскливой жизнью, приближая, насколько можешь, к той черте за которой начинается красота, страшная и прекрасная эта песнь. И сколько их, хороших-хороших людей, которым не хватает клочочка воздуха до вдоха полной грудью.

Во-о-от... А повесть ту я похерил, мой сбор опыта ограничился Иришкой, я просто спал с этим мягким податливым созданием...

8. Любовь и Смерть

Декабрь прошлого года. Примерно те числа, когда Митек должна вернуться с сессии и дать ответ на мое предложение, о котором, впрочем, оба мы благополучно позабыли.

Елки в моем доме нет и не будет. Мать воткнет пару пихтовых лап в вазу...

Кора любила ставить елку, опоясывала ее гирляндой, вешала игрушки, упиваясь предвкушением памятной из детства сказки. Собирала всех нас – тайное общество – под елкой, возле кучки больших и маленьких серебристых коробочек с подарками, а потом страдала от разочарования – сказки не было. И люди, сидевшие рядом, сказки подарить уже не могли. Они медленно рвали фольгу упаковок. Я отпускал глупые шутки и мечтал пойти к столу со жратвой и бухлом, Горя говорил, что презирает официальные праздники, что может устроить праздник в любой момент, что такой праздник будет более личным и счастливым... Однако ни разу такого праздника не устроил... Аня просто скромно улыбалась – она сэкономила на подарках, никому ничего не подарила и теперь страдала от чувства вины. А Лелька... той давно уж не было. И сказки все не было и не было, хвойный запах улетучивался, коричневели иголки и осыпались, раздражали, впиваясь в носки.

И вот – декабрь прошлого года. В гостях у меня Иришка. Она вполне мила. С подобными чистыми простыми лицами, на которых мирское не так явно оставляет росчерки раннего старения и страстей, с мягким взглядом, с горбинкой на носу – поют на клиросе.

Она обычным образом беззвучно бродит по квартире, сует нос в каждый закуток, как кошка, попавшая в незнакомую обстановку. Трогает покрытые пылью листочки старого лимонного деревца, ни разу не давшего плодов – листочки мятые, похожи на бумажные из венка. Ведет пальчиком по телевизору. Доходит очередь до серванта с книгами. Перебирает корешки «Анжелик» и «Консуэл», нахапанных мамой, когда еще не было бразильских сериалов и многотомных трудов Елены Рерих и Блаватской.

Я спешу оправдаться:

– Это все мать...

Но Иришке не нужны мои оправдания, она не видит ничего предосудительного в наличие подобной литературы.

Зато вижу я. И рисуюсь. Подхожу, беру Сартра, потом Камю, доставшихся мне по наследству от Горьки. Листаю перед ней: «Чума», «Посторонний».

– Вот что нужно читать.

Но Иришка не знает таких имен. Не может оценить мой интеллектуальный выбор, которым я хвастаюсь, я даже не смешон в ее глазах, как смешон в своих по прошествии времени.

Потом мы ужинаем. Днем у меня случилось празднество – дедов день рождения, и я решаю, что неплохо бы по этому случаю поправиться – благо, в холодильнике припасена бутылка. Иришка не пьет и не курит, я же сижу и демонстрирую все свои «вредные привычки в разумных пределах».

По большому счету молчим, иногда я изрекаю какой-нибудь гнусный тост за духовное единение или процветание сибирской культуры.

И трахаемся на диване. Диван видал виды – между его половинами большая щель, мое колено постоянно в нее погружается. Трахаемся молча, почти беззвучно, и по окончании я не знаю, было ей приятно или это очередная Иришкина жертва. Чувствую себя отвалившейся от ее тела черно-бурой пиявкой.

Она лежит навзничь, не шелохнется, глаза ее в темноте открыты, и вроде блестит слеза. Я нежно жму ее к себе и шепчу:

– О чем задумалась, а? О прежнем своем деревенском любовнике?

– Давно уже не думаю... Ты ведь стал моим лекарством от него...

Будет ей лекарство и от меня. Иришка будет все также грустна, перекрасит волосы и напишет: привлекательная, к примеру, шатенка, 24 года и т.д. Я думаю об этом и засыпаю. Иришка теплая, инертно нежная, я растворяюсь в ней.

Утром мы снова трахаемся. Она сверху. Раздается звонок. Через закрытую дверь в комнату доносится разговор.

– Ох, доченька, беда у нас, – голос моей бабки.

– Что такое, что случилось?

– Беда настоящая, с дедом-то.

– Серьезно так?

– Умер дед наш. Нету больше.

– Как. Ой-ой... – моя мать переходит на всхлипы.

Иришка перестает двигаться, насторожилась, но я по-прежнему в ней.

– Вчера, уже где-то в два ночи, стучат в дверь. Я пока доковыляла... Из милиции, говорят, откройте. А я говорю, не открою, я старая больная женщина, поздно уже. Он тогда спрашивает, а Виктор Григорьевич здесь живет? Да, здесь, а в чем дело? Его машина сбила, нужно в морг на опознание.

Материны всхлипы усиливаются.

– Я говорю, вы извините, у меня нога не ходит, а уже два ночи, приезжайте утром, я сыну позвоню, чтоб съездил. А сама думаю, кто его знает, что за милиция, глазка нет, корочки посмотреть, вдруг это тот шофер, деда сбивший. Откроешь ему, а он тебя тут же и пристукнет. Дед ведь с паспортом был, а там и адрес и все.

– Ну правильно, правильно,– швыркает носом мать.

Иришка прильнула ко мне, гладит по голове, но при этом я так глубоко, упершись в преддверие матки.

– Так может это и не он?

– Да он. Он. Сегодня утром милиция приезжала, паспорт отдали. Гена в морг ездил... Все. Нету больше деда...

Мать стучит в комнату, там у них за дверью уже горе, смерть, а у меня теплая, нежная Иришка, немного душный после ночи, нагретый воздух.

– Андрей, слышишь? Дед умер, вышел бы хоть.

Выходить не хочется, вот она – теплая, нежная, гладит, и никакой смерти здесь нет.

– Слышишь, бездушный ты что ли?

– Слышу... – и бормочу Иришке, – надо же. Вчера у него день рождения был... Родственники

пришли, подарки дарили на долгую память, долгих лет жизни, здоровья желали. Мы с ним литру за здоровье выпили... Котлеты жареные были.

Иришка гладит меня пуще прежнего, льнет плотнее, от чего бездвижное соединение наше становится все напряженней.

А когда за дверью расходятся, я начинаю движения и довожу прерванное до конца, а потом прячу лицо в ее волосах и спрашиваю: «Почему ты меня не остановила?» Она долго молчит, а потом: «Думала, что это тебя утешит».

Женская любовь... Нервно хихикнув, отворачиваюсь к стене и зажмуриваю глаза. И близятся во тьме шаги, и в дверь вскоре снова постучат.

9. Вина

На похороны понабилось в бабкину квартиру родни. Шинковались фрукты, парила куриным бульоном здоровая кастрюля, в раковине стоял перезвон тарелок и стопок. Коридор, как городской перекресток в час пик, кишел сталкивающимися телами – мужики то и дело курсировали в подъезд покурить, а женщины таскали посуду. Не занятые движением сидели полукругом в зале.

– Да-а, вот и нет нашего генерала... А ведь и не собирался туда.

– Пятьдесят лет за баранкой, от нее и смерть нашел, это надо ж...

– А водителя-то, водителя нашли? и что говорят?

Я обосновался на кухне, поуютнее как-то: пахнет разным съедобным и люди не вздыхают, а суетятся над закусью. Правда, мать с бабкой все время на меня натыкаются, а наткнувшись, говорят одну и ту же волшебную фразу: «Ну что ты как неродной сидишь, иди в зал. Иди, иди в зал, хоть посмотришь на всех».

Я оделся и вышел на улицу – курить. Серое пустое небо, впаянные в заиндевелую землю панельные пятиэтажки. Мороз градусов тридцать. Хиус жег лицо, гнал по асфальту волны снежной пыли. Я наблюдал, как неровно курится моя сигарета, как с одной стороны она выгорела на треть, а с другой – торчит лоскут пожелтевшей папиросной бумаги.

Из дверей подъезда появился Игорек – мой двоюродный брат. Высокий, КМС, четкий, выраженный подбородок – с таким подбородком отменным и дорога прямая в светлое будущее... У меня такого нету.

– Привет, Игорек.

– Привет, что один сидишь?

– Разве один? Ты вот вышел.

– Да папка позвонил, скоро гроб подвезут. А у тебя, как жизнь? Трудишься там же?

– Угу. А куда мне рваться...

– Что плотят?

– Четыре, – приврал, на самом деле три, а все равно не помогло, потому что лицо Игорька изменилось этак по-хозяйски. Мужики ведь и спрашивают друг у друга про зарплату, только чтобы лишний раз убедиться, кто тут вожак стаи, а кто чмо.

– Маловато, конечно... За дело браться не собираешься. Всю жизнь не просторожишь...

– Норма-ально, Игорек. Даже на водку с пивом хватает... Зачем мне лишние движения?

– Понятно, а на личном фронте как? Любимая есть?

Вот и второй ключевой вопрос.

– Да есть, кое-что.

– А что не женишься, Андрей?

– Не-е, не созрел я еще как-то для таких подвигов, Игорек.

– Зря... А я вот, Андрей, хочу жениться. Последнее время особенно, душе чего-то не хватает. Я не люблю такого, сегодня здесь, завтра там. Только пока надо на ноги встать. Мы с парнишкой одним контейнерной грузоперевозкой занялись. Вот дело наше наладится...

– Норма-ально.

– А как на творческой ниве? Книгу-то написал?

– Книгу? Не-а...

Подъехала белая газель с гробом и автобус, из него вышел мой дядька – отец Игорька, потирает большие красные руки с навечно въевшимся в трещины шоферским мазутом.

– Давайте всех вниз. Пару табуреток прихватите.

Гроб поставили на табуретки возле подъезда, сняли крышку. Резкий вой – я даже вздрогнул от неожиданности.

– На вот, любуйся теперь! – проголосила дедова сестра моей бабке.

Вихрь вздохов закружил меня: «как живой», «как живой». «Такой же бравый, прямо генерал!» – кто-то за плечом.

К гробу припала моя бабка: «Ой, генерал мой, генерал!»

– Шапку, шапку сними хоть, – прохныкала вынырнувшая из вихря мать.

Я испуганно огляделся и увидел, что все мужики уже без шапок и их головы дымятся белым, торопливо снял свой гандончик.

Потом немного поутихло, выстроилась очередь, подходили к гробу и что-то говорили. Старухи лили слезы. Подошел и я.

Лицо дедово напоминало сдувшийся мячик, который примяли с правой стороны. Один глаз провалился глубже другого, корявый шов, не смытая толком кровь с седых волос – каждый волос почему-то по отдельности, а из уха на подушку пролилось немного желто-коричневой сукровицы.

Глядя в эту лужицу, я пробормотал первое пришедшее на ум, вроде, ну ни пуха, ни пера тебе, дед. И уступил очередь...

От деда мне остались только два лица. Вот скомканное, тяп-ляп слепленное. И еще одно. Это когда я приехал со вступительных из Москвы. Меня встречали, словно героя, вернувшегося с победоносной войны. И дед, увидев меня, побагровел вдруг, глаза его заслезились и со звуком – у-ю-ю-ю-ю-ю-юй он уткнулся мне в плечо. И никто ведь больше не плакал тогда, да я ведь и не требовал ни от кого слез, и удивились все еще... И вот это красное лицо с дрожащими щетками усов и бровей... И вот это скомканное, вдавленное в ореол второго подбородка – сидят сейчас в моей голове: одно – слева, другое – справа... И слева, и справа, и слева, и справа, до отупения.

На шум со всего двора повыползало изголодавшееся по спектаклям старичье. Падальщики. «Кто там?», «Кого это?», «А-а, надо же». Появилась помятая хакаска лет сорока – пьяная, брызжущая ядом.

– О-о, завыли, завыли, – шипела она.

Я сразу понял, что она обращается ко мне, и она сразу поняла, наверное, какая-то язва видна была на моем лице невооруженным взглядом.

– Мало терпели от него, а теперь воют, – я смотрел в ее ядовитую физиономию и слушал.

– Ты же Андрюша, да? Внук бабы Гали, – я кивнул, – она о тебе всегда рассказывает, я все о тебе знаю... А сколько она натерпелась от него, как он ее гонял? Постоянно ведь мне жаловалась...

– Не место сейчас, – пробубнил я с каменным лицом.

Краем глаза я видел, как дворовое старичье переключает внимание на наш диалог, оплетает, обступает со всех сторон... и почувствовал себя соучастником тайного раскольничьего заговора.

– Сколько зла он вам причинил, да радоваться надо, освободились ведь. Ну скажи, скажи, разве ты не рад?

– Мне он ничего не сделал плохого, – монотонно пробубнил я, и то правда: за последнее время дед мне и слова дурного не сказал – любимый внук. Бывало только, напьется и правнуков требует... Однако, подумал я, лицо мое так обмерзло и онемело в своей вылепленной мрачности, что даже если на нем и улыбка возьмись, я бы этого не заметил. А вполне может быть и улыбка... Ведь вина уже хозяйничала во всём.

Тем временем гроб ставили в газель, люди рассаживались по машинам. Мы же с хакаской по-прежнему здесь, в прицеле любопытного старичья; шали, уткнувшиеся в воротники сморщенные носы, покашливание клубочками пара.

– Идем, идем ко мне, я же все о тебе знаю. У меня и стол накрыт, идем, поговорим, – гнусная физиономия призывно улыбается заплывшими глазенками.

А в голове дрожащие щетки усов и бровей: у-ю-юй...

– Идем, ну же...

Как же я презирал это существо, потрескавшиеся губы, заплывшие глазенки, маслянистый завиток из-под платка... Но нога сама сделала шаг.

Проклятая продолжала:

– Вот мое окно, видишь, пошли, Андрюш, выпьем, я все о тебе знаю, я расскажу тебе...

Я вздрогнул, поймав себя на еще одном шаге в ее сторону, а, поймав, развернулся и пошел к автобусу, обрывая паутину взглядов.

У автобуса стоял Игорек.

– Чё, не поедешь? – спросил я.

– Некогда, контейнер пришел, дело горит...

– Ладно, давай.

Он крепко пожал мне руку – у него всегда такое бодренькое розовощекое рукопожатие – сплошное доказательство здоровья и правоты. У меня такого нету...

По дороге я скреб ногтем выбеленное изморозью стекло и гнал призрак хакаски.

На кладбище было еще морознее, еще ветренее. По всему пространству тянуло черный дым от угля, под которым грелась земля для будущих могил. Ноги и руки занемели от холода. Он хозяйствовал повсюду, лез в рукава и обволакивал спину, превратил одежду в грубый кусок толи. Мне всучили пару венков – проволочные узлы жадно липли к пальцам. Могильщики, совсем пацаны, стали разбивать ломиками кучу, звонко высекали искру о здоровые голыши, намертво вмурованные в смерзшуюся землю – вряд ли такая могла стать пухом. Кто-то похожий на парторга, одетый не по-рабочему – в дубленке и формовке – руководил их неторопливым занятием.

А дедова сестра продолжала резать слух своими плачами. Я вспомнил, как она зачем-то подарила мне воробышка с красной ниткой на лапе. Я еще был дошколенком желторотым, и воробышек был желторотым – совсем не умел летать. Жили мы в частном доме, в огороде был врыт кузов и наполнен водой для поливки грядок – в нем вечно плавала пузырчатая, зеленая плесень, кишели дафнии цвета хаки, жуки-плавунцы. Воробышек мой трепыхнулся в детских неумелых руках, да и упал туда. Крылышки распластались, прилипли к поверхности воды. Раздался писк. Перепуганный, я потянулся к нему, но птенец забил крыльями и уплыл к другому краю. Я кинулся туда, но он отплыл на середину. Он пищал и захлебывался, тревожа скользящих по кругу водомерок. В слезах я побежал за бабкой, впрочем, когда тянул ее в огород, уже знал, что все с воробышком кончено.

И ещё, год назад было. Одна добрая соседка, всю жизнь на эпидемстанции проработала. И работу свою, видимо, очень любила, потому что, выйдя на пенсию, стараний своих не оставила, переключилась на местных котов и кидала порой отравленного фаршу во дворе.

Мой кот умирал неделю, и в последний день он лишь ползал, катался и кричал. И вот он лежит пластом после очередного приступа боли. Тельце раскачивается от тяжелого дыхания. Глаза голубые, широко открыты. Голова не держится, лежит на полу, и глаза смотрят вверх. Подхожу – он поднимает трясущуюся голову, смотрит в глаза. Я едва держу слезы – в гостях Горька, а значит, есть вещи и посерьезнее, а значит плакать – стыдная слабость. Я глажу шелковистую кремовую шерстку, самую шелковистую из всех, Гоша хороший мой, славный мой, маленький... Гоша, собрав в пучок усы, начинает мурчать, громко-громко, вибрировать всем своим пустым тельцем. Я срываюсь – растягиваюсь рядом и рыдаю. Горька тактично где-то там... на кухне... курит. Очередная судорога прерывает мурчание. Гоша протяжно кричит, ползет от меня в темный угол за штору, тонко отрывисто стонет. Меня поднимают – это Горька. Я прячу лицо.

– Брось себя травить, идем отсюда.

Я киваю и, запинаясь, говорю:

– Он мурчит... Я его глажу, а он мурчит... и в глаза... и уполз, чтобы боли и смерти не показывать...

Закрываю двери, включаю радио на полную, курим на кухне.

– Совсем немного осталось, – говорю успокоившись.

Сквозь табачный дым и запертые двери бежит едва уловимый запах мертвечины. Пробежал и исчез – смерть забрала свое. Горька молчит, молчит. На лице его участливая мрачность. Взгляд далек и близок одновременно.

Дурные воспоминания свое дело сделали. Мои глаза наполнились слезами – теперь я мог поднять голову и честно смотреть в глаза родственников.

Могильщики взяли гроб, семеня, перенесли его к яме, поставили на табуретки – все неторопливо, осторожным выверенным движением, словно пьяные, которые хотят казаться трезвыми. Потом встали поодаль – один с крышкой, другой с молотком. Молоток выжидающе раскачивался.

О, как я понимал их, ищущих здесь только завершения, гораздо более понимал, нежели кровных своих родственников.

– Провожающие, приступайте, – сказал парторг.

Все кинулись, окружили гроб. Я со своими венками, как всегда, опоздал, и было довольно глупо теперь толкаться к гробу... Я смотрел в узкую ледяную яму, похожую больше на разлом в скале.

Провожающие... провожающие...

«Провожающие, покиньте вагоны».

«Давай, Витек, покедова». «Счастливого пути!»

Каждый хочет взглянуть напоследок – «давай там не забывай нас». Я тоже тяну голову: «Ну чё, дед, давай». Состав дрогнул, последний вопль сестры, проводники забивают вагон и отправляют его в черное, холодное будущее. Потом горка из смерзшихся комьев, которая с трудом держит крест в порывах ветра, венки, прикрученные проволокой, хлеб и стакан.

Только ведь все наоборот – мы едем в своем плацкарте сквозь свое черное пространство, покачиваемся на изгибах дороги. А деда ссадили на зябком полустанке, и он возмущен, бежит вслед, машет – он хочет с нами, там недоеденный окорочок, недорешенный сканворд...

Провожающие, пройдемте на трапезу – теплая квартира, водка, курятина в лапше, – я напился вдрызг.

10. Черная река

Как я уже говорил – елки у меня нет. И это честно, когда без декораций.

У меня знакомая, жизнь не сложилась – за 30, а что в той жизни... Работа кассиром в супермаркете, бесконечная очередь меняющих деньги на еду. Дома – сериал, книжка про неземную любовь, такая же одинокая ворчащая мать, неизбежно тяжелеющий шарик доброкачественной опухоли в левой груди, суррогатные радости в виде новой дубленки или кофточки для плывущей уже фигуры. Каждый год они с мамой наряжают елку, готовят всякие биточки, зразы, дамские пальчики, набитые мясом, и тихо встречают очередной отрезок времени на своей унылой прямой. И над всем – елка пушится, и нет ничего печальнее и беспомощней вида праздничной елки в месте, где ни тихого счастья, ни веселого смеха, ни любви неземной... а лишь обреченность сокамерников, которые режут новую насечку на шкале пожизненного срока.

Вот и нет у меня елки, печаль преумножающей. Да и смена на праздник выпала.

На этот раз досталась мне самолетная стоянка у ангара тяжелых ремонтов. Здесь сторожевая будка о четырех столбах, потонувших в грязном, утрамбованном ветрами в камень снежном наносе. Здесь, перед ангаром, два опломбированных Ила, стадо желтых, похожих на жирафов, стремянок для обслуживания самолетов. Здесь, чуть поодаль – самый ангар с прожекторами, которые выуживают из тьмы лоскутья воздуха – все в стремительных блестках снежной пыли. Подле будки – две кабины от демонтированных элок... похожи на селедочные головы... элки списали, порезали болгарками и свезли в цветмет, а головы остались лежать у меня под окном. И вокруг – огромная черная пустота и перемещающийся по ней воздух, полирующий огромную снежную плоскость. Стремянки поют. Они состоят из полых трубок с отверстиями, и порывы течения чер-

ноты извлекают из них звук – словно множества флейт, дудочек и рожков играют разом.

Город отсюда как на ладони. Официального салюта не было, но в полночь люди с китайскими петардами повылазили на улицу, направили их в слепое небо с млечным пятном на месте луны, и весь город замигал разноцветными искрами и зарницами. Отчего-то правая часть города салютовала на секунду позднее, чем левая. Хлопки я не слышал – их уносил и пожирал ветер. Картина немного напоминала бомбардировку Багдада, которую как-то транслировали в новостях.

Выкурив сигарету и выпив кружку ячменного кофе, я улегся на встроенные в будке нары. Подушкой мне служил кусок поролона из пассажирского кресла в самолете. От старости поролон крошился и лип, и его липкие крошки закатывались в волосы. Неизвестные мне задницы летали в этом кресле через полмира, туда-сюда, и если уснуть, может, привидятся чужие города и далекие земли... Но спать было нечестно.

– А сейчас бы нам, Андрей Борисович, форели вот, молочного какого-нибудь посолу, и с такими перчинками круглыми, на дробь похожими.

– Правы вы, Андрей Борисович, очень бы пришлось. Я форели-то и не пробовал вроде ни разу.

– А вот и коньячка бы, Андрей Борисович.

– Да нам, Андрей Борисович, и водяры вполне... Чтоб в графине. Да, и блюдо еще с заливным, овальное такое. Много ли нам надо, не жульен ведь из лисичек какой бля.

– М-м, а вот нам бы и женщина не помешала, красивая, кудлатая, ветреного свойства. И вот прямо нам на колени.

– Не помешала бы... Ветреного свойства раз уж.

– Да-а, Андрей Борисович, смотрите, тенденция какая настораживающая. Позапрошлый год встречали вы с друзьями многими и водкою. Прошлый же год, хоть и один, но, по крайней мере, водка таки была. А теперь? Один вы и без водки.

– Согласен, Андрей Борисович, настораживает тенденция...

– Это ж, что выходит, каждый год у вас что-нибудь да отнимает. А следующему году, ему ж и отнять-то нечего будет от вас, кроме, разве что вас, Андрей Борисович.

– Совершенно нечего... Ну, с новым годом, Андрей Борисович.

– С новым годом, Андрей Борисович.

К четырем ночи город как-то разом погас. Я вышел на улицу и заслушался пением стремянок.

Здесь, на берегу из утрамбованных снежных горбов, не было декораций. Черные воды, честные и холодные, текли из своего черного истока, дышали, перемещались, гнали за собой ледяную шугу серых облаков, вымывали все наносные цвета из меня, уносили и растворяли безвозвратно все мои слова и молитвы.

Я давно уже плыл по этой реке.

11. К миру

Смерть мне всегда больше виделась не с косой, а с метлой такою, из колючего терновника. Рано поутру – о, мой любимый мир, – едва затеплилась твоя заря, она идет по дворам, сметая мусор человеческий, выпавший за ночь из окон, и праздничным цветом оранжевого жилета расцвечивает твой понедельник. Скошенные злаки после обмолота сносят в амбар, а мусор сносят на помойку – вот в чем здесь принципиальная разница.

«Где ваш Армагеддон, мама?» – спрашиваю я. Мама состоит в здешнем обществе рериховцев, а те об Армагеддоне поговорить любят, у них на все есть ответ.

«Он уже идет». И еще говорит, все будет постепенно, и целый миллиард его переживет, а Америка, говорит, пострадает более всего. Рериховцы много рассуждают о всемирном заговоре, и Америки, сеющей семя зла, не любят, им даже Армагеддон благ, лишь бы той Америке хуже.

Да, но ведь здесь я с ними даже солидарен...

«Что делается, что делается», – качает головой мама и испытывает тайное удовлетворение,

вписывая падение торгового центра в свою «тетрадь катастроф». Есть у нее такая. Листы разбиты на колонки – дата, место, число жертв. Она заносит в анналы признаки входящего в раж Армагеддона. Там все: землетрясения, извержения, цунами, даже самолет с нашими одаренными детишками, погибший над лоснящейся Швейцарией. Она зовет это техногенной катастрофой.

«Самолеты будут падать все чаще. В атмосфере сейчас поток высоких энергий». И: «Так Бог постепенно отсеивает людей».

Стреляет Бог из своей божьей рогатки прицельно по одаренным детишкам. Вот уронил както хвост от Антея на интернат для детей инвалидов. Разве не прицельно? У мамы на все нашелся бы ответ, у меня нет ни одного. Я смотрю на жизнь и ничего в ней не понимаю. И если завтра, к примеру, Грабовой и Виссарион действительно окажутся Иисусами – я пожму плечами и вновь опущу голову к земле.

Моя мама верит обоим, особенно Г.Г., потому что переться в тайгу, в город солнца – здоровья не хватит. А тут страна Григория, она повсюду, она вокруг тебя, а в ней, как при коммунизме, никому не надо будет умирать, не надо будет мести дворы за подачку в полторы тысячи, собирать с газонов окурки, использованные презервативы и выслушивать надменные упреки вечно недовольных жителей, в организм вольются сила и молодость и не выльются уж обратно, рассосутся кисты, нормализуется работа кишечника – кружка Эсмарха, это страшное, резиновое, грелкообразное, перекочует на антресоль и не вернется боле назад, на свой гвоздь.

И я хотел бы, мама, чтобы так все и было, я грежу золотым веком, но...

Третий класс. Старуха с блеском нержавейки в глазах – наш классный руководитель. Она охаживала непослушных линейкой, а после уроков заставляла нас стамесками скрести пол. Его выкрасили дурной краской, к которой липли грязь и резиновая чернота с подошв. Мы наскребали клейкие комки и замывали вычищенный пол, который назавтра, к концу уроков, становился снова черным. И изо дня в день я погружался под парту, в это вязкое коричневое болото, в нем увязала выданная стамеска и всякая попытка найти разумное объяснение тому, что я делаю. Еще старуха заставляла нас стричься под машинку. И даже девочка у нас одна наголо остриглась, а старуха ее и похвалила, в пример поставила. Мурзина – девочку звали. Мурзилка. Мне она нравилась. А потом вдруг – наголо.

Но того стоило, ведь старуха обещала нам на стыке тысячелетий, которых теперь и нет, которые теперь зовут миллениумами, обещала нам пришествие коммунизма. Причем, с укором таким в голосе, мол, вы-то, сучонки, потащитесь вволю, поимеете коммунизьма с его бесплатными благами, а я-то уж не дотяну, а посему – дальше звучало в голосе – скребите, скребите стамесочкой, чтоб и вам коммунизьм дармовым зараз не показался.

До сих пор вспоминаю ее со злостью, за это напрасное чувство вины, за неоплаченное, которое испытал перед ней за то, что буду хавать коммунизм полной ложкой, а она не дотянет.

И скреб, близил светлую эру, остригся под канадку – за тридцать копеечек. Мне, такой прически ни разу не носившему, это было унизительно, в класс пришел – без волос, а словно с голой жопой. И дальше унижался – на пути к светлому будущему это мелочи. Готовились к приему в пионеры. Разучивали клятву. Старуха каждого проверяла. И когда дошла моя очередь, я несколько раз запнулся. Старуха сказала, что в пионеры принимать меня нельзя. И мне, сопливому, в слезах, пришлось перед классом извиняться и давать обещание, что непременно выучу от зубка. И было мне прощение. Прощенный, я бежал домой вприпрыжку, птицы весело чирикали вслед. Я сделался вдруг очень голодный. Прощен, прощен – улыбалось высокое белое солнце. Дома я ел и смеялся...

А потом приняли всех скопом – и двоечников, и отличников. И клятвы не спросили, никто не подошел и не поинтересовался моей выученной от зубка клятвой, надо было просто хором повторять за вожатыми. Мы повторили и сделали ручкой. И мир стал бесцветным, я больше не выбивался в отличники, подделывал материн почерк, прогуливал, а потом приносил липовые записки, что болел. Светлое будущее с добрым коммунизмом, с улыбчивыми ответственными людьми, которые после честного трудового дня берут у великодушного государства заслуженные блага,

тихо угасало, перебиралось во сны, где и по сей день вижу я, как хожу с проволочной корзинкой вдоль длинных полок и набираю разнообразные вкусности, и выхожу, и ни перед кем не виноват, никому ничего не должен.

А моя набожная прабабка на то же время, на тот стык, как бы оправдываясь, обещала мне конец света. «Эх, деточки, не вовремя вы родились», – говаривала она. «Мы уж пожили. А вас и судить пока не за что. А вот Боженька придет и поставит всех на свой суд».

Богом я себя еще в глубоком детстве до изнеможения доводил. Начнешь молиться перед сном, как прабабушка учила, и червь внутри тут же – матерным словом на Боженьку. Я этого боялся страшно. Начинал про себя повторять: Бог хороший, Бог хороший, Бог хороший, Бог хороший, Бог хороший, чтобы ни одно ругательство не втиснулось. А лишь ослабишь, то червь вместо «хороший», словцо на «б» или на «х» ввернет. Так и повторяешь, пока измотанный не уснешь.

И обостренным чувством справедливости... Думал, почему котик домашний мой в тепле и сытости, а собака на цепи, на жгучем в мороз асфальте, почему папа пьяный и ест, и нож, которым он режет колбасу так страшно в его руке сидит, а мама не ест и забилась в угол. И так себя справедливостью изматывал – если шел по улице и поворачивал голову налево, то надо было потом повернуть голову и направо, чтобы справедливость восстановить, а чтобы справедливость соблюдена была и в порядке очередности поворотов головы, то следом – сначала направо, потом налево. Странно, наверное, смотрелся мальчик, крутящийся посреди улицы, как ошпаренная собака...

И вот в младших классах я верил в коммунизм, а к восьмому не пошел в комсомол и уверовал уже в конец света. Что мне в этом будущем, если без конца света – ПТУ с насмешливыми зверенышами. А еще? Из черной ямы будущего прожорливой амебой торопилась ко мне армия, и мне совсем уж не хотелось за так, задарма, исключительно по половому признаку, отдаваться в чужие руки Родины.

Конец не пришел. Дурь выбивали преимущественно табуретами.

Но мысль о конце света тешила меня и позднее, потому как вышеозначенный свет освещал весьма безрадостные перспективы. Вижу, вот высветил двоих. Некогда мои знакомые. Им где-то по 20, а они: «Папик!» – «Что, мамочка?» Папик и Мамочка, значит. Они завели себе «детишек», пока в кавычках, потому что скромная комната в малосемейке, зарплата не ахти, «детишек», значит – сначала свинку морскую, а потом и свиненка к ней, ведь свинка будет скучать одна, она ведь не может одна! Обустроили домик в коробке из-под телевизора, двухместную постельку, туалет, тарелочки для жратвы, дверцу прорезали – все как надо. И все бы хорошо у наших свинок, только Мамочка чего-то ебется с каким-то таксистом, а Папик узнал, разобиделся, хотел уйти, да куда, обратно в деревню свою говенную? И не пошел никуда.

А вот недавно встретились на пути. Жирком обрастают – квартиру сняли, ребенка настоящего, вроде, в коляске катят.

Вот оно, ползет во всем свете. Вижу. Брак, кольцо новых родственников, из которого не вырваться, домашние праздники и сцены, приплод, надо на две работы, заработать там остеохондроз, а тут лезет второй подбородок, там выползает из-под ремня пузо, или сохнешь, желтеешь, крючишься, считая годы до пенсии, и однажды слышишь от своего выблядка, кто ты такой, чего добился, как я это повторяю своей маме, или сделать карьеру, карьерищу, реализовать все-все-все амбиции, положить на это молодость, зрелость, чтобы потом все-все было, чтобы иметь право на молодую любовницу, на какую отродясь не имел ни в молодости, ни в зрелости...

И вот под 30, а у меня ни планов отступления, ни стратегических высот, ни конца света, если жизнь объявит мне войну, так я ее уже заведомо проиграл...

Детское восприятие мира, скажу я. Юношеский максимализм, скажет Аня. Инфантильность, скажите вы. И будете убедительней...

Тщится моя бедная проигравшая мама. Встает раненько, идет с метлой по дворам. Возле мусорки там собачка кормилась, мама ей супы носила. А потом собачку, видно, машина ударила, долго ее не было, отлеживалась за гаражами. Но выползла – поесть. Задняя часть у нее отнялась – ноги волочились по асфальту. Через неделю такого ползанья по подмерзающей неласковой земле,

по гальке, мусору, шкура и мясо с ног слезли, болтались клочьями. Вида той безножной собачки выносить совсем уж было невмочь. Мама подумала и купила за триста рублей – и даже жильцы скинулись, кому в радость ползучий кусок мяса, – купила шприц с большой дозой усыпляющего – собачка была крупна.

«Ей так лучше будет. Там ей будет хорошо», – резонно рассудила мама.

Подмораживало, ты, мой любимый мир, искрился инеем в утреннем солнце. Мама покормила безножную. Отозвала за гаражи.

«Ну, давай, моя хорошая».

И достала шприц. Собака забеспокоилась, закрутила головой. Игла ткнулась в шею, но как-то неловко, выскочила с другой стороны, нанизав лишь складку шкуры. Прыснуло мимо лекарство. Собака скульнула.

А вокруг – сухая трава слежавшимися кучеряшками, камешки – все обрызгано аэрозолем изморози, даже собачьи усы.

«Сядь, моя хорошая, не шевелись».

И безножная посмотрела маме в глаза и затихла, и даже голову положила на бок, чтоб удобней. И лежала не моргая, наливаясь своим лекарством.

Потом подергалась немного, из левого глаза выкатилась слезинка, и все... А мама осталась. И поползла дальше, к мусорным бакам. Затепливался новый день...

На сером небе – белое солнце, как бронепоезд из пункта Альфа в пункт Омега. На черном хлебе земли – белая соль снега – жри и не морщись!

Я жру и не морщусь...

12. Гвоздь

Тут у мамы гвоздь из стены вывалился, важнейший гвоздь из мягкой гипсовой стены, что отделяет ванную от туалета. Вместе с куском гипса вывалился. Чувствуете при слове «гвоздь» его кислое железное острие на языке? Без гвоздя маме очень плохо – на нем кружка Эсмарха висела. А без этой кружки остановится круговорот жизни... И она попросила меня забить гвоздь обратно. И тут взорвалось что-то во мне, словно долго копилось, словно вся предыдущая глава там и много еще чего – взорвалось и накрыло волной. И ведь чего бы – взять и забить гвоздь в мягкую стену. Но вместо этого померкло сознание.

– А что ж махатмы твои? Где они? Почему не спасут? Похоже, твои унизительные ежедневные процедуры их только забавят. Ты лопнешь, а они будут взирать с блаженной улыбочкой. А твои концентрации и медитации? Какой же был прок, если тебе опять нужен этот гвоздь? Пусть Бог тебе его забьет.

Вскоре мама заплакала – она тоже была на грани, чему немало причиной и недавняя смерть деда, да ведь и гвоздь – не только что вывалился, а три дня до, живот уже вздулся и не входил в юбки. Очнувшись, я долго мялся, прежде чем присесть на край маминой кровати, где она полулежала на подушке, спрятав лицо за одной из тех книг про иные миры.

И опять закопошилось в горле: «Прячешься, да? Музыка сфер, да? Четвертое измерение? Вот оно, твое измерение, этот гвоздь. Он везде тебя настигнет...» Я с трудом подавил копошение, ведь не для того я присел здесь.

«Ну что ты... что ты... Все будет хорошо... Где твой гвоздь?» – сказал я. Мама молчала.

Благо, на новогодние каникулы приехала Тать, безотказная белокурая девица, знакомая мне еще по нашему закрытому обществу, нас с Горькой она вечно угощала дорогими сигаретами. Может, она была и скучновата, но уж круто сорила «Честерфилдом» и «Беленькой», а такие люди везде нужны. И эта Тать разрешила мне жить в ее квартире, сама-то она училась на очке в другом городе. Просто так, взяла и разрешила, только, чтоб платил, что положено – за свет, за коммунальные услуги.

Я забил гвоздь, повесил это, страшное, похожее на резинового ската с пластмассовым черным

жалом на хвосте. И вскоре, взяв пожитки, ушел. Маме оставил кратенькое письмо, где извинялся, говорил, что не могу жить по сделке, менять свободу на опеку, на чистые носки, и вообще – устал есть людей.

На следующий день после моего ухода – узнаю я позднее – гвоздь вывалился.

13. Смех

This is the way the world ends. This is the way the world ends.
Eliot

Я съел свою Иришку, съел деда... Дед ел бабку, бабка ела дочку – вот и вся сказка. А что Иришка, разве из другого теста? У нее, как и у всякой бабы, даже на один пищеприемник больше... Нормаааальна. Заебиись. Так говорит Виталик всему, что видит, всякому шевелению во чреве этого мира, и катит себе дальше, покачиваясь на поворотах.

С Виталиком я познакомился в литературном объединении, и нас роднило желание выпить и постебаться за глаза над всеми остальными. К прочему же его притягивало отсутствие денег своих и наличие, какое-никакое, моих. Он пел, я наливал – восхитительный симбиоз; и даже враг у нас был: вечно лишнее время, которое мы убивали безудержным смехом. Короче, что называется, искра пробежала.

Когда он появился впервые, сел на эту полированную скамеечку, всю во вздувшихся трещинах, щиплющихся за ладошки, и сидел такой блондинистый, прямой, с чудной осанкой, не знаю отчего, но мне пришло на ум, что он похож на белогвардейца.

Он украдкой ухмылялся, если кто-то читал стихи. Очередь дошла до него: «Представьтесь, пожалуйста, что пишете?»

А он все сидел и походил на белогвардейца, ухмыльнулся более явно и, начав весело, а к концу своей коротенькой реплики с налетом некоей патетической грусти, сказал: «Да не... я так... Послушать...»

И после реплики губы своим сложеньем наводили на мысль, что во рту у Виталика вся горечь мира. С тех пор он не пропустил ни одного заседания. Хата, в которую я заселился, на беду была очень близко с его общагой – и Виталик стал едва ли не ежедневным гостем. Это можно понять – тошно человеку от общажной жизни с двухъярусными шконками и многоочковостью, тем более ему – филологу на подселении к троим технарям.

Я звал его Витас, он меня – Эндрю. Я исправно поил его водкой – он принимал это как должное, даже открыто усмехался: «Наконец-то, Эндрю, мы вместе, я так давно и невыносимо трезв». Впрочем, иногда, чтобы я окончательно не осерчал, приносил на закуску кусок сала (а ведь и сало у Витаса было халявным – из деревни, где жили родители).

Он приносил кусок сала, любовно навеличивал его домашним и при этом продолжал сочиться благородством, даже если сало его и пожелтело, и задохнулось, и корка, задубевши в камень, покорежилась и отслоилась. О, сочетание его высокоблагородия и затхлого сала – как восхищен был я этими двоими.

На заседаниях Витас просто ухмылялся, а в домашних условиях болтал без умолку. Мы перемыли кости всем членам литературного объединения. Мы даже сочинили каждому собственную оригинальную казнь. Там была девушка, похожая на русалку и сочинявшая про русалок – мы приговорили ее к смерти через изнасилование лещом. Там был чудак, который хотел изобрести при помощи сверхпроводников вечный двигатель, да еще и писал рассказики про вечные двигателя – мы подумали, что ему не хватает вечности и решили сделать клизму цементного раствора – пусть будет ему хоть вечный запор.

Вот и очередная жертва. Новенький мальчик с диковинным именем Артур.

– Послушай, ну как у него это звучит, неужели он не понимает, – говорит Витас и достает блокнот: «по не скошенным полям твоего черепа колосятся золотые локоны» – возвышенный

стиль, мля, романтический стишок про идеальную любовь, ода возлюбленной... И тут это. Смешно просто.

Голос у Витаса становится брюзжащим, словно он сейчас тряхнет головой и сплюнет постарчески желтой слюной мне на пол.

– А вот, Эндрю, вовсе не нюхал он любви, про которую пишет, а из пальца высосал. Просто, типа, такой особенный, хитро-устроенный, что после этого к нему Дама Прекрасная, мля, Елена Троянская должна снизойти, а не просто блядь из подворотни. Артур он, мля, какому-нибудь Пете Хомячкову значит можно и с блядью, а этот Артур...

Я во всем соглашаюсь, а внутри неприятный узелок – ведь у Артура далее еще строчка есть: «... стан твой тоньше церковной свечи...» – точь-в-точь как у меня в его пору.

Однообразие и повторяемость стадий взросления... Во многих мальчиках и девочках из литературного объединения я остро порезался о самого себя. О себя – фрагмент однообразной достойной осмеяния массы, только, в силу возраста, с опытом маскировки. Именно поэтому я совершенно отказался читать на публику свои рукописи и все реже появляюсь на собраниях. Мне постоянно кажется: вот он, из цвета и пламени, войдет юный Рембо́. Войдет в насильно окультуренный, обвешанный картинками выставочный зал, обведет взглядом наш кружок, согбенные вокруг стола спины и па-амочится мне на рукопись, на мой старательно несколько раз переписанный набело труд – любимое детище. А я даже не посмею поднять головы, глянуть на него и обозвать педиком.

Но ничего из вышеприведенного я не сказал вслух, мы просто вынесли вердикт: собрать по парикмахерским мешок «золотых локонов» и кормить ими Артура, пока не задавится, сука поганая, пихать, как гусю, пока не задавится.

Сегодня, в первую субботу февраля состоялось очередное заседание литературного объединения. Аня была в ударе, радовалась, что ей удалось собрать своими объявлениями такое количество новой «литературной поросли». Зал наполнил ток свежей крови, все знакомились, ерзали, мяли сокровенные тетради и, краснея, читали стихи на публику – вот как Артур, невинное голодное до локонов созданье. И солнце протянуло свои лучи, овеществляя волнение и бодрость первого свидания, и хакаски, взиравшие с размалеванных холстов, казалось, покрылись румянцем. Кто-то подал идею устроить чаепитие, мол, за знакомство. Терпеть более не было мочи, и мы с Витасом ушли, сопровождаемые грустным Аниным взглядом.

Теперь сидим у меня, пьём водяру и изгаляемся. Лишь для Ани придумать смертную казнь я не позволяю, когда Витас начинает, я жалобно вскидываю брови и затыкаю уши: «Не, не, есть у тебя хоть что-нибудь святое, она тащит на себе всё это сборище, в то время как наш дорогой редактор Перфильев предательски всех бросил».

Впрочем, я уже восхитительно пьян, а в такие минуты смех может сожрать и святое, и через минуту я замечаю, что от Ани нестерпимо пахнет потом, и что этого не следовало бы оставлять без внимания. Наш приговор – срезать всю кожу у неё с подмышек и регулярно накладывать для пущей дезинфекции смоченные в соляном растворе тампоны.

Затем, видимо, очередь доходит до меня – Витас спрашивает: «Ты-то, Эндрю, пишешь сейчас?»

Я неопределённо пожимаю плечами и достаю заветную тетрадь с Бритни Спирс на обложке. При виде непристойно-попсовой Спирс Виталик усмехается, как до него усмехнулась Аня.

Я повторяю историю, что, дескать, тетрадь не моя, а досталась мне от одной девицы. Поступала одна – красивая, восемнадцатилетняя, аппетитная на журфак, и нуждалась в интервью для вступительных. Тут я подвернулся случайно – писатель, экзотика, поющий крокодил. А девочка такая – из высшего общества, любимая присказка: «Все дела, очки от Гуччи, галстук от Кардена». И друзья-то сплошь от Кардена, текила, казино, Бенджамин Франклин на бумажках. Да приедается: подружки, дуры, всё о тряпках – приедаются, дедушкина коллекция катан глаз мозолит. Решила на «писателе» глазом отдохнуть, пришла ко мне с этой тетрадкой брать интервью: творческие планы, смысл жизни, «что такое литература».

Я там, мямлю себе, мямлю, а думаю, вот пришла она без лифчика, груди у нее живые и молодые, моего любимого размера, соски торчат, наверняка моего любимого розового с перламу-

триной цвета; и еще, думаю, никогда мне ее не поиметь, и ловить здесь даже не стоит. И взяло меня раздражение, благо, было портвейна, сославшись на косность языка в трезвом состоянии, я напился и начал изгаляться: «Вы, вот, девушка, из другого социального слоя, да и поколения. Очень мне уж любопытно, в чем вы варитесь. Ничего, если я задам пару вопросов, только заранее извиняюсь, если они покажутся вам нелицеприятными. У меня ведь, сами понимаете, интерес профессионального свойства».

И пошло: сколько у нее было любовников, когда и как состоялась дефлорация, не занималась ли онанизмом в детстве, делала ли она своему «Кардену» минет и понравилось ли. Все с извинительными вводными конструкциями: «а я не перегибаю», «а вам удобно отвечать», «отвлекитесь от личности, просто передача информации. Я же писатель, а вы будущий журналист».

Она отвечала. Однако на второй бутылке портвейна, когда я дошел до прямой кишки, ретировалась, впопыхах забыв тетрадь. Теперь тетрадь моя... И я пишу именно в ней в силу какого-то особого удовольствия.

Витас выслушал историю, ухмыльнулся, открыл тетрадь, но, не прочитав и пяти строк, он ее закрывает и говорит: «Гавно».

Гавно... Он, поди, и тетрадь-то взял, только чтобы был повод сказать это вкусное слово – гавно.

– Да нет, Эндрю, ты не думай, что один гавно пишешь, – спохватился он, – все, все гавно... И Пушкин писал гавно, и я... Просто всё, Эндрю, гавно.

Любит Витас это слово, любит бросать его в лицо жизни, и в первой части слова заложен протест, а во второй – разумное примирение. «ГАВ», – гавкает Витас в лицо жизни, – «ГАВ-ГАВ»... «НО». Но... Собака лает – поезд идет... и с этим надо как-то жить, – миролюбиво заключает Витас. Такой вот он.

Видя, что я помрачнел, он берет гитару (он оставил ее здесь со дня моего судомрачия) и веселит меня песнями, сочиненными по ходу:

Сегодня у хорошего поэта Артура
День рождения-а-а!
Я заверну какашку в серебристую бумажку,
Обвяжу розовой ленточкой и подарю Артуру.
То-то гости будут рады-ы-ы!
А-а завтра у хорошей поэтессы Катеньки
Тоже день рождения-а-а-а!
А на следующей неделе у редактора и руководителя литобъединения-а-а!
А еще скоро день рождения у замдекана филфака,
У декана, у ректора, министра культуры и-и
М-э-э-эр-а-а-а!!!
...Где мне взять столько гавна...

Помимо «гавна» у Витаса было в песнях еще два ключевых слова: «Залупа» и «дрочить». Надо ли говорить, насколько первородны и сочны они. Чего стоит хлюпающе-чавкающая звукопись глагола «дрочить», при слове этом сразу появляется умильная гаденькая улыбочка-хехекалка.

А Витас продолжает (песни приводятся в разумном сокращении).

Писатель Залупа написал автобиографический роман
И получил Нобелевскую премию-у-у.
Теперь его славным именем назвали школу, где он учился.
Школа имени Залупы, ура-а!
А на дом его прибили табличку: Здесь живет Залупа.
А мэр распорядился назвать улицу именем Залупы. Ура!
А губернатор края на очередном заседании внес предложение
Переименовать столицу края в Залупинск. О-о-о.

А на ОРТ вышли новые шоу-у:
Фактор Залупы, Форт Залупы и-и-и... Последняя Залупа.
О-о-о, Залупия, мой дом родной.

Я смеюсь до боли в сердце. Следующая песня начинается в плавном темпе.

Я люблю дрочить. Я так люблю дрочить.
Нынче даже врачи рекомендуют: дрочи!
Если тебе грустно, если у тебя депрессия, захотелось идеальной любви –
Иди в сортир и дрочи!

Темп убыстряется:

А я не просто онанист, я м-мм... пассионарий.
Я хочу, чтоб всем было хорошо-о-о.
Я открою клуб хорового дрочения.
Мы расклеим объявления и соберем на стадионе весь город
На сеанс хорового дрочения-а-а.
О-о-о, как будет хорошо-о-о,
Когда мы кончим всем городом одновременно.

Витас с остервенением бьет по струнам.

Мы все одновременно кончим,
И это будет всеобщая гармония, любовь и единство
О-о-о, придет золотой ве-е-е-к!
И сперма наполнит стадион до краев и выплеснется на улицы!
О-о-о! И мы поплывем.

Я уже не смеюсь, я смотрю, как Витас ушел с головой в свою жутковатую песенку, и как темнеет стена у него за спиной – между Витасом и жизнью падает тень. «Ибо Твое есть царство».

Кончим и поплывем!
И все плывет. И мэр плывет. У-у!
И губернатор в своем джипе.
И Эндрю плывет. Подпевай Эндрю!
И мы все в сперме. Мы плывем, сметая стены и заборы.
И я плыву! О-о, и я уже захлебываюсь, захлебываюсь!
А все плывут, плывут, плывут, плыву-у-т!

Истерический голос Витаса обрывается всхлипом, этот бесконечно долгий всхлип останется звучать во мне, не теряя, а напротив, приобретая свежести и жути. Выдержав паузу тишины, Витас начинает тонко смеяться, переходя на односложное кха-кха-кха, словно весь остальной звук ушел в ультразвуковой диапазон.

– Эх, Виталик, – говорю я, разливая остатки, – нельзя так много и без разбору смеяться.

– Да, Эндрю, смех это яд, который отравляет мне жизнь, но это и мое противоядие от жизни, – трагическим образом говорит Витас.

Я хмурюсь, речи сии, конечно, не новы, но правоты-то у них не отнимешь. Я сам пользуюсь этим противоядием. Смешно, когда страшно, когда бьют по морде, а потом говорят: че залупаешься, урод, иди, умойся; смешно, когда противно, когда хорошо; смешно, когда противно оттого, что хорошо и когда хорошо оттого, что противно; смешно, когда страшная баба признается в любви, а красивая посылает на х.й, смешно оттого, что никогда наоборот.

Почему же сейчас не смешно. В этих стенах рядом с Витасом, пустой бутылкой, рядом с ржавой раковиной, в которой куча банок и кружек, потенциальных узилищ для подрастающих тара-

канов. Почему не смешно, только страшно. Смеха больше нет, остался лишь долгий честный, как эта пустая бутылка, всхлип...

– Устал я Эндрю, устал... У меня дома снег сейчас по пояс, дрова смолянистые в печке трещат. Шарман, бля.

Витас сладенько осклабился.

– Мадемуазель у меня там... Вдовица... Но я к ней захаживаю, горячая. А поедем, Эндрю, ко мне на выходные, там хорошо. Поедем?

Я молчу. Я смотрю, как сверкают глаза Витаса, как сгустилась тень за его спиной.

14. Серебро

Поздний вечер. Магнитофон тянет и пожевывает пленку. На кухонном столе две тарелки и кружка – под ними по молодому таракану. И даже бутылка из-под 777-го – в донышке же всегда выемка – стоит на одном таком таракане. Давить противно, вот я и прикрываю их, потому что видеть, как ползают они по столу, тоже противно. Будет как всегда – пойду спать, поворочаюсь, а потом встану и выпущу их на свободу...

Впрочем, сегодня я долго не усну, даже если накормлю своих тараканов бутербродами со сгущенкой... Кора и Лелька. Как-то разом вернулись они в мою жизнь, словно жизнь решила подбить всю бухгалтерию, свести дебет с кредитом перед тем... Перед тем, как предъявить счет...

Они ворвались, и за ними волочился ворох недобитых мифов и воспоминаний. Они ворвались – и сказочные замки, дважды, трижды разрушенные, воздвиглись по своим местам. О, они выглядели еще прочнее, мерцали незыблемо, латунно.

Лелька, Лелька, Лелька – бумага стерпит все, даже твое имя. А в лицо я так и не смог назвать тебя Лелькой, как угодно: по фамилии, или насмешливо – че-эс-пе (она была в здешних местах самым юным членом Союза Писателей). Что тут осталось от тебя, Лелька, по прошествии трех лет? Что... То, как ты с придыханием сказала: «Князь мой», и то, как дивно мы потом сплелись на диване, и я боялся выпускать тебя из этого прямоугольного мирка... Что тут? Вот мое честолюбие, и вот моя похоть. А что еще? От тебя и выше? Потому и не могу назвать тебя Лелькой. Слишком сакрально. Для этого нужно быть тем самым князем...

Знаешь, Лелька, у нас в городе, туда, подальше к окраине, есть такие темнющие улицы – ни единого фонаря. И живут на них озорные дети из бедных и неблагополучных семей. У них там, как у тебя: щербатые заборы, горбатые домишки и баньки, искристые сугробы осыпаны крупными, как листва, хлопьями сажи, снег хрустит, и дым печной стелется – очень добрая, сказочная атмосфера. А мимо, с работы, в свой спальный район едут люди... И эти добрые дети умеют делить людей и их жизни на двое.

Они берут мешок, набивают ветошью или соломой, надевают пальтишко драное на него, сверху напяливают треух из поеденной цигейки, снизу – нашпигованные той же ветошью кальсоны, обувают кальсоны в сапожки, и полученное чучело в непроглядной темени укладывают на дорогу. Сами же чуть поодаль – наблюдают, хихикают – эти вершители судеб.

И спешит после трудового дня водитель, дома пельмени на ужин, в кармане дивидишка напрокат. Торопится в уют и покой, весь уже там, в уюте, а может, и жена у него милая, теплая, не гулящая: зевает, шуршит фланелевым халатом, у нее нежный желобок вдоль всей груди – целовать его и жмуриться... И вдруг фары выхватывают из темени тело на дороге – ни затормозить уж, не объехать. Подпрыгнул на нем и дальше... Я из тех, кто проедет мимо и не остановится. Вот остановился один, подошел, глянул – чучело, ффу – он даже счастлив слегка, поругивает озорников. Он совершил поступок – заглянул в глаза своему мертвецу.

А сегодня, когда я встретил тебя по дороге с филфака, – а шел-то я просто за бутылкой избитым своим темнющим путем, сегодня...

Привет-привет, могли бы мы сказать друг другу и разойтись, как это уже было. Но случилось иначе – мы остановились, протянули навстречу руки жадными до тепла ладонями вперед и сцепили пальцы.

Потом были твои бесконечные кафешки, где когда-то, как гласила легенда, странные создания, все в сполохах серебряного века – Горька и Лелька – украдкой писали на столах: чорт, Блокъ.

Кафешки стеклись в одно – с шуршащим мельтешением людей на заднем плане, с неиссякаемым пластиковым стаканчиком лимонного чая и грязной голубизной незыблемости стола между нами.

Обо мне нельзя сказать «рукастый мужик» или «кулак с голову ребенка», но твои лапки, которые ты тянула зябко на встречу, обе легко располагались в моей заурядной ладони – еще и место оставалось. А я их прикрывал сверху второй. О... я начинал чувствовать себя мужчиной, чем-то большим, а не просто кающейся соплей, извергнутой из благостного носа.

Череда кафешек вела нас к заповедному месту, где все началось и закончилось, они были как станции на пути. И вот мы уже за городом. Идем по лыжне, проведенной спортсменами по льду той реки, в которой когда-то под струями дождя бесновалась – ты.

– Помнишь?

– Помню...

...А еще помню, что на том берегу есть дерево, державшее Горькину веревку... Но мы обходим это место – нам хочется другого.

Холодно. Тебя трясет. Жмешься ко мне. Я – мужчина, князь почти, я расстегнул дубленку, обхватил тебя, Лельку, полами.

– Ты все помнишь, князь... – уткнулась побелевшим от холода носом мне подмышку.

– Что все?

– Мы, четверо, были мифологическими существами. Сколько прошло?

– Три, наверное...

– Это навсегда.

– Зачем ты прогнала меня?

– А зачем ты не пришел снова? Все три я ждала, когда ты изменишься, вспомнишь... когда ты проснешься...

– Я не спящая красавица. И не князь. Какой уж тут князь... Мне некуда проснуться... о чем ты говоришь...

... Я вижу мир в руинах. Куда проснуться, Лелька? – ведь там, дальше, те же руины...

Глупо стоять посреди замерзшей реки под высоким небом, тебя бьет озноб, побелели и так обветренные губы, пора назад. Я мешкаю, ты завела меня сюда не случайно, я сам шел, все вело сюда, о, как я хотел очнуться ото сна... И твердой поступью – за горизонт, и подбородок навстречу ветрам, и сильной рукою... Но рука слабела, холод вгрызался в кости, я катился окатышем по отмеренному на этот особый случай времени и не мог остановиться...

– Я буду ждать... князь мой...

Не помогает. Холодно. По-злому даже как-то – смертельно холодно.

– Не говори так... Идем обратно.

Думаешь, вот, все, сейчас остановлюсь, отдышусь, силы войдут, встряхну головой и разлепятся веки, и вот уже почти остановился, стою уже, но... Подпрыгнул и дальше... Своим темнющим путем...

15. Дышать вполсилы

Время такое – пограничье между зимой и весной. Снег хрустит иначе – шварк, шварк – както так. Оживают запахи – не запахи еще, а намеки только, оттаивают... тонки и неуловимы они, потому что это еще не запахи земли, трав, а запахи воспоминаний – они как бы и от земли, но и более... способны в силу истонченности своей проникать в самые глубины. И часть души особая, спавшая благородным сном, наполняется ими – ожившими воспоминаниями. И хочется вслед – чистоты, силы, поступков. Хочется увидеть миф не поверженным...

Нет-нет, это еще не весна, при чем тут она, не оттепель, не капель, не слякоть, когда зима, действительно, начинает напоминать разлагающийся труп. При чем тут она...

Я зашел к Ане, отдать методичку – она пообещала состряпать мне контрольные для сессии. А жила она в микрорайоне на краю города – у нее там все из параллельных прямых: на одной параллельной – ее пятиэтажка в ряду прочих, вдоль другой – узенькая битая дорога, на следующей – красно-бурые зубья гаражей, криво насаженные в земляные десна, за ними, так же вдоль – речушка, промерзшая насквозь – лед ее полопался на ровные молочные кубы, ладно сбитые вместе; а на том берегу – вдоль – тропа под сводом тополей.

Нельзя было не воспользоваться случаем так легко сбежать от города, и уже через пять минут, пересекши реку, мы брели по этой тропке.

Солнце за спиной. Вор́оны, черные и гладкие, выглядели увесисто, словно камни, и сидели недвижно над нашими головами. Иные же перелетали с места на место с ветками в клювах. Аня вздыхала и, причмокивая, пробовала на вкус воздух, поджимала губы, как старушка, у которой давно нет зубов. Я откровенно покряхтывал. Как снеговики, мы размякли и подобрели на этом солнце.

– Хорошо... покойно... Анна Валерьевна... и грустно... А мне самолет не дали... На работе после семи лет стажа дают бесплатный пролет в оба конца. Один раз в год. Хотел в Москву на сессию... с комфортом... Не дали... трех месяцев, сказали, до семи лет не хватает.

– Плохо... – сказала она.

Выпущенный изо рта пар мы внимательно провожали взглядом.

– Охохохохо... И покойно вроде... и маетно. А вороны-то у нас какие ядреные, да чернющие... В Москве таких нету... Как за Урал перевалишь, так они уж серые, представляете, только крылья и голова потемнее. Я удивлен был, всех спрашиваю, вороны-то у вас... как же... А они – а как еще? Всегда так было... Эх, жаль самолета... восемь часов – и вороны уж серые...

Странная она – Анна Валерьевна, словно на матричном принтере распечатанная. И даже больше – походит она на прозаический текст средней плотности, кеглем двенадцатым набранный. Она и видит во всем в первую очередь текст. Заиграет, к примеру, песня по радио, и она оживет, если текст дурной – станет фыркать, хорошую строчку отметит, а заиграет иностранное что, или инструменталка – Анна Валерьевна сразу угасла. И вот смотрит она сейчас на дерево, а мне уж и кажется, что это дерево у нее на литеры распалось. И губы на вкус наверняка горькие, и сейчас вот эту горчинку облизывает.

– Знаете, что мне показалось? – это Анна, горькими губами.

– Расскажите, пожалуйста.

– Тропинка эта... Будто сквер и аллея... И мы прохаживаемся по аллее, а там за мостиком, пансионат для престарелых... Скоро время ужина...

– Мда... И мы, выходит, аппетит нагуливаем. Врач прописал свежего воздуха.

Я выдохнул в небо и совсем уж по-стариковски стал в него пялиться. Анна взяла меня под руку.

– Ох...

– Правы вы, сто раз правы...

Шаркая сапогами, мы углублялись под своды тополей.

– Откуда, Анна Валерьевна? Старость-то душевная... Смешны же мы со стороны, поди.

– То-то и оно.

– Как так получается? Вот Лелька... я б женился на ней, если бы под рукой была постоянно. А то, пока есть, любишь вроде, бредишь, а как уедет в свою пропастину, словно и не было человека. Пусто. И, слава Богу, вроде...

– Не любовь это, а, м-м, стремление любить. В такую игру приятно поиграть иногда. А Леля за вас бы и не пошла...

– Ну так и с ненавистью тоже. Была у меня тут одна. Катя-Катерина. Да ты ее и видела... Теперь-то я съехал с отчего дома, не знает, где я, а раньше все ходила, сцены устраивала. Любовь

у нее. И втемяшилось, подай ей ребенка, воспитаю, ничего не предъявлю. Не меня, так хоть моих генов подай ей. А я не хочу размножаться вот так, даже и без обязанностей. От насилия этого, у-у, как я злобствовал, какую ехидну она из меня наружу вытащила. Я побил ее даже легонько, а ведь никого не бил... И как уж я ее презирал, да ненавидел, а оставила в покое, все сразу и позабылось, и если встречу вдруг, опять пущу... Тут главное, чтоб не надоедали, чтоб покой был... Ну а если гора не идет к Магомету, так пошла она на хер, такая гора. Вот как выходит. Инерция одна, никаких движений самоличных в душе.

– Грустно... – упавшим голосом сказала Анна и потупила взгляд.

– А мне сдается, это и не старость души. Души просто нет. Умерла. Душежелудок один... Душекишечник. Не насытишься же ты куском колбасы, чтоб до гроба сытость в тебе потом. Так и с людьми. То сытно, то голодно, то приедается.

Мы закурили в молчании. Остались лишь вздохи, да специфический звук из Аниной гортани – кх-кх-кх – когда она пыталась пустить дым кольцами.

Впереди лежала черная разлапистая коряга.

– Сейчас присядем, и я вам почитаю, смотрите, – она извлекла из сумки свежий черный томик, еще и ценник неотшкрябан.

– Купила опять?

– Ага. 140 рублей. Мама меня чуть не прикончила.

– Зря не прикончила. Экая роскошь. А обещанный портвейн полгода зажимаешь.

– Я поставлю, честное слово... садись.

Она умостилась в одной из развилок коряги, я воздержался – солнце катилось к горизонту, холодало, пожалел простату, да и кора могла повытягивать петли из брюк, просто присел на корточки рядом.

– Слушай, вот...

Это был Бродский. «Возвратиться сюда через много лет...»

<...>

– Ну как?

Я встал, заметил, что в левой коленке намечается что-то вроде ревматизма.

– Это про Одиссея? Не знаю... Напоминает... в школе шуточный стишок ходил, помнишь? Как там... У лукоморья дуб спилили, златую цепь снесли в ломбард... Кот ученый повесился... что ли... а русалки не то на панель двинули, не то с лотка торговать... и в том же духе... Не помню толком... А конца я не разобрал...

– М-м... Вот, смотри, приплыл он и видит, все в руинах, и жена его всем дала, и все отвернулись. Но на самом деле не так это. Он ходит, как зачарованный и не видит правды! А Пенелопа, как и прежде, верна, но у него колдовская пелена на глазах, он проваливается глубже и глубже в дурное видение!.. Он так долго пребывал в идеальности океанских вод, что теперь земля для него просто кусок грязи.

Я снова уставился в небо. Ныло во мне как-то. Зудело и ныло до тошноты от этого предвесеннего духа. Хотелось поступков, поступков, строить миф, его золотой храм, и чтобы обернулись люди и увидели... Я открыл рот и попытался набрать полную грудь воздуха – не удалось. Я буквально отхватил зубами кусок этого неба... и опять вдох был не полным. Заныло сердце. Аня вскоре заерзала на коряге, в очередной раз доставая сигареты. Закурила, дала мне. Я смиренно затянулся.

– Я ведь, Андрей Борисович, когда-то Бога живого чувствовала... Пришла в церковь и вот он. Настоящий! Так сохранить хотелось чувство это ... А оно угасло, как все угасает. Я и церкви теперь боюсь, говорят ведь, Бог во всем сущем, и тут, значит, и тут, а я вижу, что не тут и не тут. В мире столько всего, в чем Бога нет, Бога живого... И страшно после этого в церковь, последнее пристанище... последняя надежда... а вдруг и там... Ну и не зря, кстати, боялась...

Анна недолго помолчала.

– Ненавижу его.

– Кого его?

– Нашего Гореньку Андреева. Дурак он.

– Что вы так на Гореньку, Анна Валерьевна? Он вроде духовного отца вам приходился...

– Ну да, естественно! Духовный отец, духовный лидер молодежи! – Анна вскочила с коряги. – Ослом он был. Сволочь и предатель. Как он мог предать меня. Нас. Сначала вытянул душу, оттрахал в нее, заставил поверить. До него же я смеяться умела, у меня Бог был... Это он научил меня быть такой. А сам в петлю скакнул! Плевать ему было на нас. Метакультура, потусторонники. Только словами и разбрасывался... Да и слова-то какие дурацкие... Это же как раз про него стихотворение, у него пелена на глазах, он видит каких-то черно-белых химер, а что есть под носом живого, настоящего, теплого, не видит! Колдовство какое-то.

– А теперь вроде оправдать его пытаетесь...

– Нет, не его... Ему что... Ему бы только проще, если бы потоп мировой смыл нас всех, и стояла бы океанская вода, чистенькая и идеальная... Пенелопу, оболганную, незаслуженно страдающую. Я о ней писать буду.

– Пиши... – а потом мне захотелось нас приободрить. – Писать надо. Бог с ним, с Горькой. Мы сами можем. Мы вот тлеем, теплимся, но не гаснем же. Поедешь летом поступать. Я – доучиваться. Мы еще и выпьем с тобой на гонорар от своих книг, и критики в толстом журнале про нас чего скажут. Писать только надо... Я понимаю, здесь и снобство мое, конечно, и раздутые амбиции, но ведь и чистое еще что-то здесь. А Кора, Тать? Нас не так уж и мало, да будь все как Кора, как Тать, золотой век бы уже наступил. А они, эти люди, есть. И будем мы строить с ними храм неокультуры... Смешно, конечно, звучит...

– Не смешно. – Отрезала Анна, подобрала сумку и понуро двинулась в обратный путь, вслед кровавому закату.

16. Кора

Оказалось, что Кора работает секретарем в здешнем союзе писателей: забирает почту, печатает и разносит разные ходатайства и приглашения. Здание стоит на главном проспекте. Я не сразу нашел скромную дверь, притаившуюся среди прочих – магазинных, с парадными лестницами и цветастой отделкой. За темным, забитым списанной мебелью коридором открывается светлая комната с кушеткой и портретами местных писателей на стенах. В центре – стол, и за ним Кора. Все старо и пахнет соответствующе, но по-домашнему уютно. Зеленые, вздувшиеся пузырями обои, красный кожзам на кушетке разошелся, показывая желтую мякоть нутра, старая, даже не электрическая печатная машинка на заваленном бумагой столе, и рядом скворчит кофейник в коричневых каплях на мутно блестящих боках, и, конечно, полки с книгами, журналами. Все в паутинке дремоты, вяжущей движенья и звуки, в теплости умиротворенной. И в центре дремотного царства – Кора. Блестит спица – у Коры вязание, она его тихонько распускает, тянет белую пушистую нитку, присмотрится на вязание сквозь очки и снова тянет. А я присматриваюсь к Коре.

Появилась аскетическая острота в лице и сухость в руках. Появились глубокие тонкие морщинки под глазами и у рта – издали сразу и не заметишь, словно жизнь утюжком прошла – и ровно вроде, но сослепу или по небрежности – вот и вот – складочки замяла.

– Привет.

Оторвалась от занятия.

– Абэ, ты! Я так рада тебя видеть. Ты ко мне пришел? Специально, да? Тебе Анютка, наверно, сказала, где я.

– Шарф вяжешь?

– Шарф вяжу.

– А зачем распускаешь?

– Посчитала неправильно, рисунок сбился... Да и заканчивать жаль, чтобы закончить, подходящий момент нужен...

Встает из-за стола, дружески обнимаемся.

Сколько я с ней не виделся... два года? Почти три. С тех пор, как они расстались с Гришей, и тот пустился в вольное плаванье. Я жму ее крепче, за все дни его плаванья, а потом мы пьем чай.

17. Ступени вниз

Началось. Я надеялся не так быстро, но, похоже, жизнь решила объявить мне войну. А я ведь надеялся на избранность, на оберегаемость. И жизнь была доброй хозяюшкой – не баловала, но содержала в тепле и сытости.

И вот меня гонят с работы за пьянку. И глупо как вышло – уже и смена кончилась, а на выходе столкнулся с начальником, и он сразу учуял перегар. Минутой раньше или позже – и не было б ничего... Но хозяюшка моя в этом деле искусна.

Начальник несколько смущенно подает бумагу. Пишу «заявление по собственному».

– Смотри, и почерк у тебя хороший, и излагаешь грамотно. Чего неймется? М-да, хотел я писателя в своей среде вырастить... Куда теперь пойдешь, ты же работать не любишь. На стройку, задницу морозить, или грузчиком? Я тебя понимаю, я сам работать не люблю, потому и сижу здесь со старыми перделями.

Окружающие «пердели» коротко посмеиваются, а потом вздыхают – м-дааух, посмеиваются и вздыхают: начальник вроде как шутит – надо оценить, но опять же драматизм ситуации.

– Накрылся твой институт теперь, – сочувственно жмет мне руку и даже приобнимает.

На выходе один из старичков-вохровцев дружелюбно сминаясь всей своей старенькой мордочкой, шепчет мне: «Повинись, повинись. Он отходчивый». Я отмахиваюсь: «Да сколько можно виниться. Был бы первый раз. Залетов-то у меня накопилось...»

Благодетельные дамы из кадров – мама с дочкой – качают головами, дают советы, вдавливая штамп в трудовую: «Не пей, творчеством занимайся, десять дней у тебя, сразу встань на учет в трудоустройство, а то прервется стаж, коэффициент по новой зарабатывать».

Все такие благожелательные, незлобивые...

Этим же вечером я и в трезвяк попал. И снова ведь глупость какая – до дома квартала не дотянул. Перехватили.

Мент у нас пошел тоже благожелательный, как продавец в супермаркете, – только башляй ему. «Мы вот тебя не оформим, а ты ноги где-нибудь отморозишь». И в «луноход».

В решетки суются алкаши, бьются, как обезьяны в клетке, поливают ментов распоследними словами. Не привилась им путинская ментофилия в виде сериалов про храбрых сыщиков и спецназовцев. Дядя Степа вывернул им карманы, сунул в клетку.

– Суки, пидоры, ментяры, – ревут алки.

– Три часа уже прошло! Начальник, слышь?

– Дайте позвонить, сволочи.

Менты похаживают, никого не бьют, улыбаются.

Схема простая: попал – звони родным, пусть выкупают за стольник, или плати сам и через три часа свободен, а бедные и жадные будут куковать до утра.

Я был бедным. Жирная тетка-врачиха и взгляда не оторвала от журнала – вписывала меня, попросила пройти по полосе, дотянуться до носа. Я еще питал надежды – ровно прошел, аккуратно дотянулся... но раздели и сунули под мышку колючее одеяло.

– Бей ментов и чеченов! – ревет один из моих сокамерников.

Первым делом, когда я вошел, он смерил меня взглядом – такой сравнивают с бритвой.

– Вроде не чечен...

Я отшутился, давя непроизвольный морозок:

– Да уж и не мент.

За что и претерпевал продолжительные его лобызания и стал «братишкой».

Он был жилистый, сушеный терминатор, говорят о таких, это как снять мясо с терминатора, то вот он, мой сокамерник – широкая, но плосковатая рама грудной клетки, круглые стальные шарниры плеч. Все укладывал ногу на косяк, демонстрируя отменную растяжку. И еще двое с нами были: жирный тувин с блюдообразной мордой и кто-то накрывшийся одеялом с головой на своей деревянной кушетке, кто-то, кого этот тувин грязно ругал.

На минуту-две трезвяк стихал, а потом какая-нибудь обезьяна начинала зубить в двери своей камеры с воплем «ухухуыыйааа», и вся стая подхватывала – оглушающее лязгала железом и выла.

Жилистый играет желваками, усмехается.

– Вот же суки. Я ведь откинулся только, братишка. Только воздухом вольным дыхнул, ну и отметил, расслабился. Ох и сууки!

– Базаров нет, – поддакиваю я.

– Ну скажи, разве я пьяный, а? Сучары ментовские, ненавижу...

Потом шел душевный рассказ с классическим сюжетом. Встретил он в темном переулке двух модных чеченов, приставивших к девушке, да и вступился – всем ничего, а ему год.

Я кивал исправно и подумывал, что вот, если не врет, то жизнь-то с ним обращалась похуже, чем со мной, – стыдно уж тут про повешенье грезить.

А потом я захотел ссать и мне пришлось влиться в рев, в возбужденную обезьянью ораву.

– Органы! О-органы-ы, нужду бы справить!

Жилистый с готовностью забарабанил в железо.

– Откройте, блядь, парнишке в туалет надо!

Там, в вонючем сортире, стоя на липком от мочи кафеле босыми ногами, я понял, что мечты мои о самоубийстве пусты, и не суждено им сбыться никогда. Потому как если самоубийство малодушием называют, то я еще более малодушен. Потому как и гадство кругом, и моча, и кафель, и даже зайдут сейчас сзади, собьют с ног, макнут в очко лицом, вытрут мной весь этот кафель – жизнь и тогда будет длиться, буду ползать, как червь, равномерно всасывая воздух, и ничего не остановится. Необоримая сила жизни расправляла здесь крыла, над кафелем, из трещин которого ползли коричневые разводы.

Утром сняли отпечатки, как это теперь заведено, – и в путь. Вышел я на свободу и кайфа в ее утреннем глотке не распробовал.

И вспомнил про баню – от грехов, от мрази отмыться, так Лелька учила. Вызвонил Аню – у ее бабки банька есть, упросил свозить. Наносили воды, затопили. Парился я там, ковши на камни опрокидывал – а чистоты не прибавилось. Хлестался веничком, пока весь лист не слез, а ни одного греха не отхлестал...

И не было покоя. Обсох, а, обсохши, наскреб деньжат и рванул к Лельке – на белой «газели» в ее черный городок, похожий на мумию, присыпанный угольным прахом. Твой князь спешит к тебе, маршрутка за 20 рэ преображается в тройку белых коней. Я огуливаю их кнутом: н-но, родимые! И там, в сгорбленной избенке на краю пустыря ждет меня моя ведьма. У нее в избенку на здоровенном засове низенькая дверца – мне по грудь – как в святилище, не поклонишься – не войдешь. Я ворвусь в вихре снежных хлопьев – твой князь не предаст, твой князь навсегда. Она проведет в баньку. Та уж остыла – сыро и прохладно. Сядем на почерневшем притолоке, сплетем пальцы и будем говорить. В полночь Лелька преобразится, полыхнут ее глаза во тьме кромешной, и вот тогда...

И все вроде бы нормально: князь приехал, никаких препятствий – ни хазар, ни печенегов, «газель» не перевернулась, страдающая Катюша на пути не встала, Господь земли не разверз, и Она была дома и даже рада была мне... да только пути к ней все равно не было.

Вот, вижу я Лельку без дубленки, в домашних условиях, в ее родной стихии, где забеленный гвоздь в стене, где провис, как панцирная койка, потолок, где скрип ледяных половиц и жар в лицо, а в ее комнатенке – низкое тусклое оконце... и не вижу. Не вижу того звереныша, той продрогшей, что я стиснул средь громов и пенной реки, а лишь наросшее на этом некогда бесноватом существе вижу, а наросло немало – упругие ягодицы и бедра плотно наполнили брюки, раскачались груди под кофтой. А такое и не обнять уже, а лапать. Оно ведь, любовь поэта – субтильная

девочка, которой дышать бы... а если у девочки выросли сиськи и жопа, то непременно хочется в жопу ей и промеж этих сисек, а разве можно так с тем, кого любишь?..

И руки Лелькины вижу непропорционально мускулистые. Она отодвигает вьюшку, сыпет в оранжевый гудящий круг ведро угля – на руке играет мускул, – любуется огнем и искрами, как прежде любовалась, но теперь это пародийно. Ну вот же они, вот, мои маленькие лапки, только пришили их к чужим белым крепким ручищам, и ручищи скрещиваются двумя алебардами на моем пути – дальше ходу нет.

Что мне оставалось. Ее мать купила мне литру шмурдяка, и я пил вприхлебку с жирным борщом. А ставшееся с Лелькой рассказывало мне, что работает теперь в школе учителем литературы, ведет у младшеклассников литературный кружок. Что это и есть смысл жизни, достойнейшее дело – воспитывать детей, пока они не закостенели, открывать им глаза. Наверное, так и надо... Похвасталась тем, что директор сделал ей выговор за отсутствие лифчика. Она же дитя природы, но я теперь видел только пародию и подумал – прав директор, вполне прав – это шевеление под кофтой начинало вызывать у меня брезгливость, на второй половине бутылки мне уже мерещился маслянистый унавоженный чернозем, на котором тучнело это дитя природы, вот он – под ногтями, в каждой трещинке на пальцах и в черных ее очах. Я проваливался все глубже в дурное видение, и не могло здесь быть ни откровения, ни мифов, ни родства душ, ни востребования, за которыми ехал – была здоровая алюминиевая ложка с желтым слоем застывшего борща, лежала у меня перед носом, была ядреная телка, которая зачем-то смотрела либо лукаво, либо пристально-тоскливо, и была бутылка шмурдяка – граммах на семистах я и вырубился...

Да и о каком родстве тут... Если только и умеешь есть людей, а по-другому и не умеешь...

И в конце тех мытарств я забился в свою прокуренную нору, оставив всякие надежды за порогом, сел на кухне и стал писать – и это последнее средство. Вы ведь зовете меня писателем, значит, так и есть, значит все неспроста, значит, ничто дурное не коснется меня, ибо не человек я, выходит, а глагол, и хозяюшке моей доброй меня уже и не достать, и не оттрепать, и даже если душа во мне кончилась, и скольжу я по сонным брегам, неспособный остановить скольжения, остановить мгновенье и увидеть, сколь оно прекрасно, даже после всего этого я могу писать. А потом требовать востребования: перед вами, читавшими, которых я подрядился пробудить, перед Богом, у которого я подрядился в миссионеры... Я есмь, граждане, неужто вам меня не надо...

На литобъединении девица была заносчивая, приехала из деревни – не деревни, а станции – человек десять работают на жд, остальные пятьдесят – пьют, приехала – остренький вздернутый подбородок, Генри Миллер из сумочки выглядывает, приехала – и словно и не дочь, отца своего, алкаша, не знавшая, а царица в опале, словно еще перевернет мир вверх дном, поднимет смуту и вернет скипетр. Руководитель литобъединения Перфильев спросил ее: «Что любите? Чем занимаетесь?»

– Я, – говорит, – тесты люблю всякие, анкеты заполнять, дайте мне анкету с вашими вопросами, я там все заполню. А еще, – говорит, – прозу люблю писать, ведь занятия эти, по существу, очень схожие.

Да, схожие, вот сижу я в своей норе и пишу про то, как сижу я в своей норе и пишу про то, как сижу я в своей норе и пишу, а завтра буду править и переписывать набело про то, как сижу и пишу про то, как буду править и переписывать набело (и уже – завтра, и уже – правлю и переписываю). Много нас нынче таких писателей получилось – вроде повесть пишешь, а вроде и анкету в брачное агентство, побрачиться тщась с читателем, Богом, славой, еще чем. Пишешь до востребования.

А девица из наших. Уединились мы с ней в уголок, слово за слово, и наподобие игры у нас вышло – кто на какое животное похож. Глянет она своим незатертым деревенским глазом и говорит: Перфильев – медвежонок цирковой, на велосипедах такие катаются, Аня – сова, Витас – волк-альбинос... но потом присмотрелась, нет, говорит, муравьед он, Артур – цапля, я – барсук.

– Барсук, говоришь? Ну ладно... Благородный, наверно зверь...

– Конечно-конечно.

– И полезный...

– Очень полезный... барсучий жир, например. Меня мама от бронхита им лечила.

Обиделся я на болезную.

– А сама-то кто?

– Я? – и стала серьезной, глаза ожесточились. – Я собака. Захочу, до смерти защищать буду, захочу, покусаю.

– Ты собака, у которой хозяин умер, – вырвалось нечаянно.

Она вдруг беспомощно заулыбалась, отвернулся я на секунду, потом обратно повернулся – у нее слезы катятся. Любительница иностранных литературствующих философов, любила, видно, крепко метафору, или взаправду поняла бесхозность свою собачью. Я хотел взять ее руки, но не посмел... Что мы могли сделать друг для друга, привыкшие есть людей, одинаково бесхозные...

С тех пор она меня возненавидела...

А я ее – почти что полюбил...

Но это мелочи, особенно сейчас, когда я так стремительно соскальзываю вниз.

18. Судомрачие

Портвейн начал помалу отпускать – сначала, как добрый друг, вел он меня, держа за плечи, сквозь сумрачные пейзажи, заботливо усаживал в повозку, а потом осторожно, чтобы я не всполошился, отнимал от плеч свои пальцы и тянул денег кучеру.

И повозка тронулась. Почернели и истаяли стены. Я задыхался – наступившая ночь скрыла от меня даже воздух. Шутят, бывает – «дышать темно». Темно... очень...

Сердце словно ворочалось в своем неудобном узилище, толкало сильно, но редко – задумчиво, и кровь с шумом наполняла голову.

Меня примяло, вдавило в панцирную сетку, в грубое покрывало с многочисленными черными отметинами от просыпанного сигаретного пепла. На одну из таких наткнулись пальцы моей правой руки – жесткую, слегка царапающую оплавленными краями...

Я пил неделю, по утрам мочился, рыча от жжения, и опять пил. Полученного на работе расчета хватило бы и на месяц, тем более, что пил я исключительно шмурдяк. Всеми своими поступками я призывал судомрачие, и оно неторопливо, полноводно восходило из колодца своей бездны, чтобы выплеснуться, накрыть, увлечь мое слабое трепещущее существо, избитое углами похмелий и спиртовых отравлений.

В последний день я только лежал, дрожали кишки, а суставы выворачивало и тянуло в разные стороны, словно толпа бесов устроила внутрях свару. А если встать – то била судорога, от каждого шороха я подпрыгивал, нелепо взмахивая руками. Я превратился в тварь дрожащую.

К вечеру стало только хуже. Больших трудов мне стоило добраться до магазина и взять тетрапак портвейна – его величество Судомрачие я решил встретить со стаканом красной жидкости. Сел на кухне, срезал угол тетрапака – и даже сил чуток прибавилось.

Но постучали в дверь. Я хотел отсидеться, но стучали настойчиво. За дверью оказался Витас. Был он бледен, восковая маска его благородства от чего-то размякла, оплыла.

– Пустишь, Эндрю? – и перешагнул через порог.

– Витас, не сегодня бы. Хреново мне как-то. Одиночества мне нужно. Вдохновенный у меня сегодня день. Давай в другой раз. Я смертельно устал...

– Одиночества? Хорошо-хорошо, я понимаю, Эндрю, – на удивление смиренно сказал Витас. – Я о нем очень часто мечтаю... Ну пойду я, не буду мешать...

– Да уж, в твоей общаге... – я подумал, что из коридора хорошо видна кухня и мой портвейн на столе, стало неловко, – не хочешь Витас, на дорожку, – и показал рукой на тетрапак.

– Нет, Эндрю, спасибо... Не буду мешать, оставляю тебя наедине с вдохновением. Ну, давай.

– Давай, ага.

Но вышла неловкость – в дверях он столкнулся с Корой, пришла же на грех, не раньше, не позже, а Кору я выставить не посмел. Я еще заметил болезненную улыбку Виталика, когда он оглянулся, спускаясь по лестнице.

И далее мы пили портвейн с Корой, вернее, странно как-то пили, не синхронно – чокались, я отпивал добрую порцию, а она лишь пригубит, и так много раз, а потом вдруг – залпом, до дна.

– Абэ, – говорила она, – ты же понимаешь, что будешь жалеть. Ты должен поехать. Да, я куплю тебе билет, соберись, дружок, не подведи. Завтра в шесть ты едешь. Ты же талантище у меня, не сдавайся. Я читала твои черновики, здесь что-то особое, сибирское... Прекраснодушием я это называю...

– Как там? – нахмурился я, – на, на, на-на, на-на... тропкой тонкою... или узкою... граммофонною пластинкой... мы странники, мы вестники, не дали нам выбора иного, друг...

– Да, это я тебе писала, помнишь?

– Друг... Вестник... Да-а, какие слова, слезы наворачиваются... Да только лгут слезы, бабские они, сентиментальные, с глубокого похмелья всегда рядом... Не верю я... не чувствую... Странник, блядь... жопы от стула не оторвал... и вещать мне нечего. И не друг я никому, сокамерник, пожалуй... от невозможности... остальные тюремщики все, а ты и Аня, сокамерники... Я... я же думал, душа сносу не имеет, в грязи в ней валялся, по закоулкам обтирался... Ух, хор-о-ош, вот загнул... а, значит, опять соврал!

– Не соврал, Абэ, тебе писать надо, а не... Ты же жизнь любишь. Любишь, ведь? Это Горя жизни не любил, а ты любишь, я же вижу.

Я не сразу понял, что слезы злые текут из глаз, что зубы сжаты и оскалены. Поняв, представил запойную свою пунцовую, как с бани, рожу, брезгливые, по-алкашески особенно изогнутые носогубные складки, розовые сочащиеся глаза. Отвернулся и зло захихикал. Зажмурился, чтобы выдавить слепящие слезы. Отерся, выпил – стало покойней.

– Не знаю. Я в этой жизни ничего не знаю, не понимаю... Она тычет тебя батожком, как котенка слепого, толкает куда-то... И никакой логикой не объяснишь, не угадаешь, куда опять ткнет, куда гонит. Да только обычно к кузову с мутной водичкой, чтобы утопить.

– Это не твои слова, Абэ, это его, Гришины... Мы должны быть стойкими, выплыть... Слушай, ты же знаешь, Перфильев прочит меня на свое место. У меня последний курс, получу диплом, а к осени, возможно, стану редактором журнала. Если хочешь, дружок, будем вместе работать, поднимать эту... сибирскую культуру. Хочешь? Мы и ставку для тебя выбьем. А то, что тычет батогом, ты говоришь, так это дьявол, дьявол бьет нас. Он нынче в силе... Уж сколько сейчас мертвецов ходит там, внизу, по улицам. Слуг его. Я теперь по ночам, Абэ, не сплю почти, все брожу по городу ночами, наблюдаю. Их тьмы, ходят, стоят, умершие. И... Гриша вот... Он мертвел и понимал это... и я не могла... не могла больше этого видеть... А мы не умрем... Я спасу тебя, слышишь, Абэ, мы должны, я должна... Поезжай, дружок, на сессию, сожми себя в кулак, надо тому быть... И тогда мы выплывем. Вот... у меня... есть для тебя.

Кора взяла сумку, достала мешочек на шнурке с вышитым крестом – ладанку – повесила мне на шею. Ее мутные глаза – я смотрел в них, вспоминая синеву былую, что с ней сталось, как это – вода с молоком... Кора трижды осенила меня крестным знамением и поцеловала в лоб. Будь под рукой святая вода, она наверное б пошла кропить углы... Но воды не было.

– Спасибо, – сказал я, помолчав.

Какой-то трюк был во всем этом, неправильность – видимо, подступающее судомрачие прорастало во всем и всех, кто меня окружал. Но потом подумал, что Кора, вот, сама живет в таком судомрачии и в алкоголе для его прихода вовсе не нуждается – оно всегда с ней.

– Не знаю... ничего не знаю... Ехать, говоришь... Мне так скверно... четыре дня в поезде... мне бы просто уснуть... Да ведь и сессия уже началась, я не готовился... И денег твоих жаль.

– На экзамены ты еще успеваешь. Все будет хорошо, мы же с Аней сделали твои контрольные. Потерпи уж маленько, горюшко ты мое горькое...

Она ласково прижала меня к себе, но потом, вздрогнув, замерла, словно пробудилась. Убрала руки.

– Завтра, в общем, Абэ, завтра я зайду за тобой... да, в пять. Настраивайся, будь готов, Абэ,

собери вещи, завтра ты едешь. Еды я куплю... не пей, хватит, да, матери бы позвонил, чтоб не волновалась... Пойду я, Абэ, билет еще надо купить.

И Кора ушла, я же теперь пребывал во власти судомрачия, под прессом глубочайших его вод. Единственное, что осталось у меня – это отметина на покрывале, за которую я цеплялся одним из слабых пальцев. Шум в ушах возрастал, и я понял, что это та самая скрипучая симфония, производимая тысячей шестеренок, повторявших монотонный мотив. К ним присоединилась тысяча молоточков с мотивом посложнее, а следом хор хрустящих коленец и шуршащих бегунков.

И мелькнуло какое-то движение черного на черном – силуэт. Я, испуганный, преодолевая густоту тьмы, оторвал руку от покрывала и попытался перекреститься, но последнее прикосновение щепоти – к левому плечу, рука моя совершить не смогла: черное на черном – сгущенное пространство – схватило ее и отвело, и держало, сколь бы я не пробовал напрячь мышцы. Тогда я уцепился за правую руку рукой левой и потянул к плечу.

Так боролся я долго и безуспешно, а потом меня потащило с кровати, я упал, ударился спиной. Лампочка, свисавшая с потолка, тускло осветила комнату, а по полу, собирая в гармошку грязный половик, меня волокли два обнаженных до пояса юных дарования – откуда-то я их знал. Поэты эти склабились и были чрезвычайно худы, по тонкой коже простудные прыщи и багровые копеечки сигаретных ожогов, у обоих – стянутые резинками длинные волосы. В углу сидел Витас, перебирал струны гитары, перед ним, на двух газетках – полторушка шмурдяка, хлеб, сало, разъятая тушка копченой курицы.

Я вырвался, неуклюже, как жук, перевернулся со спины и заполз обратно на кровать, вдавил тяжелую голову в подушку. Не помогло – опять потащили. Я встал на ноги, отнимая от себя поэтов, их тонкие, цепкие пальцы, не знавшие физического труда. Но поэты те продолжали склабиться и с тупым упорством висли на мне. Тогда я ударил одного в грудь, где срастаются ребра, та прогнулась весьма глубоко, словно механизм, на это рассчитанный, словно рессора или резина – поэт отлетел к стене, отскочил от нее резиново и снова повис на мне. Борьба была недолгой, и не я вышел победителем – быстро запыхался и ослаб, а резиновые поэты даже не сморгнули, не перевели дыханья. Я размяк, позволил им меня тащить.

Посадили подле Витаса, наполнили пластиковый стакан с трещиной – из трещины сочилось.

– Выпей, Эндрю, с нами, за знакомство, – сказал Витас, откладывая гитару, – извини, что без приглашения. Дверь была открыта, а спите вы, дорогой мой человек, невозможно крепко.

– Не... не... я не могу...

Я пытался отдышаться, но воздух в этой тусклой комнате был пустым, безвкусным, как соевая еда – отдышался я не скоро.

– Эх, Эндрю... и выпить не хочешь... и выгнал ты меня давеча. Да нет, я не в обиде. Просто у меня преинтересные изменения в жизни случились. Я филфак свой бросил. Чего смотришь так? Нормально, Эндрю. Поеду на почву, земелечку, асфальт надоел, бля. Не поверишь, ступни ноют на вашем асфальте, тоскуют по землице... Филфак этот. Литоб. Все слова пи.деж... Я не поэт, Эндрю, я не такой как все, хе-хе, я на факе этом к словам отвращение заработал. Педагогом стать... Общага... тьфу. К вдовице поеду, Эндрю, навоз кидать, быкам хвосты крутить. В армейку, главное, сейчас, не загреметь. А осенью можно и в армейку... Вот я давеча и пришел прощеваться, банкомат для этого специально очистил... Так ты выпей с нами, Эндрю, закуси курочкой, я часто на твои угощался, хочу расплатиться с тобой напоследок. Пей, ешь, не скромничай, а на верхосыточку еще выпьем...

Я обреченно влил в себя сладковатый спирт. Резиновые поэты оживились, сделали тоже самое, их пальчики стали терзать куриную тушку.

– Во-о... А я тебе наиграю. Все для тебя, – Витас взял гитару, откинул голову и, затуманившись взором, стал проводить размеренно по струнам, как гусляр из сказки. – На-на, нананай-на-на, вот так, Эндрю, вот та-ак. Налейте ему еще.

Тут же налили, сунули под нос. Сопротивляться было еще тяжелее, чем пить, и я выпил. И стал заваливаться на бок, но не дали – вернули в исходное положение.

– Эх, Эндрю-Эндрю, нельзя, не живи так, Эндрю, не падай, сегодня твой день, – Витас вскочил и стал декламировать: – В плацкартной жизни не забронировано мест для Бога. Здесь для тебя все, Эндрю. Здесь все разложено по полочкам. И к горнему не вознестись – лбом упрешься о плафон, и падать можно с полки, но не в бездну. Быть может, о родстве мечтаешь? Хе-е. Синонимом родства здесь, Эндрю – кочующая из глотки в глотку одна и та же духота.

– Что? Голоден? На, ешь, твои окорочка. Достань их из фольги иль целлофана, достань, достань. Лежали долго возле батареи, и белым цветом мылятся теперь, как пораженная молочницей пи.да? и пахнут дурно? Да не беда – нормально... за.биишь... Ты выдохни себе в кулак, поймешь, что запах тот же – окорочка, что плоть от плоти нашей, пихай в себя, в душежелудок, как в мешок, твои окорочка.

– Что, сыт? Знать, нам пора на полочку, к духовной пище. Лежишь, ворочаешь лениво мозгом, сканворд листая...

– Тэээкс... Зверек-полоскун. Е-нот. Енот – нормаааальна... Лубочный горе-воин. Знаю, знаю – в прошедшем номере он был. А-ни-ка... За.биишь... Скифский меч... А-ки-нак...

– Но не сжимал ты рукояти скифского меча! А-а-а!

–Что? Зол ты? Значит нам пора! Пора, мой друг, на полку верхнюю, где будет нам вином – презренье, а хлебом – смех. Презри ты этих, копошащихся в двухмерности сканвордов и окорочков, для этого и полку жизнь тебе особую дала!

–Но вот ведь – время и усталость так похожи... Пресыщен вскоре ты. И ночь пришла уже, накрыла люд штампованной простынкой. И ничего нет уже, чем проход из кладок человеческих ступней. Проход до тамбура...

– Вполне скользят пейзажи за окном, но не о том движенье ты мечтаешь, чего уж проще – ты страдаешь от невозможности страдать, винишься в неспособности виниться. И ты идешь глухою ночью в тамбур, и молишься, и требуешь ответа... и рвешь, и чуешь – есть оно, движенье! В тебе! В тебе! В тебе!.. О... прошу прощенья... всего лишь перистальтика... гм... кхм... Идем, мой друг, обратно... А на встречу бегут несметной тьмой окорочка, твои окорочка...

Витас раскланялся под аплодисменты резиновых и сел на место.

– За окорочка, – сказал один, что посветлее, и разлил по стаканчикам.

– Поехали, ту-туу! – сказал другой.

Витас пить не стал, он устроился в углу и вжал лицо в колени.

Я тоже не тронул стаканчика и медленно отполз – никто меня не остановил. Встал, прошел в коридор, там дверь в темноте, открыл ее.

– Заходи, Андрюша. Видишь, все равно встретились. А у меня тут и стол собран.

Она сидела за откидным столиком, гаденько, заискивающе улыбалась. Потрескивали дровишки в титане. Щурились пропитые глазки. Рука метко, профессиональным движением налила в стаканы идеально ровные порции.

– Ты никак в дорогу дальнюю собрался? Давай и выпьем с тобой за это. Чтобы путь твой гладким был, а то у нас в поездах всякое случается, я уж насмотрелась за жизнь.

Я присел и, зажмурившись, выпил. Но по открытию глаз, она не исчезла – сидела незыблемо, реальней, чем следовало бы.

– Бабушка твоя при встрече все о тебе говорит, а о ком ей еще, Андрюшенька, ты один у нее, надежа. Все говорит и переживает, какой ты хороший, да только непутевый. Я и сама вижу, что непутевый, и друзей себе нашел таких же хороших, да непутевых. Жалко смотреть, как пропадаете вы. Смотришь, и помочь не можешь. Совет бы дать дельный, так вы советов не слушаете, каждый себе голова... да с больной головы на здоровую... Эхохо... Простоты чураетесь, бежите ее, к ней и придете...

– Пойду я.

– А на дорожку? Ох, ну ладно, мы с тобой теперь часто встречаться будем. Иди, а я за вас выпью, чтобы всем вам гладко ехалось. Выпью, выпью, а я уж как выпью, так все и сбывается, и будет вам всем моя надежа, простая, но крепкая.

И я пошел по коридору, пол шатало из стороны в сторону, что приходилось хвататься для равновесия за углы и стены. Слева и справа сидели люди, кто-то доставал перекусить – качалась в такт минералка в бутылке, кто-то спал, накрыв голову подушкой, тетка в косынке ворочала деревянным половником кипящие в большом чане простыни, клубился пар, запах хозяйственного мыла и мочи крепко обосновался здесь. Была среди этих людей и Аня, сосалась в темном закутке с мужеподобной, коротко стриженой бабой, видимо, это все, что досталось ей вместо принца, о котором мечтают девушки ее возраста. Была Кора. Смотрела невидящим взглядом, а в ногах у нее рыдал добрый сказочник и редактор Перфильев. Кора его машинально гладила. Перфильев был пьян и шептал: «Все еще будет, все еще будет». А Кора смотрела сквозь стены на проносящиеся сумрачные пейзажи. Черные, они дышали и проносились.

И вот, поднырнув под очередной бельевой веревкой, я увидел его самого – Горька подремывал на скамейке с закрытым ноутбуком в руках.

Плюхнулся без сил рядом. Я берег его сон, пока сам не погрузился в ту же безучастную, беспечную дрему...

19. Поезд жизни

До поезда оставалось чуть больше часа. Кора отругала за то, что не заперта дверь и я совершенно не готов, рассовала по сумкам какое-то тряпье, еду, в боковой карман – контрольные и рефераты. Вскоре мы уже стояли на остановке, в уличной слякоти.

Ветрено, люди опасливо отходили от бордюра, когда подъезжающие маршрутки разрезали колесами сбившуюся по краям дороги шугу и талую воду. Земля на ближайшем газоне – надежная, теплая, удивительно черная от влаги – усеяна прозрачными чешуйками льда, их неумолимо, как ржа, точили солнце и ветер. Внутри у меня было пусто и все же как-то сильно. Хотя ныли кости, сохло во рту и даже, казалось, глаза иссохли – с шершавой словно сухостью двигались они в своих гнездах. Но это лишь по периметру спокойной силы, утвердившейся во мне. Она гудела в моих ступнях, как это бывает, когда к станции на всех парах катит в ночи состав – гудит плита пассажирской платформы, волнуется вытолканный невидимым во тьме локомотивом воздух, и раз – вспыхивает солнцеподобно его прожектор, и несется на тебя, а тебе начинает казаться – что с гулом и грохотом, с развевающимися космами – это ты летишь сквозь тоннель навстречу свету.

– Как бы не опоздать... Холодно еще, не форси, Абэ, застегнись.

– Какой уж форс...

– На, прикрой шею, помнишь, вот и пригодился.

Я обернулся. Тот самый шарф – белый, пушистый, довязанный, наполненный особой значимостью – держала она в руках.

– Вот он какой, подходящий момент.

– Да, – Кора деловито намотала шарф на мою шею.

– Спасибо.

Однако слишком крепко намотала, опять же, значимость давила – я ослабил шарф.

Кора. Люди на остановке. У горизонта клубилась серая муть, а выше, к зениту, ее размыло до молочно белого, и молочность особым свечением ложилась на лица – худила их, бледнила, аскетическим равенством ложилась и на рыхло-болезненное, и на здорово-розовощекое лицо. Все мы были равны и иконописны, вытянулись, благородно вскинули головы. А за спиной у каждого, словно проваливалась земля, дробилась на песчинки, все более разгоняясь по открывшимся пространствам черной пустоты. И оттуда спутанный сонмом светящихся нитей... оттуда ледяным и страшным Своим дыханием дышал нам в плечо Бог.

– Матери ты, конечно, не позвонил... ладно, я сама. Плохо вижу... это наш?

– Да, наш.

Взяли сумки и залезли в маршрутку. Ехали молча, иногда Кора, перехватив мой взгляд, ободряюще улыбалась.

– Вот билеты, не обессудь, нижней полки не было.

Это мы уже на перроне. Рядом грязно-зеленая лента поезда. Иногда он испускает с шипением воздух, и люди начинают волноваться, заносить багаж. Поднимается ветер, с вокзальной крыши, с замазученных электроопор срывает он пепельные хлопья ворон. Кружат, кричат. Все так удивительно ярко впечатывается в меня – вороны, Полинка, вокзал – словно в последний раз, словно как только я встану на подножку, придет свора кинговских лангольеров и изъест здесь все, мирок дорогого мне прошлого, оставленный без присмотра.

Ах, ну да, я сказал «Полинка».

– Я тебе, вот сюда, смотри, – показывает на какой-то из многочисленных отсеков сумки, – положила карту метрополитена на всякий случай. Но ты же должен помнить, не в первый раз едешь.

– Да, не заблужусь.

– Сейчас еще Анюта должна подойти... Ну ты как, дружище?

Пожимаю плечами.

– Вроде жив.

Жив. Сила жизни гудит во мне. И в то же время, я вроде как и умер – умер мой князь, умерла мечта, ради которой я еду через полстраны. Золотой храм метасибирской культуры рухнул, став чуждым и непонятным словосочетанием. Прах его подхватило и понесло по окрестностям. И ничто пока не пришло на его место. И только ледяной ветер в лицо, в волосы, волосы в глаза. И только уверенность, что ехать нужно. А почему – не знаю.

Вот и Кора умерла, но есть Полинка. Стоит, улыбается, а потом хмурит брови, затянувшись сигаретой, и это я знаю, и могу протянуть ей руку, сквозь черные пустоты, взять ее руку, умиротвориться на мгновение, а потом понять, что меж сомкнувшихся наших рук таятся еще многие и многие пустоты, и протянуть руку сильнее.

И есть поезд, в котором смиренно и долго придется ехать, колеса будут отбивать «потом-потом, потом-потом», – а что уж там потом... и в принципе, мне поскорее уже хочется туда, внутрь вагона, ощутить этот первый мягкий толчок.

– Где же Анютка эта? – она уворачивается от порыва ветра, вжав кудрявую голову в воротник. – Черт, ну и холодрыга. Абэ, ты у меня молодец, я счастлива, что ты едешь.

Она хотела сказать еще что-то, но я резким движением сдернул стянувший мне горло шарф – не удивилась она и не обиделась, просто посмотрела так, беспомощно. А я хлебнул до краев, до мозга костей, ледяного ветра, судорожно, взволнованно выдохнул, как утопленник, который обнаружил, что может дышать водой, когда уж совсем истратился воздух, и легкие инстинктивно рванули заветного глотка.

И я делаю шаг к Полинке, нащупываю ее ладонь, сильно-сильно сжимаю. Незаметно подходит Аня, берет наши свободные руки своими холодными пальцами, замыкает круг.

А потом объявляют конец посадки, начинают лязгать железные ступеньки, которые проводники поднимают внутрь вагонов, я хватаю сумку.

– Помнишь, Борисыч? Скольких уж я так проводила, – Аня выгребает пригоршню медяков из кармана своего потертого пальтишка, отсыпает Полинке. А я уже там – внутри и далеко... Они стоят наготове, чтобы метнуть свои горсти под колеса вагона с первым толчком.

Алексей А. ШЕПЕЛЁВ

ПОХОД И ГОСТИ «КАННИБАЛОВ»

Рассказ

...тогда мы идем к вам!
Из рекламы

Итак, я решился если не на новую, то хоть на какую-то жизнь, и в октябре заплатил первый взнос за единственное жилище, которое было мне по карману. Сказать «сарай» или «каморка», мне кажется, ничего не сказать. Мы с О'Фроловым в начале нашего творческого пути уже квартировали как раз в таком же обиталище, именуемом «курятьник» – это почти невыносимо («почти» – потому что мы жили вдвоем, и над нами довлел только филфак). Как только я увидел знакомый абрис...

Наш друг Санич, едва осмотрев снаружи, сказал: ну и *берлага*! Те же доски-горбыли, заклеенные желтенькими обоями, те же дырья и паутина с ее обитателями, те же габариты, тот же дух и абрис каморки Раскольникова. Даже две комнаты – узкий коридорчик, в котором: печка АГВ, ведро помойное (как водится, вечно полное), ведро с водой (вечно пустое), газ, исторический холодильничек-мотор, два стула, стол; и через перегородку собственно комната – развалившийся разложенный диван, воняющий какой-то поганью половик, и кроме того, деревянный карликовый диванчик, обитый блядско-красным дерматином. Привез магнитофон – и вроде бы (скажете вы) и неплохо. Как только я попытался его потихоньку прослушать, то сразу понял, что это невозможно – с обеих сторон соседи, и слышно даже, как *они* ходят... А когда включился мой холодильник-малютка, они прибежали и попросили прекратить безобразие. Хорошо, подумал я, буду включать его, когда их не будет дома (и одновременно, соперничая с его небывалыми вибрацией и шумом, буду потихоньку слушать музыку). Когда включились *их* холодильники (не намного лучше моего) и телевизионные приемники (конечно же, исторические рыдваньеры, у которых громкость, видать, уж давно не регулируется – она просто *на всю*), я, опустившись на половик, стал молиться, чтобы у них не было магнитофонов и радио. Вскоре я осознал, что, как я и предполагал, на работу они не ходят и вообще мало куда выходят (как и я сам).

Потом все пошло тоже, как я и предполагал. Осенью протекала крыша, постоянно мигал, а то и тух свет (схлестываются провода на улице и гнилая проводка), зимой стояли небывалые морозы, и я буквально выходил греться на улицу: от того, что зажигал четыре конфорки, только выгорал весь воздух, а ночью (вернее, к утру), когда я снимал куртку, свитер и одни из двух штанов и ложился на постель, ощущение было такое, что ложишься в сугроб. Небольшой сугроб я частенько обнаруживал, когда просыпался, у двери – нанесло в щель... О том, сколько было еды, чем пахло и что будет по весне и лету, тоже нетрудно догадаться...

Алексей А. Шепелёв родился в 1978 году в Тамбовской области. Автор романов «Echo» (СПб.: Амфора, 2003, шорт-лист премии «Дебют») и «Maxximum exxtremum» (М.: Кислород, 2010), повести «Утренний закат» (Антология прозы двадцатилетних, вып. 4. СПб.: Лимбус Пресс, 2011), книг стихов «Novokain ovo» (Тамбов, 2000) и «Сахар: сладкое стекло» (М.: Русский Гулливер, 2011). Кандидат филологических наук (дисс. «Достоевский в художественном мире Набокова. Тема нимфолепсии как рецепция темы „ставрогинского греха"»). Солидер группы «Общество Зрелища», провозгласившей концепцию «искусства дебилизма». Публикации: антология «Нестоличная литература» (М.: НЛО, 2001), «Черновик» (Нью-Джерси), «Reflection» (Чикаго), «Футурум-АРТ», «Вавилон», «Дружба народов», «Волга», сайты «TextOnly», «Рабкор», «Частный корреспондент», «Мегалит», «Топос» и мн. др.

Расхаживая взад-вперед (комната, как вы поняли, *не очень* большая) по скрипящим дырявым половицам, с непременной надоедливой сигаретой в зубах, и делая руками рывковые движения, в какой-то момент я садился за стол, хватал скрючившимися лапками перо и с яростью записывал что-нибудь для своих первых научных статей (потом для романа и диссера – тогда я еще не знал, и даже не предполагал, каким камнем мне на душу ляжет эта моя «скандальная» диссертация!) – через несколько минут бросал и возвращался к гимнастике – зябко!

Идея вступления на тропу науки была генерирована мною с учетом шанса продолжить шествие по кривой дорожке своих студенческих лет (почти все воспоминания о них веселые, но горькие, а от некоторых волосы так и встают дыбом). Пару месяцев, не имея средств, я находился в родной деревне, и идея о жизни новой, и так меня истерзавшая, ретранслировалась мне отовсюду, даже из названия – чем не *знак*? – нашей районной газетенки. «Новая жизнь» – так, кажется, у Максима Горького газета называлась... Ни с кем не общаясь, я, в основном, лежал, отвернувшись к ковру, и охреневал от всё тех же омерзительных звуков телевизора, или, чтоб их не слышать, сидел часами в холодных сенях, отягощаясь всё теми же звуками холодильника... Дуализм культурных мировоззрений, когда брат на брата, как в киноэпопее «Вечный зов». Днем и вечером на экране домохозяйки, политики, менты, бандиты, бизнесмены и «прочие нормальные пацаны», философией и эстетикой коих и проникнуто все вещание. В «Доме-2» вечно горят «Окна», в зале всегда «Аншлаг», и всё это сплошное «Поле чудес», а точнее «Кривое зеркало», и никакая реконкиста невозможна. Кое-как выволочил в те же неотапливаемые сенцы старый тусменный – хорошо, хоть не от инея! – рыдван-телеприемник, не знающий средних градаций уровня громкости... И только после полуночи, когда все нормальные «рабочие» люди отправляются спать, на свет божий, такой лунный, как призраки, хромая и стесняясь, выходят великие диктаторы прошлого, ученые и люди искусства... Тогда еще сквозь жестко-детерминированную сетку вещания хоть ночью могло что-то просочиться.

Потом я начал прям с утра пить самогон, что «вечное возвращение» только укрепляло. Вспоминался мне такой же отвратный период, только почти в год – перед вселением в предыдущую мою «берлагу», которую иронически называли «мультимедийной квартиркой». 2000 часов работы над романом «Yes/No» – а работал я, надо сказать, вахтенным методом – неделю очень плотно писал в Пырловке (полный айсолейшен, степ бай степ, как поет певец, пока от монитора не ослеп радикально – только ночью медитативная прогулка на лыжах по полю за селом: серый снег, серое небо без горизонта, никого и ничего, или – высокая точка луны, звезды, блестящий снег, мороз...), неделю очень плотно квасил с Саничем в городе (сначала водочка, пельмени, газетка на столе, а после просто чемергес с карбидом и вода из крана!..) – короче, максимум экстремум, предел сил человеческих, как мне тогда токмо начинало казаться... А когда прочитал рукопись – такое ощущение, что написано левой лапкой куриной недели за две! Но зато и вместо скоро ожидаемых тогда «денег и славы» (кстати, как-то всё же достигнутых моими коллегами по премии «Дебют», и даже «не совсем в кавычках» – см. ниже) – сия «мультимедиа» – такая же изъеденная от корки до корки бедолажная лаковая берлага!

И вот я опять здесь, в центре мира эмоционального солипсизма, в подполье, пришиваю топорик к подкладке... Только непонятно нынче, где линия фронта проходит, теперь надо «схватить автомат и убивать всех подряд» – подошел к окошку, услышал звуки «Дома-2», перекрестился... Хотя ежели и к моей каморке подойти (иль к «домику в деревне»), услышишь то ж... Постоянно в голову такая вот побардень лезет – сие наверное как «проклятье места» (да и времени). Ведь расчет мой опять, как бы не учил сыновний трудный опыт, не на работу и преуспеяние, а на мифическую карьеру литератора – хотя бы в стиле героя моих изысканий (или я уж его, какая разница) Ф. М. Достославного...

...Сначала я обнаружил засунутое в щель двери промокшее дебютовское письмецо – несмотря на то, что начиналось оно словами «Дорогой друг!» и никаких материальных благ не сулило, я воспрянул духом, соблазнился, так сказать, хот-догом «хоть чего-то» и окрылился надеждой. «Дебют», конечно, был профукан (это только лонг-лист, дающий лишь обманно-беспонтовое

окрыление), но я прочитал про «Нац. бестселлер» и по своему простодушию даже стал донимать по телефону Кукулина[1], увидев его фамилию в номинаторах, чтобы он туда меня представил. «Всемогущего» Интернета тогда не было, а была молва о нем и некая на него тоже надёжа, да и вообще мне казалось, что главная проблема - переправить рукопись куда-то туда в зазеркалье, где живут нормальные люди...

Ночью я все писал, а днем ходил к Саничу и диктовал ему, а он набивал на компутере. Меня охватило что-то маниакальное – стараясь успеть к назначенному сроку (хотя Кукулин ответил как-то расплывчато и, судя по всему, просто вдруг выставлять какого-то безвестного меня не собирался), я весь был в лихорадке, почти не спал и не ел, нещадно теребил Сашу, обещая немыслимые завязи барышей и обильно заливая «производство» спиртуозом. Однако работа продвигалась все-таки недостаточно быстро: Саша взял комп у знакомых и еще не был виртуозом горячих клавиш даже в игре в футбол и гоночках – каждый пассаж типа «кавычки закрываются, скобка закрывается, запятая, тире» он встречал возгласом «Ума до х...!», а иногда и рукоприкладством.

Когда видишь, как твои ночные невнятные карякули выбегают буковка за буковкой на белое поле экрана, трансформируются в черную ровную цепочку окончательных, завершенных символов и слов, смыслов и форм, охватывает странное чувство. Набор печатными буквами придает восставшему из небытия творению легитимность, сродни обычным человеческим условностям обывательско-бытовой этернизации: «форма-бумага», «печать-подпись», «паспорт», «диплом», «визитка», «денежные знаки», и это так же пошло, но возвышенность чудесного процесса трансформации в том, что на твоих глазах отрывок твоего текста (кусок твоей жизни) приобретает завершенность, как человек в смерти, а писатель в собрании сочинений. То, что ночью казалось сомнительным, написано нервно-неровно, нечетко и с кучей прилепленных вариантов и вообще полуперечеркнуто, теперь уже монолит – и его не сразу вырубишь топором... иль расколешь молотком...

Почитай всю осень я невесть какими урывками, но все-таки почти постоянно слушал один и тот же диск – взятый у кого-то еще на 5-м курсе (всего полгода – очень новый альбом) «Майн кайф». Вокалисты «Агаты Кристи» перестарались с душераздирающим мерзким вокалом настолько, что слушать сие я решался только под двойным прикрытием гуда своего и чужого холодильников!

Особо непонятно, чем меня привлекало такое «квадропрослушивание», да и сама музыка и лирика. Как будто в этих текстах –

...за что я полюблю
такую же, как ты, когда найду...
Она меня полюбит и простит,
Она сама взойдет ко мне на ложе...

– отражалось мое напряженное (мета)физическое одиночество.

Ну и конечно, когда начинали шептать:

За окном снежинки тают
За окном кого-то

– и вдруг страшно орать:

Убивают!..

– хотелось и вправду взять на всякий случай топор: такое ощущение, что кругом алкашня, уголовники и им подражающие: постоянно ругань, мат, выбивание денег и походы за бухлом, а стены и окно здесь совсем символические, как из картона, дверь не на замке, а закрыта изнутри, как какая калитка на палку, на авторучку. Только и топора-то у меня нет – лишь молоточек для отбивания мяса с квадратною рифленою головкой.

[1] *Илья Кукулин (1969, Москва) – литературовед и критик, сотрудник журнала «Новое литературное обозрение», главный редактор сетевого литературного журнала «TextOnly».*

После прослушивания психическое мое состояние с невыносимого ухудшалось до какого-то сверхневыносимого, которое имело некий оттенок сладостности, который уже чуть не обезболивает. Выходить на улицу было стремно даже за водой иль в туалет... а больше-то и не за чем...

К зиме я нашел частичное спасенье – в зеленом змие и Саниче-синем, которые прекрасно сочетались. Кроме библиотеки (с большим трудом и уже под вечер) и два раза в неделю вечерних лекций (и то не всегда), я никуда не ходил, круг моего общения также был ограничен двумя прямоугольниками моего жилища и самим его вызывающим видом – приличному человеку, тем паче искомого женского пола, как такое покажешь?! – даже Саша-сан поначалу не полюбил у меня бывать, и чтобы заманить его, приходилось использовать заранее купленный на свои портвейн.

Не поверите, но сначала для того, чтоб достойно «свершить гекатомбу», нам хватало одной бутылки! Очень скоро мы разохотились до двух, а потом, как бы в трезвом виде стесняясь своего дозняка, с завидной стабильностью часа в три ночи отправлялись за второй и зеленым горошком («Бутылку портвейна и бутылку горошка!» – два-три раза в неделю будит продавщиц пьяный бас поебаса Саши). К весне мы стали приобретать сразу четыре, а к утру еще ходить за бутылочкой 0,5 отвратной бормотни (запас портвейна в «нашем» ларьке за неделю-другую исчерпывался нами полностью!), которую я называл «Вишневый романс» (только вот недавно, впервые увидев эту гадость на трезвый глаз, я понял, как я жестоко ошибался: на самом деле она имеет названье «Вишневый аромат», а лучше бы «Вишневый сад» – от утрированно сладостно-утратной горечи!).

Надо ли говорить, что с такими аппетитами каждая приличествующая делу гекатомба норовила перейти в довольно разнузданную кономамбу. О златые, золотой мой Саша, времена!.. О сколько выпили, как крови, мы вина!

Однажды к нам все же внезапно (как-то встретили в рюмочной, по пьяни пригласили, объяснили, да и забыли) забрел наш друг поэт М. Гавин. Он, как во хмелю и обещался, принес Саничу набрать рукопись своей книжки стихов – как у всех порядочных людей, живущих «по типу самообмена», официальный повод визита. Сборник он назвал «Т. Книга», под стать названию всех книжек серии «Библиотека Академии Зауми»: у Бирюкова вышла «Книгура», у Федулова – «Книгирь», а О'Фролов и вовсе грозился замастачить и издать «Книгох...»! Ясно осознав и представив, где и с каким разнообразием нам всем придется провести все время «установочного симпозиума», он пригласил нас, укорененных домоседов и адептов бытового пьянства, *пойти в поход*. По дороге он пообещал «проспонсировать проэкт» – по традиции обильно запить «обсуждение макета сборника» портвейном.

И вот мы уже выпивали два баттла «72-го» на Кольце у Вечного огня, Миша опять нас веселил.

– А я-то вчера где побывал – ой, бля-а-а-ать!

– Бомжатничек жесточайший?! – радостно предугадывал брутальный Саша.

– Сорок лет?! – вторил я.

– Блин, вообще, – смеялся до покраснения сам новоявленный «славный русский футурист» (так в автоаннотации к сборничку), – пошел я от вас в тот раз... – ну, понятно – ну и смотрю: баба какая-то на остановке... ну и я... а сам пиво пью... Можно, говорю, с вами познакомиться... Она сначала отнекивалась, а потом и пиво выглотала и говорит: возьмешь бутылку водки и пойдем ко мне... Короче, в такой клоповник попал – даже и не знал, что такие у нас существуют – ни хера вообще нету, каморка какая-то, хуже чем у Достославного и Платонова, кровать в какой-то х... йне, еще мать за занавеской, и каждые полчаса какие-то алики приходят – не то ё..ри ее, не то просто мужики...

Оказалось, что он скорешился со всеми этими обитателями дна – в основном со «стремными бабищами» – и теперь вел нас в посадки под мостом показать, где они тусуюся. По дороге он рассказал, что у него есть две новости-истории из его деревенской учительской жизни: первая – в 9-м классе есть девочка годков о пятнадцати, которую он любит – «не то что там хочет отсегрегатить», а *любит*; а вторая, что бабы-учтиля там испивают самогон почище нашего, и ведут себя не хуже своих подопечных: одна училка прям в школе, в учительской... настолько отвратно-заразительно

ржала-заходилась, что аж перданула – да видно, неудачно, – но не смутилась, и все хохочет: «Ох, я обосралась!..» – мы с Сашей, в общем-то не любители таких тем, всячески удивились и удохли, потом сплюнули, однако, так и не поняв, какая из новостей хорошая, а какая плохая.

Затем «наставник и друг молодежи» (из той же аннотации) поведал нам, как пришли к нему в гости ученики (прикол и фокус в том, что он говорит совершенно нетеатрально-серьезно, но вещи всё уморительные по своей наивности и нелепости). И девочка та тоже пришла. Она сказала, что любит рэп, особенно Эминема...

Поход это все же не сидение на лавочке, пока не обдуплетишься так, чтоб на ней озябнуть, – пришлось идти за речку в посадки.

«Я, короче, им говорю: рэп – это отстой, ребята, говорю вам как педагог. А вы, Михаил Юрьевич, что же сами слушаете – Бетховена наверно? Я говорю: «Раммстейн». Они удивились – ну как же так? Я говорю: ничего, в принципе, это одно и то же – во-первых, они оба немцы...» – мы с Сашей буквально покатились под гору, укатавшись при спуске с насыпи моста, и даже так и не выяснили, что во-вторых и т. д. – еще одна удивительная способность М. Гавина перескакивать с темы на тему и тут же совсем забывать, о чем вел рассказ только что.

Он провел нас настолько тайными тропами, что мы поразились. Тамбов с этой стороны, со стороны Цны и ее набережной, плоский – здесь, на сем берегу, тебе самый центр, парки и пляжи, а через мост – хилые дачи, а чуть в стороне от них – в низине у автодороги – болотистая дрянь, сорниковые дебри, густые кленовые заросли, переходящие в лес. Тут, говорят, частенько находят трупы – жертв криминала или даже маньяков – впечатление такое, что сии места, прости господи, словно специально созданы для такого рода деятельности. Проходя все эти лабиринты, мы выходили на какой-нибудь пятачок, экскурсовод объяснял, кто здесь тусуется, показывая грязные признаки цивилизации – угли костров, всякие бутылки и пакеты, презервативы и тампоны, блевотину и фекалии, надписи на стволах деревьев. Нам все не нравилось, и он заводил нас все дальше и дальше вглубь, а мы все поражались, насколько эта система разветвлена – тут целый лагерь подготовки боевиков «Аль-Каиды» можно укрыть, и, кстати, он как раз будет граничить со скрытыми в плавно начинающемся здешнем лесу военными объектами.

Наконец мы утомились и укоренились, присев на глобальное вертикальное бревно. С собой у нас было два. Пока они оба открывали, шкрабая ключами от своих городских родительских квартир, сразу оба портвеша, я подумал, что такие вроде бы и абстрактные на вкус нынешних наших государства и общества качества, как уровень культуры и интеллекта, здесь особенно наглядно материализуются. Конечно, это все и на лбу написано, умели бы читать, и так постоянно проявляется, но в городе, в толпе и потоке, все как-то безлично, можно и ошибиться. Внешность, она, хоть и редко, но обманчива: вот хотя бы сам наш пиит Михайло – самый живейший пример... А стоит компании выехать *на природу*... Я-то, будто стесняясь, собираю-ломаю меленькие сухие веточки, все почти с земли, жгу их в небольшом костерочке... и тем не менее, без топора, мангала и прочего всегда отменно могу изджярить мясо, вах!.. Мы, хоть и выпиваем, люди тихие и добрые, любуемся, пьянея, природой, травим байки, ведем глобальный коллективиум, даже бутылки иногда собираем в пакет... А здесь – агрессивность, «размах-замах», злобное скудоумие и уже какое-то метафизическое блядство так и впечатаны грязным ботинком...

Миша поведал нам, что в основном его деятельность «в системе» связана с внесением некоторых сумм денег на бухло, в результате чего он – по своей особенной привычке к потаенному разврату – весело проводит время; но он научился даже зарабатывать – «уже двух пидоров развел», приняв от них деньги и напитки, уклончиво обещая «активно дать им перорально». Вообще он тут, как и в деревне Борщовке, пользуется авторитетом как богатый, странный, но в чем-то даже башковитый и продвинутый чел и, кроме того, половой гигант. Это, конечно, несколько дутый сегмент эго-бытия, но, однако, все равно приятный... У всех, рассказывает он важно, прозвища такие ублюдочные, почище моего Володи Куриной Лапки, а у меня цивильный самый кликофон – «Михаил-Юрич» («Жалко, что не Эм Гавин!» – вставляем мы). И вот девочку ту ему очень жаль – в отличие от учительницы...

Глотаем-курим, и далее Эм Гавин (см. титул сборника, он же Р. Веревкин, он же – «для детей и геев» – Михаил Юрьевич – своеобразная контаминация барчука Лермонтова и босяка Горького!) изложил нам суть своей недавно открытой теории:

– Каждому человеку не по делам и грехам его воздается, а по тому, сколько он *сосал*, – заявил поэт, опрокинув порцию дряни из пластиковой дряни-стаканчика – обычный набор всех современных русских поэтов и прочих неформалов-интеллектуалов, еще не ставших с большой буквы «Настоящими».

– Что же ты, Михайло Юрьевич, несешь! – синхронно поперхнулись мы с Сашей.

«Пластмассовый мир победил...» Самый ходовой товар – баклажки, стаканчики и презервативы. Пластиковые андроиды, что твой Энди Уорхол в каком-то рассказе Лимонова, мечтают о надувных резиново-пластиковых электроовцах!..

– Я не в том смысле сосать, – поправился выступающий, – важно, сколько у человека СО-Сов, то есть сколько раз за свою жизнь он звал на помощь, обращался за ней к другим людям: на надгробии у всех должны стоять не годы-даты жизни, а количество SOSов: такой-то такой-то Иванович – 235 SOSов, 1846 SOSов!.. Или там – 2 SOSa, 5 SOSов – чем меньше, тем лучше – не вышел из десятки – в рай попадаешь...

Мы это пытались осмыслить в дискуссии, подсчитывали, у кого сколько могло бы быть, потом дискуссия и вовсе перешла в плоскость обсуждения биологической/божественной природы человеческой жизни, наличия/отсутствия здесь «снежного человека» и маньяков и, конечно же, несомненной пользе алкоголизма для философско-поэтического мы́шления. Помню, в припадке вдохновения я, задействовав код подручной невербальности, продираясь сквозь дебри криптозоологии и принто-онтологиии, наглядно показывал «суть человеческого устройства» на расщепленном стволе гнилого дерева – причем как-то поразительно удачно, так что слушатели зело дохли и аплодировали остроумию лектора.

Только за счет проводника выбравшись из чертогов сих, мы прошли обратно на Кольцо (тут, коль знать *ходы*, рядом), осели на лавочке, а потом взяли еще литр сэма (тоже совсем неподалеку) и, уже заканчивая его, увидели нашу общую знакомку Эльку Зельцер, судя по прозвищу, не монашенку или поэтессу. Она была прям обрадована, позвала нас к неизменной своей мусорке, показывая путь своей несуразной сумкой с баклажкой. Она, видите ли, договорилась с двумя «упырями» выжрать, даже принесла им из дому домашнюю бражку, а они что-то не пришли, уже почти час ждет не дождется – какое совпадение! М. Гавин был ей официально представлен как «лучший поэт Тамбова» Поэт, галантно извинившись, что не захватил визитной карточки (вообще-то *«Дипломы и рефераты. Быстро и недорого»* на отрезке обычной бумаги, однако, судя по лицу Зельцер, в благородном прононсе Михаил-Юрича она так и считала: «*Лучший поэт Тамбова*» с золотым тиснением), и прям от себя, чего обычно нелегко дождаться, начал читать:

у цветка мысли должны быть
яркие и пахучие
цветочные

у кирпича мысли должны быть
твердые и красные
кирпичные

а если вы обнаружите
у цветка мысли кирпичные
у кирпича мысли цветочные
все – равно ничего не изменится
неужели так не может быть

даже если кирпич упадет на голову
кирпича никогда не было да

даже если цветок роза заблагоухает
никогда не было никакого цветка

были:
собака Дина
Вероника
и Володя Куриная Лапка

Зельцер стала лыбиться, как-то отворачиваться, мы с Сашей-сан тоже улыбались. Вспомнилось, как еще ранний Миша читал свои «поэзы» на праздничном вечере на филфаке: поскольку факультет «бабский», пригнали целую когорту курсантов. В ожидании дискотеки, пьянки и разврата они вынуждены были присутствовать как массовка и на поэтическом вечере (он еще был в рамках какой-то научной конференции); их рассадили по периметру сцены – мол, пусть культурный уровень повышают – тут выпростался юный М. Юрич, метивший в аспиранты, ходивший в отличниках и в огромной ондатровой шапке, состоявшийся поэт, намного более лиричный, чем сейчас, нервно-обнаженный, гиперсловотворческий и т. д. Но главное даже не то, что он читал, а как – он произносил все проникновенно-жалобно, довольно тонким голосом, нараспев и немного в нос, сильно интонируя первые слоги и махая руками:

Ма́-ма ма́-льчика л-лю-била!..

Для «зеленых» это был такой культурный шок (такого и по ТВ не увидишь, а тут они всем скопом сидели прям вокруг этого завывающего «идиота» – причем их ровесника!), что они, как не крепились, не выдержали и начали ржать: многие попадали со стульев, и выползали, закрасневшись и залившись слезами, из зала...

Умудренный опытом, декламатор сразу перескочил на немного другую тематику, видно, навеянную недавними приключениями «на дне»:

и я блатной
пришел к тебе менжовка
из притона
за телевизором самсунг

Но потом, все читая и читая, незаметно увлекшись сам, и, как ранний, наращивая риторику и запределивая интонацию, опять скатился к личной экзистенциальности и к постоянному для всей его лирики набору персонажей, которые своей вездесущностью давно забавлял нас с Саничем:

ах Эм Гавин значит о ш и б к а да?!
а я подозреваю
что эм гавин и д и о т
вот тот же
но он уже давно сгнил
лесбиянки пытали
в селе Карачарово
и никто не знает
кем он был
у всех на уме:

собака Дина
Вероника
и Володя Куриная Лапка!..

Насос, сказали мы. Представленная поэту сказала, что вообще-то уже имела честь, но с того разу совсем не узнает. И немудрено – вместо своего обычного сельповатого, чуть ли не есенинско-клюевского видона он был обряжен теперь подлинным футуристом: дорогие спортивные штаны, навороченные кроссовки, модная толстовка, короткая стрижка, золотая, хотя и не в палец толщиной, но видная, цепочка. Минимальная мимикрия, оправдывался поэт, – хоть для милиции...

Мы все автоматически пили, ничего уж не замечая вокруг, и вдруг... прямо около нас возникли менты и спросили, кто старший. Еще довольно свежий – по сравнению с нами! – Эм Гавин признался (правда, на вопрос, сколько именно ему лет, он всегда – мы уж Сашей дважды слышали – отвечал несколько своеобразно: «Кажись, двадцать семь... Или двадцать восемь, что ли?..») и нашел с ними какой-то предельно конкретизированный общий язык. Вскоре они мало-помалу исчезли (то ли из-за внушительности Михаила Юрьевича, то ли из-за того, что пили мы все же не водку или порту, а не понять что) и сполна «выполнивший свой долг» (сборник, экскурсия с теорией и отвод напасти) Миша тоже отправился «пораньше домой».

«Ага, домой – в бомжатничек прямой путь!» – шепнул мне веселый Санич.

И вот уж в феврале, будто взяв пример с авторитетного «старшего товарища», мы тоже стали раз от разу, а дальше регулярно, выходить «в поход». Конечно, поход в три-четыре ночи до ларька тоже уже сам по себе поход: на улице благодать, никого нету, можно спокойно орать, барахтаться и валяться на снегу, – но мы решили изобрести нечто более концептуальное. Неторопливо откушав по бут*и*лочке в застенках, мы брали ножи, стаканы и выходили на свет божий, вернее, темноту (ул. Пензенская, как вы поняли, мягко говоря, плохо освещена). Купив портвейн и горошек, мы отправлялись по названной нашей улочке до ее конца, делая в некоторых местах привал, чтобы выпить. Вскоре мы тут скорешились с четырьмя котами, которые обычно несколько десятков метров следовали за нами, получая за то горошек...

Кончается улица своего рода тупиком: целый ряд гаражей, а прямо за ними – обрыв. Справа от обрыва – долина с холмами и оврагами, речка, а еще дальше, в радикальной и довольно далекой низине – несколько домов, в ограде одного из которых высится высоченная, просто немыслимая елка – надо ли уточнять, что целью нашего похода была именно она.

Просто дойти – как в компьютерной игре, – но это не так просто. Чтоб попасть в долину, нужно пройти сзади гаражей по очень узенькой кромке над почти вертикальным десятиметровым обрывом – пройти так можно, но в двух местах углы железных гаражей преграждают тропку, и нужно, держась только замерзшими руками за почти плоские бока гаража и наступая только на какие-то непонятные коренья, отпружинить от них, удержавшись в полушпагате над пропастью и переметнувшись-перегнувшись через угол, приземлиться одной ногой на наледь, с которой тоже, сами понимаете, чудом не соскользнуть вниз. Если туда упасть – отовсюду торчат железяки и всё усеяно мусором – то всё, но идти-то надо!

Когда я осмотрел это весной, при свете солнца и без потакающего змия-советчика в голове, я не поверил, что такое возможно – но мы это делали, и не раз! Друг друга подстраховать было нельзя, большую проблему составляли бутылка (или две) и ножи, но мы все равно лезли! Это была такая реальная опасность – всего-то в двух сотнях метрах от цивильной безопасности дома и города! – что казалась нереальной. За несколько минут адреналин зашкаливал, совершенно вытравив змия (надо сказать, что уже по улице мы следовали некрепкой походкой) и придав всему абсолютно бессмысленный смысл. Далее мы забирались на холмы, довольно высокие, выпивали на них, курили, после чего ложились плашмя (не забудь покрепче заткнуть бутылку!) и таким манером скатывались вниз. Потом еще шли, съезжали на ногах по узкой ложбине на краю оврага и попадали в низину. Там были огороды, и надо было перелезть через ограду с колючей проволокой. Огородами добирались до дома, забирались в его обнесенный железным забором двор и... обнимали елку, выпивали под ней – в окне горит свет, на цепи разрывается собака, и сто́ит только... – короче, тоже полный экстрим...

Когда пришла весна, тоже однажды предприняли было анабазис: я немыслимо исхуевил

одежду (куртку пришлось выбросить), а Саша, более трезвый и меркантильный, чем я, даже не стал «кататься» – на этом все и закончилось.

Но мы уже давно практиковали и старый добрый бытовой с сокращенным вояжем до ларца. Маргинальный экстрим-экстремизм и тут нас настиг...

Еще по осени мы, бывало, разгорячившись и начав потихоньку прослушивать «Сто лет одиночества», не выдерживали и зачинали прибарахтывать – вскоре мы изобрели некую суррогатную его, барахтания[1], форму, при которой разрешалось выделывать руками, вихляться и трясти головой, но строго запрещались прыжки, оранье и прочий деструкцион. Когда я привез «Русское поле экспериментов», часть 2, с его подмешенным к гитарной лирике ржавеюще-рычащим звучанием, ржаво-режущим вокалом Летова – так вот откуда растут скрюченно-когтистые суперкуриные ножки «Майн кайфа»! – мы, подпив, стали иногда выходить из-под контроля и рамок приличия, и, дергая на груди куртки (холодно ведь) и делая безумные лица, вдруг начинали яростно вторить надрывным напевам:

Жало скрипнуло на зубах!
Мясо вскрикнуло под ножом!
Насекомые извиваются!..
Насекомые копошатся!..

На-се-ко-о-мые стерпят все! –
Само-контроль есть само-контро-о-оль!!!

А потом Саша сподобился-таки купить кэннибаловский «Vile»[2], принес его ко мне, и стало происходить нехорошее...

Потрясение наше от музыки сей было столь глубоким и всеобъемлющим, что мы решили не стесняться того, что наша человеческая суть осыпается с нас, как побелка – а побыстрее стряхнуть ее всю. Мы прямо днем взяли четыре портвейна, включили магнитофон (потихоньку, но чуть погромче, чем обычно) и, встав в питекантропические стойки, начали в такт «шарманке» наяривать себя кулаками по лодыжкам, тряся бошками, а главное – как перезревшие, охрипшие и жаждущие по х...ю чьей крови мишутки «подпевать» (в основном это были отрывистые басовые «ы», откровенно животное рычание и еще что-то, не поддающееся никакому определению). В лицах у нас была одержимость и злоба – искренняя, беспредметная и лезущая наружу – мы даже пару раз друг друга укусили. Но разойтись нам не дали – стук в дверь. Сердце в пятки... клыки и когти...

---

[1] Так мы называем свои своеобразные, практикуемые уже много лет танцы.

[2] Альбом группы Cannibal Corpse, название переводится как «подлый», «низкий», «отвратительный», анаграмматически оно прочитывается как evil – «зло», «порок» или live – «живой».

Cannibal Corpse – американская метал-группа, играющая в стиле брутальный дэт-метал, одна из прародителей этого «самого жесткого» стиля. Обложки альбомов и тексты песен группы связаны со смертью, насилием, изнасилованием, некрофилией, фильмами ужасов, зомби и людоедством, за что музыкантов очень жестко критиковали. По тем же причинам выпуск альбомов CC задерживался, а их продажа запрещалась во многих странах мира.

Группу запрещали в Новой Зеландии, Австралии, Корее и частично в Германии. По сообщениям СМИ, один подросток пришел в школу в майке «Butchered at Birth», что морально травмировало учительницу. И когда эта женщина вошла в состав правительства, первым делом она запретила «Каннибалам» играть песни с первых трех альбомов, а заодно и велела подвергнуть цензуре оформление альбомов. В Корее продавец, торговавший дисками CC, и вовсе сел в тюрьму. В США тоже имелись проблемы: били тревогу родительские комитеты, а кандидат в президенты Боб Доул клятвенно обещал, что группы CC при нем не будет.

В ответ на обвинения что музыка CC уменьшает чувствительность у людей к насилию, один из участников команды заявил, что поклонники дэт-метал наслаждаются их творениями только потому, что они знают, что насилие, изображенное в лирике, не является реальным: «При том, что у нас есть ужасающие песни, мы не вешаем людей и не истязаем их на улице, и я думаю, что различать искусство и реальность – положительное усовершенствование для любого общества».

Открываю – М. Гавин! Как ты меня нашел? Как, как, говорит, это, говорит, как свинья и грязь, а вообще я ж у вас уже был, забыли?! Что делаете? Ды вот – «Кэннибал» слушаем, отвечаем, потупив взор. А, это нормально, самым заштатным своим тоном отмахнулся поэт, доставая из своего мешка самогон. «Блять, что ж ему тогда ненормально?!» – взревел Санич, включил шармань, и мы немного выказали себя. Миша сказал, что и это нормально, и мы выпили самогон. «Надо по делам», – всего лишь чрез полчаса многозначительно намекнул он. Ага, понятно, какие у тебя *дела*! – задорно прорычали мы, сами выжидая убавления «участников регаты». Когда он все же ушел, мы опять принялись за свое – за этим занятием, совсем, как вы понимаете, не разнообразным, мы провели часа три.

Может и правда, что забота о хорошей карме, по крайней мере, как вкус в искусстве и культуре, есть дело притворное, если не ложное. В королевстве кривых зеркал, нашем искривленном мире, чтобы стать истинным «сатанистом» и «каннибалом», надо слушать не «Канни́бль корпсе́» и «Блад эксис», а просто пойти в Кремлевский Дворец на Киркорова, Петросяна или гала-концерт «Аншлага»!.. А это как раз *нормально*!

Когда пришел еще один гость (то никого вообще, а то на тебе!), он застал произошедшие в нас необратимые изменения. Обезумевший Санич с порога с брутальным ревом накинулся на него и начал кусать – причем никак не понарошку. Это был Сашин однокурсник Михей – он принес пельмени и ганджубас и даже надеялся, еврей, не погребовав «комфортом» берлаги, у меня переночевать. Как-то Саша ему проговорился о притоне, а он вот по оказии и прискакал.

Надо ли говорить, что ночь сия стала для него кошмаром. Саша, озверев, пихал себе в рот молоток для отбивных (и умудрился засунуть всю его рифленую головку!), бил им всех по коленям; я засунул себе в нос тоже довольно большую железку от ключа для закатки банок и тыкал всех ножом. Вскоре появились синяки и царапины, но главное – все руки и лица у нас были в отметинах от зубов.

Прям в таком виде, а еще с молотком и ножом в руках, и ни на минуту не переставая бичевать свои отсохшие уже ляжки и рычать, мы отправились в магазин за порту.

Идешь и смотришь – *и видишь*, видишь, непосредственно чувствуешь *все*... Капитализм – каннибализм с человеческим лицом: сверху все шито-крыто, а изнутри люди как короедами прожраны, ютятся в бетонных – а то и горбыльно-картонных! – клетках, пронизанных вездесущими волнами «Дома-2» (даже у меня приемник в магнитофоне сам собой ловит – не надоть даже особо настраивать!), и одобряют червивку из суррогата и гнилых яблок! Кто-то, как Репа иль Кольмач, «расширив лошадиный нос на корытце в продажной политической конторке» (по словам О'Фролова) иль в мерзкой газетке «Жутье-былье»... «Жулье-бытье»... засасывает теплую халявную питательную кашицу, захватывает, и воздвигается в добротных квартирках на 7-м этаже, по соседству с китайским рестораном... Сюрреалистический маст сюрвайв, дрянное-бренное!

Жалко, что батареек нет и магнитофон не взять с собой, как в позднесоветские годы их повсюду на ремешке таскали. Или собственно шарманку бы наперевес... Был бы щас не Санич, а Максимий Рыжкин, он бы свои нудно-похмельные наянно-клянчащие песнопения исполнял, покручивая ручечку, под коловую лиру[1].

«ДВА ПАР-ТВЕЙ-НА-А-А!» – во весь свой брутальный большой мешок проорал в павильоне Саша-сан, наяривая молотком по ночной арматурной решетке. И мне не было ни стыдно, ни страшно – все человеческое ощущалось уже как всё сжимающаяся, светящаяся точка на периферии безбрежного, темного и свободного бессознания. «Вот они, двое из ларца!» – видимо, подумала продавщица, очевидно, признав нас, растерянно улыбаясь. Не сумев посчитать деньги, я швырнул их – монеты раскатились, Саша рванул на себя бутылки – и мы, полусогнутые и порыкивающие, не обращая внимания на прохожих (был только вечер) и обращая их внимание на себя, неспешно поплелись в берлагу...

[1] *Имеется в виду колёсная лира (по-белорусски – колавая ліра) – струнный музыкальный инструмент, по форме напоминающий скрипичный футляр. В России колёсная лира получила распространение в 17 в. Инструмент освоили нищие и слепые бродяги, «калики перехожие». Звук колёсной лиры мощный, грустный, монотонный, с небольшим гнусавым оттенком.*

«Давай его сожрем!» – прорычал Саша у входа. Я ответил яростным рыком одобренья. Войдя, мы завели шармань и набросились на бедного Михея – минут на сорок нас как будто совсем забрало (еще и долбаная шмаль) – он отбивался как мог корректно, но видно уже вправду струхнул, что мы тронулись умишком. Мы и сами не знали, что с нами происходит... Миху, которого мы довольно-таки искусали и изодрали, утешало наверно лишь то, что как только мы закончили с ним, принялись с таким же остервенением грызть друг друга. Почти всю ночь мы не спали, от рычания уже охрипли...

На другой день, едва продрав глаза, завели шарманку... Рычание воспринималось уже почти как дыхание. Саша не собирался уже ни в какой институт и вообще никуда. Кое-как изъяснившись, он попросил Миху занять ему денег, да побольше.

Когда Михей все-таки пришел вечером и даже привел с собой чувака «посмотреть на долбоманов», мы приветствовали их всё тем же. Чувак пытался выяснить у Саши что-то насчет какого-то реферата, но Саша отвечал невнятно, а потом явно предложил его сожрать, и Михей поспешил его увести. Мы же купили два портвейна и еще часов пять кряду стояли в стойке, наяривали и позвериному рычали, отвлекаясь лишь на то, чтобы выпить, поссать и перевернуть кассету. Потом решили прекратить и как бы обсудить.

«Йа не ма-гу боль-ше нармал-ны раз-гава-рива-вать!» – прорычал Саша. Я укатывался, сначала над ним, потом над собой (говорить-то я еще мог, но тоже уже не мог не рычать – как же я завтра пойду на кафедру?!), а потом мы решили забить на обсуждение, осмысление, занятия и все остальное и предаться всемогущему зову природы. Отбарабанив (ы! ну очень частый ритм!) по коленям две стороны кассетки, взяли молоток и нож и пошли за вином...

Надо сказать, что дом наш находится не на улице, а на задворках, и здесь, хоть режь, кроме соседей, самих занятых делами нехорошими (с неизменно в таких случаях воссоздаваемым самым, блять, что ни на есть наиприличнейшим видом!) никто не услышит. Вчера соседей, тех, что семейные, не было, и нам повезло... Короче, дорогие, в два ночи стук в дверь... Саша убегает в соседнюю комнату, я убавляю шарманку и иду открывать дверь...

«Да что ж это такое-то! – весь день и всю ночь возгласы какие-то нечеловеческие! Сколько живу, никогда такого не слыхала! Шо ж это такое-то! Вчера мне соседи сказали, да я не поверила! Милицию вызову, психушку!»

Я, только вот перестав рычать, стоя на пороге в разорванной майке с растрепанной бородой, раскушенной окровавленной губой, искусанным лицом и молотком в руке, внезапно понимаю, какое впечатление произвожу, – и вдобавок я стою один, – то есть это я *один* двое суток, закрывшись в своей каморке, зах...риваю!..

Бр-бр, вспоминаешь теперь, и поражаешься, как мы терпели весь этот массакр и макабр...[1] А хрен ли «терпели» – сами и создали! В тексты мы не вдумывались, да они и непонятны при гроулинге...[2] прямой удар, укол жала в подсознание – и нас, проспиртованных отравой, не воротило и не тошнило!..

Как в детстве читают тебе сказку – и вдруг появляется «Людоед» – смотришь на картинку: страшный такой дядька, славный... Бородач с бородавкой, на Манер Карабаса Барабаса – а если б знал, барбудос а-ля Фидель Кастро! – в кожаных штанах, в сапогах-ботфортах, с ремнем с большой пряжкой... с засунутым за него большущим кривым ножом... с клыком и в шляпе... И людоедство это как-то не пугает – что и те ж немыслимые перверсии в альбомах «Канни́бля», не ужасает, как тихий и вкрадчивый ужас повседневности...

---

[1] Англ. massacre – «резня, избиение, бойня»; «устраивать резню».
Фр. maccabre – танец смерти, средневековой обычай, состоявший в пляске, которая происходила на кладбище и заключалась в подражании воображаемой пляске мертвых.

[2] Гро́улинг (англ. growling – «рычание») – прием пения с расщеплением связок в некоторых экстремальных музыкальных стилях, в основном в блэк-, дэт- и дум-метале, а также в грайндкоре и дэткоре. Звучит примерно как утробный рык, исходящий из области живота вокалиста.

Я попытался сделать человеческое лицо и что-то сказать, но этого, кажется, не получилось, и я скорей закрыл дверь. Рычать мы не смогли прекратить – стали рычать потише, да и портвейн еще остался...

Каких колоссальных трудов на другой день стоил выход в мир!

Как вы понимаете, я старался, но человек не бесконечен, так прошел почти год, и вскоре я практически перестал писать тексты и статьи, а тем более, претендовать на скорую мегаизвестность. Зато на Рождество ко мне пришел Кукулин!..

Удары в дверь, просыпаюсь с мегапережора. Открываю (сугроб в пороге, все в белом, режущем глаза белом свете...) – шерстяные, целая ватага, лет по 11-12. «Чего?» – не понимаю я. «Славить», – отвечают они, но я понимаю не сразу. «Щас», – поняв, закрываю у них перед носом дверь и скачу босыми лапками обратно. Дверь со скипом сама раскрывается, но они и не думают петь. Тереблю штаны, выгребая мелочь. Высовываю руку с полной горстью монет, и тут же опять запираю дверь, ложусь, закуривая, трясясь. Вот ведь – *Рождество*!..

Через полчаса – новые удары, начинаю раздражаться. Открываю – Кукулин. «Привет, Алеш», – говорит, как всегда, щурясь: с усиками, с чемоданчиком в руках – короче, сам лично Илья как он есть. Особо не показываю удивления, но сам-то думаю: вроде как и не сплю – значит, крышечка поехала... «Я по газу», – говорит он, войдя, надвинув очечки, осматривая АГВ (а я лихорадочно собираю с пола рукописи). «Газету?..» – растерянно соображаю я, думая, что, может, не расслышал.

Веревку, привязанную к газовой трубе, надо снять. Потом сниму, отмахиваюсь я, все равно мне нечего на ней сушить. Да нет, кряхтит литератор, встав на табурет, сматывая веревку (посланник небесный – ведь вскоре мне, может, не хватит именно ее!), распишись вот и готовь стольник. Я говорю, что у меня только пятьдесят, да и то последние. Ну ладно, покряхтывает он, глядя на ополовиненную бутылку «Вишневого романса» на столе, сегодня ведь праздник – я вот только к тебе да еще к одному труднодоступному клиенту – наливай...

Когда он ушел, и я пошел за добавкой, то в ларьке уже, увидев на витрине пирожные безе, даже сначала передумал брать на последние «как обычно»... но тут внезапно столкнулся с утренними шерста́ми – они, дружно подбивая доход, покупали на шестерых три баклажки пива...

<2004>

Евгений СТРЕЛКОВ

В ПОЕЗДЕ

multis latebra opportuna fuistis
(многим служили приютом)
овидий

дрожащая тень пантографа
на пожухлой листве
поодаль бегущая рыжая шкура сучья
балки и впадины по сухой земле
дубов корявые сучья

и паутина паучья
развешенная поверх облаков
зацепившись за крючья
этих самых дубов
в оправе небесной рамы

и вороны на проволоке меж столбов
– метафора телеграммы

их жирные точки поверх тире
словно азбука морзе, да?
протокол в такой старинной игре –
беглый взгляд из окна поезда

И

и редкие пассажиры
на перекур застывшие
(лишь дымков колыханье)
на перроне станции – её названье
табличка
на водокачке:
ртищево-один.

и каждая дама, каждый господин
суть солнечные часы.

и равномерность движенья
состава со штабелями
деревянного бруса
лишь подтверждение изумленья

Евгений Стрелков – художник, литератор, редактор альманаха «Дирижабль», литературные публикации в журналах «Волга», «Волга–XXI век», «If» (Марсель), «Missives» (Париж).

и этих – синхронностью хода
и тех – постоянством вкуса

РУССКИЙ КОСМИЗМ

1

Обрывом застывший гравий в котловине горстка домов
вертикальные пряди молочного цвета дымов
собираются вместе в небольшую мотню тумана
она – как ладонь многопалая
эфирного существа.
циолковский тут к месту – и ракетные поезда
его, и эфирные грёзы...

и ладонь та шевелит легонько дымами-пальцами
шекочет обитателей заспанных изб
проливая весёлые дымные слёзы.

2

голубые пятна вокзалов ветлужских, пижменских, вятских
– посланцы небесного нимба
на землю талую.
видимо эти вокзалы
узлы путей сообщения не только по сторонам
по глухим углам
через болота и просеки, мокрый лес
но и на самый на верх – до небес

3

наблюдаемое в разрывах глухого бора
сквозь стекло и морось
с поправкой на скорость
вагона вятское и ветлужское
зазаборье
плоское, без колоколен–колоколов
без флюгеров

и без вышек.
с ритуальными пустырями,
где среди шишек

фигуры героев–орлов

серебристые
как с мороза
вошедшие,

как кинолентные
пришельцы
инопланетные.

4

раннее утро в лысом безлесом
посёлке где-то под арзамасом.

где из туманного молока
торчат лишь видные издалека

хоть с орбиты: скворешни
на шестах высоченных
– репродукторы вешние
в деревянных, в суставах, антеннах.

5

ржавый цилиндр бака на подпорках
членистоногих
но не с ракетным топливом, а с водой
для полива
совершенно космическая перспектива
с этой байдой
бидонной
в дачном квадрате местности

и в незаслуженной неизвестности
не у дела
тут пребывают
лайки, стрелки и белки:
лижут дырявые шланги – и оголтело
лают!

6

дачный пейзаж крупно-порушенный
позаметённый мелкой порошею:
жерди,
тонкие трубы бань наклонённые
колодцы редкие,
но бездонные.
на земле стылой – настилы
над лужами, над ручьём
пейзаж как при взгляде в оптику
галилея
и уже не вполне понятно,
на какой планете живём
венцы, плоскогорья, цирки, каньоны,
кратеры, щели...

7

капсула ресторана в поезде
на языке – привкус от первой дозы
обзор круговой
за окнами – снег

над головой
гнутые фермы форму держат
делят космос и хаос
здесь космос – рюмка, текст
и в графине осталось ...

там хаос – и сверхвременные скорости
замешены на былом

а здесь ты в невесомости
паришь над столом

8

жёлтые окна пристанционных домов
в утренней полутьме
светят плеядами
сквозь патину веток и печной дым
их всё больше – одно за одним
загораются
и от них на ветлуге
день занимается

9

белизна снежного полотна
где глубокий синий
вплетён по кромке
железнодорожного полотна
тенью от телеграфных столбов

а цвет голубой
возникает над головой
и становится к горизонту
алым
– уже за уралом

СЕРДЕЧНОЕ

Отцу

дело было (почти) в Центре европы
в западной его части
в левом верхнем предцентрии

продуваемом

где венозная рейнская кровь
мешается с арт-рур-иальной

ир-ре-альной
центр-альной

цент-урионной
звонной
звенящей колоколами
колоном
кёльном
клином
вышибаемым
клоуном
колуном

колом
и пташкою
клёном
на холоде
в ноябре

кардио
каррдио
песня воронья

БЛИЖНИЙ СЕВЕР

1.

известью крашеные дома
станции Кукмор.
от земли до крыш
больничная белизна

до карнизов, до слуховых окон
до ручки
дверной

словно снег вполз на стены, охая
гонимый с земли
весной

2.

самая ближняя арктика
льдины на вятских реках
станция Белая»
с вмёрзшим как мамонт домом –
база полярников?
холодом
незнакомым
веет от этих вод.

и стылым огромным комом
небосвод

НА ПОЛПУТИ К ЦЕТИНЕ

двугорбый мост
две лодки возле мели
два путника цедящие вино
на лоджии, засыпанной давно
обрывками балканской канители

сплетенья струй бормочут еле-еле
и с высоты просвечивает дно
в тиши щелчок – захлопнулось окно

и замерло, чуть вздрогнув полотно
картины что ещё не рассмотрели
(глубокопанорамное кино)
в деталях: люди, лодки... на пределе
усилья зренья – мельница, в рассели-
не две хижины,
руины цитадели...
а ближе – мы:
и мы почти у цели...

ОКРЕСТНОСТИ РАТОЦА

котловина гор
города
сутоморе.
вместилище звука
ода морю.
удилище ока.
это
тебя занесло...
зыко!
дрожит веко.
сумерек поволока.
одиноко
в складках балкан.

лает полкан

УТРО НАТУРАЛИСТА

I

Плоское место. Бега
– горелки со временем.
Берега
Кисельные.
Реки...

Жаркие страны...
Удильщики рыб
имяреки
греки и раки
на безрыбье.
на бесперспективье.
есть что-то птичье в этом слове
в его (орнито)основе.

Утешение натуралиста –
слышать тон там где тень
от ничтожного
птичьего
свиста.

II

Чует цвет там где ток
Видит тон там где гомон
И последний глоток
отложив на потом он,
разевает роток
на небесный платок.

III

ошарашенный шёпотом
шорохом шелестом трав
на флюиды и фазы
природы разъяв
порожденье,
и воистину (мыслимо!)
смертию смерть поправ
проявляя настойчивый нрав
избегая отрав
обобщенья

он с ланцетом
сидит
он фальцетом
свистит

Сергей ТРУНЁВ

***

закроешь глаза, и как будто ослеп
цикады звенят заунывно и нежно
в саратовском крае казахская степь
зовется ошибочно левобережьем

ковыль бородатый, полынь, лебеда
и рядом трава, потерявшая имя
и в облаке пыли овечьи стада
курганы упрямо стригут коренными

здесь время недвижно застыло с утра
и травы все шепчут и шепчут о чем-то
здесь так хорошо и легко умирать
и всласть смаковать обреченность

24.06.10

***

спите спокойно, дети
тараканище не воскреснет
мама домохозяйка
их вчерась потравила
тихо на кухне ночью

мама купила сумку
из крокодильей кожи
некому слопать солнце
и по-турецки не с кем
в турции все на русском

утренний завтрак школьниц
голени брондуляков
дети, как можно меньше
ешьте холестерина
сахара, соли, специй

Сергей Трунёв родился в 1973 году в Саратове. Доктор философских наук, преподает в СГТУ. Литературный редактор альманаха «Дирижабль» (Н. Новгород). Книга стихотворений «Боковая линия» (2004). Статьи и стихи публиковались в журналах «Воздух», «Урал», «Дети Ра», альманахах «Сальто-мортале», «Мышь во фраке», «Василиск», в антологиях «Время Ч: Стихи о Чечне и не только», «Русские стихи 1950–2000 годов» и др. Постоянный автор журнала «Волга».

мы победили страхи
мы покорили космос
мы одолели время
вечным стерильным детством
птичьим бесполым раем

в этот момент в подвалах
множились медные крысы
племя убийц холодных
сэндвич-панели грызло
победитовыми зубами

08.09.11

Апокалипсическая плясовая

мусор выставишь к порогу
чтобы было по уму
день прошел, и слава богу
впрочем, даже не ему

мы давно не существуем
и уж точно не живем
открываем банки локтем
голубей едим живьем

из матрасов лезет вата
перхоть сыплется с голов
брат войной идет на брата
брат у брата будь здоров

что деревня, что столица
все одно базар-вокзал
перекошенные лица
заскорузлые глаза

утром только слезешь с койки
и уже себе не люб
и идешь к своей помойке
волоча свой сонный труп

хоть ты лопни, хоть ты тресни
хоть ты нынче при рублях
все твои живые чресла
два яйца в мошонке тесной
и душа на костылях

08.09.11

***

М.Л.

послушай, я сейчас поймаю тачку
я отвезу тебя в такую точку
где пролилось закатное гаспачо
на синюю небесную сорочку

я подарю тебе такие дали
где облака бегут как кони в мыле
и рыщет носом одинокий ялик
в тени своих неоперенных крыльев

потом я обниму тебя за плечи
и мы от счастья, может быть, заплачем
совсем как те, кто миром искалечен
но кто судьбою не переиначен

таксист закурит, ибо третий лишний
один во тьме, не виден и не слышен
качнутся звезды, как седые вишни
под взглядом безнадежных карих вишен

15.01.12

***

в сортир пробиваются солнца лучи
плетут паутину в углах паучки
запасливый хитрый народец
под сланец зачем-то ползет муравей
мистически чешется между бровей
и мысли о вечном нисходят

лягушка застыла у кромки пруда
а пробуешь это в словах передать
выходит какая-то лажа
объятый волненьем, неровно дыша
смахнешь паутину, прибьешь мураша
и бережно сланцем размажешь

08.09.10

Алексей КОЛОБРОДОВ

Рассказы

ОТЕЦ
(День защитника Отечества)

Мамины девять дней выпали на 1-е января.

Поминальный обед мы оплатили заранее, на тридцать человек, и я не сомневался, что в кафе (в детстве оно называлась просто: «столовая, ну та, на углу»; в юности и при кооперативной перестройке – с фантазией, «Фантазией», а как сегодня – Бог весть) сделают все, как надо, – там ценили любой заказ и не пеняли на календарь. Даже вариант «водка с собой» прошел без разговоров.

Проблема была только в моем прибытии.

Предполагая, что новогодним утром транспорт никуда не уйдет, я заранее договорился с другом и соседом Борей. Боря, голубиная душа, согласился подбросить – за двести километров, в Камышин. Впрочем, у него Новый год тоже не отягощался сценариями – мама, курица, салаты; в 10.00 грозился быть, как штык. И опоздал всего ничего. Я настоял лишь на том, чтобы залить ему полный бак.

Город был влажен и пуст, трасса чистая и не особо трудная – туманилось почему-то наверху, а не в низинах. Мы, укладываясь по времени, особо не гнали, обходя редкие дальнобои и мигая встречным – с Новым годом всех!

Прибыли к экс-«Фантазии» с запасом – я даже успел показать Боре немножко Камышина – но отец с дядькой уже курили на крыльце, ждали... Э, да о чем я? Отец давно бросил, в прошлой нашей жизни, это дядька мой, тоже Юра, овдовев к своим 70-ти, перешел с «Примы» на «Сталинградские» с фильтром. Почему-то об отце как человеке овдовевшем я и тогда не мог думать, и не могу до сих пор. Обнялись.

С поголовьем гостей мы не просчитались – в Камышине не фетишизируют Новый год и уважают поминки. Родственники и просто старушки, рассаживаясь, обсуждали, осуждая, новогоднее ТВ. Ничем не отличаясь в этом от продвинутой аудитории «Эха Москвы», которая все каникулы также делилась впечатлениями о голубых: огоньках, галкиных, борях моисеевых. На высочайшем градусе сердца и глоток. Чего там было больше – гомофобии или гражданского протеста (а в декабре прогремели Сахаровы и Болотные, эховская аудитория самообольщалась и бралась за руки, чтоб не пропасть поодиночке) – судить не берусь. Скорее, стремления заменить чужую попсу своей, социально-близкой.

У нас за столом пожилым людям просто не нравился праздничный эфир, как горы Остапу, да и поминальный формат не располагал к оголтелости. Брали ложками кутью, выпивали первую (в основном, половинили, или вовсе пригубляя), ели первое. Вздыхали.

«Ложки оставляем!» – негромко предупреждала единственная, но споро управлявшаяся официантка.

Очень хорошо говорили о маме – не вставая с тостами, а между собой.

Алексей Колобродов родился в 1970 году в городе Камышин Волгоградской области. Учился на историческом факультете Саратовского университета и в Литинституте. Работал слесарем, грузчиком, служил в армии. В настоящее время – главный редактор саратовского общественно-политического и экономического журнала «Общественное мнение». Лауреат журналистских премий (в т. ч. им. Артема Боровика). Книга стихов (в соавторстве с С. Труневым) «День святого V» (Саратов: Контрапункт, 1998). Сборник прозы и эссе «Алюминиевый Голливуд» (Саратов: Научная книга, 2009). Автор рассказов, эссе, статей и рецензий, публиковавшихся в журналах «Волга», «Новый мир», «Знамя», «Урал», «НЛО» и др. Живет в Саратове.

Всё быстро, по-камышински, завершилось – женщины настояли, чтобы мы с отцом забрали недопитую водку («на сорок дней пригодится!»), я мог уехать хоть сейчас, да и гнало меня обратно в Саратов недоброе и тяжелое чувство – но обещал, заранее, друзьям юности встретиться, посидеть, принять их соболезнования.

Но до друзей оставались часы с отцом, в опустевшем и безрадостном доме.

Пока была мама, на маленькой кухне мы как-то помещались и всей семьей, и с гостями, теперь нам двоим едва хватило места. Он, чуть морщась от забытого дыма моих сигарет, говорил, что хочет разобрать и убрать шкафы, будет побольше места, вот только куда посуду? Ее много теперь, ты не заберешь?

«Зачем мне, пап?»

«Ну, тогда придумаю что-нибудь, вот после сорока дней и начну».

Я вдруг понял, что у нас сходные страхи – я боялся прикоснуться к чему-то, нарушить в мамином доме; взял, сразу после похорон, только одну ее фотографию да чашечки с блюдцем из фарфорового кофейного сервиза.

Мы выпили по три рюмки, снова половиня, из поминального запаса, и глаза его, я заметил, обычно отливавшие глубокой морозной синевой в любое время суток и года, вдруг стали бесцветны. А может, уже давно?

Спорили о дальнейшей судьбе их кота – мордатого разбойного британца, с неукротимым нравом и тяжелыми боксерскими лапищами. За свои семь-восемь месяцев жизни он успел многое – был с порошком выстиран в навороченной стиральной машине, которую мы дарили маме, куда забрался на запах несвежего белья подремать с кайфом. Сумел изодрать несколько комплектов чистого постельного, запертый в шкафу. Упасть с балкона и пр.

Впрочем, в основных кошачьих дисциплинах вел себя образцово – ел всё и с младых когтей был приучен к туалету – решетке с поддоном.

Я настоял, чтобы он остался у отца. Все-таки кот-бандит – если не средство, то не худшая профилактика стариковской тоски. Вместе с телевизором – кабельный абонемент был в свое время нашим подарком отцу. Он ревниво сравнивал количество спортивных каналов у себя и у меня.

«А ты билет взял? – спохватился отец – Боря-то уехал».

И хотя услугу можно было оговорить по телефону, мы как-то сразу собрались на вокзал. Видимо, убить хотя бы час хотелось обоим.

...Я предупредил, что у ребят буду долго, пусть он не ждет. Но он всё равно позвонил пару раз, не торопя, искательно спрашивал – когда? Чтобы мой отец позвонил сам, да еще с традиционно материнским вопросом (мама, когда я, бывая у них, загуливал, деликатно не звонила – впрочем, это бывало еще в домобильную эпоху, она просто не ложилась, а ложась, не могла уснуть)... У этого чуждого всяких лишних эмоций и сантиментов человека – в силу не столько сурового, сколько флегматичного нрава и глубочайшего внутреннего спокойствия – даже голос менялся, зазвучали незнакомые мне просительные интонации.

Заболела не раненая когда-то осетинским спиртом поджелудочная, плохо переносящая перемену водок, но дала о себе знать та самая, диагностированная еще Генрихом Гейне, зубная боль в сердце. Я вызвал такси – хотя разговоры в застольном формате «Одноклассники.ру», подчас с заходом на «Арестанты.ру», были по обыкновению, увлекательны. И предсказуемы, конечно – к сорока и чуть после судьбы людей одной провинциальной географии и поколения уже определены – дети рождены, бизнесы построены, сроки отсижены. Состояния, как правило, полярны – не по стрелке компаса, а, скорей, относительно оси координат – у одних лучше, у других хуже, третьи продолжают выбирать между лучшим и худшим, и окончательно уже не выберут. У четвертых – ничего, потому что их нет на свете.

Маринка, Стас, Димон говорили о Витальке, братьях Чистяковых, Ольге в Германии; Лене и ее Боре, которые из одноклассников стали соседями.

...Билет у меня был на девять утра – встали мы рано, двинулись пешком. То ли медведевская реформа летнего-зимнего времени тому виной, то ли второй день Нового года, то ли застывшая

над Камышином русская окраинная вечность – но мутный рассвет никак не рассеивался. Район, по которому мы шли, называется у нас Первым участком – и, по идее, должен был главенствовать над Вторым. Оба построены в начале 50-х, Второй и задумывался, похоже, как пролетарский ад, Первый – в качестве советского начальственного рая. Двухэтажки там и сям, но барачности и сталинкам Второго здесь противостояла квадратно-гнездовая застройка, с архитектурными нелепостями явно пленно-немецкого происхождения. А, может, просто немецкого. До недавних времен немцы в Камышине были вторым по значению народом. Во всяком случае, в таком качестве их и воспринимали вне схемы «свои – чужие» (ибо гораздо более чужими казались окающие вербованные выходцы из Иваново). Не отвлекаясь на экзотических тогда армян.

Но сейчас это серое с желтым, как разбившееся на асфальте яйцо, ничего ни райского, ни начальственного не обещало. Дома – старые, потрескавшиеся, убогие и безлюдные, кое-как врытые в грязные утоптанные снега – казались промышленными склепами, куда хоронили не людей, а время. Советское, общее и каждому свое. Токсичное, химическое вещество времени.

Мы спускались по лестнице, именуемой в народе «Потемкинской». Кучерявой народной иронии, похоже, здесь никакой. По настоящей Потемкинской я как-то поднимался ногами – ничего особенного, взятая отдельно от всей Одессы и перенесенная в тот же, скажем, Камышин, она бы легко вписалась в ландшафт. (Камышин, кстати, расположен тоже на холмах, семи или нет – не знаю, вряд ли кто считал).

Места слишком мне знакомые – после 9-го класса, мы с одноклассником Володей Лазаревым подстригали тут кусты вокруг Кранового завода, называясь озеленителями и, хотя не особо усердствовали, попали в заметку из многотиражки. Первое мое упоминание в прессе – помню глубокое ох.ение от своей фамилии, изданной типографским способом. Володя – тот вообще любил при первой возможности укрыться в теньке, искусно сервируя газетку колбасой и помидорами – готовился к грядущим застольям длинной мужской жизни.

В конце лета мы уехали в лагерь комсомольского актива «Бригантина» – ни комсомольским, ни, упаси Господь, активистом, я не был, а вот Володя – и тем, и другим. Он-то по-пиратски и протащил меня в славную тусовку ребят и девочек (в основном, мажориков; но у тогдашней молодежи были иные ценности – от рок-н-ролльных до криминальных). Впрочем, дело, видно, было не в протекции, а в моем кассетнике «Весна» и записях питерского рок-клуба...

Справа от «Потемкинской» – гаражи, один из них принадлежал крепкому мужику, электросварщику Славяну, неоднократно воспетому мной в рассказах книжки «Алюминиевый Голливуд». Он любил охоту, рыбалку, говорить о своей богатой приключениями (медицинский институт, морфлот, тюрьма, севера) жизни, вообще жизнь, выпивку и собутыльников. И гараж обустраивал прочно – машины там давно не было, но имелись диваны, кресла, соления, постеры Виктора Цоя и сисястых сабрин...Даже певиц группы «Мираж», кажется.

По той же дороге меня провожали в армию. Сейчас, с некоторым инфернальным страхом, достаю групповое черно-белое фото с Потемкинской... Однако нет, мертвых там пока не много. Мой дядька-криминал, моя любимая тетка, женщина великая и несчастная, мама... Про кого-то просто не знаю, у остальных более-менее нормально, ну женились-разошлись, большое дело... Гоша Акимов, подававший массу надежд староста и любимец неадекватной математички Глаши, живет ремонтом квартир, а друг мой Игорь Каиров – в Сибири...

В службе-то самой ничего страшного – просто именно тогда, спускаясь в армию, я предельно точно ощутил, что покидаю свои места навсегда, двери захлопываются. Как в индустриальном цеху – железные, рывками, плотно и не остановить, нет такой кнопки.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас,—
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.

Так писал Есенин между запоями своей последней осени, когда уже не до мастерства и отделки стиха. Только бы всунуть свою тоску в слова, как неоформленный, с острыми углами, груз в магазинный пакет с ручками – и таскаться с ним пешком по центру – нести неловко и бросить невозможно...

Словом, я свернул с Потемкинской, и мы пошли дворами. Я смотрел на поспевающего за мной отца, и становилось совсем тяжело. Вокзал приближался, и я спровоцировал спутника на слышанную сто раз футбольную ностальгию – как на стадион «Авангард», тоже в этом районе, в первый раз в Камышин, с ветеранами, приезжал Эдуард Стрельцов – русский гений, трагическая судьба и славный, добрый парень. Он, уже лысый и грузный, с топорщившимся под футболкой пузом, вышел минут на пятнадцать, но показал-таки свой знаменитый финт и забил гол. Местные фанаты поднесли ему бутыль самогонки – 60 градусов и от всех болячек... Мой отец – талантливый художник-самоучка – всю ночь рисовал этикетку с камышинской символикой.

Я, обняв его худые и легкие под курткой и капюшоном плечи, попросил отца не ждать, пока уедем, идти домой. Он ждал, стоял, смотрел.

Я в холодном микроавтобусе раскрыл Пелевина, Snuff – на каникулах собирался писать рецензию.

А еще – принимать отца у себя. Через четыре дня должен был случиться его юбилей – 70 лет. У моего папы самый, наверное, редкий в России год рождения – 1942-й, и он никогда не видел своего отца. Его отец – военный фельдшер и младший офицер, с первых дней на фронте, погиб под Вязьмой в ноябре 1941-го. Для того года провоевать столько – удивительно. Можно сказать, что деду повезло.

У папы день рождения – 6-го января. Да-да, в рождественский сочельник. По датам всё сходится.

МЕМОРИАЛ И МАЛЬЧИКИ

Говорят, не осталось совсем идеалов. И времена такие, и нравы, и страна такая.

Все эти разговоры – от недостатка опыта и переизбытка социального цинизма, подобная симптоматика сейчас наблюдается практически у всех – независимо от возраста и статуса.

А я вот обнаружил кое-что совсем противоположное – именно у нас, и не далее, чем год назад.

Времена, кстати, не изменились – тут я согласен с противной мамашей из фильма «Москва слезам не верит». Поменялись люди, и я совершенно четко помню, когда это произошло. Конец 1992-го и начало 1993-го, ничуть не раньше и никак не позже.

Я заехал тогда поздравить с Рождеством Игоря – когда-то он был моим тренером, а потом стал собеседником, хотя больше всего нам нравилось вместе молчать, выпивая. Иногда сами собой возникали общие темы – политика и гастрономия, медленно, как листья в сентябрьские будни, падали наши реплики. За столом, подобно слайдам, мелькали виртуальные третьи. Кто на сборах в олимпийской, кого сломали «на России» в полуфинале, кто отслужил; кто, получив погоны, только распределился, кто сидит, кто сам тренирует, кто ушел в буддисты, а кто – в монахи (тут пропорция всегда почему-то выходила равной).

Игорь имел и фамилию, и отчество – «Николаич», но все знали его по имени, а еще больше – как Игорька. В прежней жизни он был майором ДШБ (десантно-штурмовая бригада) и мастером спорта. Был везде, где тайно воевала страна, и Афган считал лишь эпизодом, а Вьетнама не застал возрасту.

Тогда, на Рождество 93-го, я обнаружил квартиру Игоря и самого Игоря в ремонте. Бригада была отпущена по случаю праздника (но не праздников), однако ее присутствие ощущалось – спецовки в прихожей, под ними – битые кроссовки в шпаклевке, торчащие из стен хвосты проводки, густые ремонтные запахи и – сварливое недоумение Игоря:

– Я им говорю: мебель мне нужна «под Людовика»... Видел у одного – ничего, хорошо. А они

мне: какого Людовика, их штук восемнадцать было, пока на гильотине не казнили. Историки, бля. Сказал им, сами должны знать, а я уж тут решу, тот Людовик или не тот, и кому из вас гильотину делать... Нет, говорят – давай денег, поедем в Москву за журналами, пальцем ткнешь. Ну, а так нормальные ребята, молодые, и тебя, сказали, знают.

Феномен ремонтной бригады обескураживал. Тогда жилища ремонтировали сами отцы семейств-квартиросъемщики, годами готовясь и пошагово доставая обои-побелку-краску-клей.

«У нас бардак, но не обращайте внимания, можно в обуви, мы тут с ремонтом затеялись, никак не начнем».

«Да вот, не пугайтесь, ремонт у нас, планировали в месячишку обернуться, а целый уже год, всё никак не разгребемся».

«А, проходите, и не смущайтесь, у нас ремонт только недавно закончился».

«Людовик», неизвестный порядковым номером, решительно убедил меня, что Игорек взял – и сделался богатым.

– Машину хочу брать. «Мерседес» предлагают, не новый, но Германия, ребята из группы войск гоняют. Отказался – что я, браток или барыга? Возьму «Волгу», тридцать первую, и комфортно, и люди уважать будут, – объяснял Игорь на кухне, пока ремонтом не тронутой, сидя в кресле, футболке и трико, и разливая по стопкам «Распутин».

– А то тебя не уважают...

– Это да. Но тут, Лёшка, другое – положение уже требует. Пора приходить в соответствие.

Богатство конца 92-го и начало 93-го было другим – не столько легким и внезапным, сколько лишенным функционала. Чистая идея. Поэтому потолочная лепнина, мебель «под Людовика» и японская вертушка (на колонках – россыпь неряшливых конвертов – винил, «Мелодия», но сверху фирменный Burn, 1974, Deep Purple) в хрущевской двушке – это был разумный вариант. И неправ будет тот, кто здесь разглядит жлобские черты в золотой душе Игорька.

Летом того же года на дачу общего знакомого он приехал на новой тридцать первой «Волге» с женой Мариной. Игорек явно завершил ремонт, и не только в квартире. Белый костюм, не химическим поролоновым блеском, но ровным светом подлинности отливавший на солнце, тонко поблескивающие, самые светлые из темных, очки; он постройнел и стал много моложе, хотя всегда казался человеком без возраста, застывшим в своих ранних сороковых.

Игорь и раньше менял внешность в странной зависимости от трудов тренера-универсала. Готовя «на область» борцов-вольников («Ну, и что. Конечно, пердят. Бывает, и обсираются», – успокаивал он наших тяжеловесов), распускал живот, рукой в кармане энергично теребил промежность, выставлял голову седым ежом вперед. Когда немного разрешили, точней, перестали запрещать карате, и он набрал группу – в морщинках его лица появилось что-то шаолиньское – чужое и древнее.

Но сейчас было ясно: Игорек не поменял вид единоборств, а ушел с ковра победителем. Может, не навсегда. Но надолго. Утвердительно ответил на давний вопрос – есть ли хорошая жизнь после.

Не узнать было и Марину: верней, раньше никому и не приходило в голову ее узнавать. Она стала яркой блондинкой и человеком как бы от Игорька отдельным, хотя держались они дружными детьми, за руки.

Мы встречались и после, много, но запомнил их я именно такими, молодыми и летними – по аккуратной дорожке садоводства идут, улыбаясь, как живые продолжения света.

Игорь не был ни в бизнесе, ни, я уверен, в криминале. (Назову это движение так). То есть, конечно, крёстноотческая традиция, светлой своей стороной, без крови, преобладала в его развернувшейся деятельности. Крови он в свое время насмотрелся и, понятно, нанюхался, ею отнюдь не смущался – скорее, брезговал. Как-то в разговоре – редчайший момент откровенности – он определил себя не отцом, а братом. «Сводным братом». Он умел и любил соединять людей, в ясном только им, общем деле, причем до появления Игоря они могли не подозревать, что дело это

– их общее. Он лихо и мгновенно проводил изящную кривую между федеральным министром, владельцем одного из «чечен-банков» и местным красным директором так, что они не просто расходились довольные выгодой и друг другом, но продолжали многолетне вести дела и, нежно скалясь, обниматься при встречах – часто отменяя ради таких встреч все заботы текущей жизни.

Со временем мне стало казаться, будто еще в юности Игорек вступил в тайный и могущественный орден, достиг там степеней высоких и неизвестных, а теперь преумножает силу и славу организации, используя энергию ее членов в мирных целях, эксплуатируя лучшие их, независимо от занимаемого положения, черты. Поскольку худшие в его присутствии проявлять было нельзя, да и невозможно.

В итоге и официально он стал вице-губернатором одной из центральных областей, по соцсфере и молодежной политике (еще – спорт и туризм в придачу). Там и погиб, на «Мерседесе» и трассе. Раннее утро, «Камаз», неживой русский асфальт – виктор-цоевская, распространенная ныне смерть...

Ребята попытались воссоздать неточную, разумеется, и не столь эффектную практику его ордена. Называлось это – «друзья Игоря». Помимо легкого толкания локтями для выяснений, кто действительно друг, а кто возник после, но пусть уж его, люди проводят крупный турнир – дзюдо, юноши, призовой фонд – «Ниссан-Альмера», из Японии. «Мемориал Игоря». Помним; уже не скорбим – отошло и отболело, заполнилось легким светом печали. Марина серьезно поднялась, помогать ей не надо, сама всем помогает, две дочки Игоря учатся, старшая хорошо замужем.

На мемориал съезжаются многие и отовсюду. Старые спортсмены во главе с пермским авторитетом – невысоким, крепким, с неизбывной страстью к уменьшительным, по ходу произнесения тостов – «Игоречек», «жена-татарочка», «Мариночка», «дзюдоистики». Кремлевский генерал и подполковники. Чемпионы мира по русскому армейскому рукопашному и тайскому кикбоксингу – как правило, кавказцы. Депутаты Госдумы олимпийской квоты. Наши директора хоккейных клубов, бассейнов и футзалов, главы районов, где охотничьи угодья, руководители клиник и пароходств, жены, мамы, выросшие дети. Ингуш, истопивший гостям русскую баню и разделавший барана. Советники губернаторов и советские терминаторы. Поэт, начинавший как коммерсант, и коммерсы, склонные к поэзии жеста, сиречь спонсоры.

Почти не бывает ярко выраженных чиновников и местных олигархов.

Торжества после турнира проходят в ресторане «Воздушный», два этажа рядом с аэропортом (для тех гостей, кому лететь; конечно, через vip-зал). Долгий вид на Волгу, центр и родной район Игоря. Ресторан на время выборов (которые, с небольшими промежутками, идут у нас беспрерывно) становится центром политической жизни, поскольку участникам выборной борьбы место представляется нешумным и удаленным от страстей, и выходит, что заблуждаются они на сей счет глубоко и массово.

Бывает, что, изображая изо всех сил незаметность, крадутся в зал начинающий кандидат в депутаты с видным политтехнологом, и вдруг попадают стол в стол с активистами правящей партии, которые, звеня посудой с пивом и коньяком, упражняясь в колхозном византийстве, громко шепчут, как бы развести на полупроходное место в партсписке очередного, возжаждавшего бюджетной близости, буратину из строителей или продуктовых ритейлеров. Через полчаса, во главе свиты, прибывает жена московского банкира – он прикупил ей здесь небольшую, размером как раз с один мандат, партию. А когда наши игроки, скомкав разговор, семенят на выход, их успокаивает седобровый, со следами былой выправки, гардеробщик:

– Это чё... Буквально полчаса перед вами Слиска с Третьяком отбывши...

В прошлом году на турнир прибыл виднейший вор в законе, сибиряк, звезда славянского воровского клана. Соратник Дед-Хасана, подписант многих знаменитых маляв, в том числе последней, призывающей братву к расправе с лидером «лаврушников». Это был грузноватый, крепкий старик, с густейшей седой шевелюрой и разнообразной охраной – от заметного человека в мусульманской шапочке («бродяга, очень уважаемый» – прожужжал кто-то у меня над ухом) до сорокалетних парней с волчьими, вынюхивающими острыми лицами, в серых длиннорукавных

рубахах и серых же, чуть клешенных, брюках. Я такие последний раз видел совсем в семидесятые, еще до знакомства с Игорем, к которому, забыл сказать, отец определил меня десятилетним мальчишкой.

Наш смотрящий, кабардинец Алим, с которым я немало парился в бане и выпивал, в былинные годы он заехал на малолетку тринадцати лет, а теперь стал родственником президента Кабарды, вернее, его родственник стал президентом, повел меня знакомить со «Старым».

Именно так надо было его называть; «Вовка» или «Володя» – обращались только близкие, и – когда-то – оказывается, Игорь.

– Слышал, – просто сказал Старый, вяло подержав мою руку. И добавил: хорошо, что мы, когда Игорька уже нет, держимся друг за дружку, бегаем вместе, меж собой не закусываемся. А то вон жизнь какая.

Выглядел Старый недоброжелательно – не по отношению ко мне, а вообще. Капризно. Неофициальный старший среди «друзей Игоря», Колян, успел рассказать, досадуя:

– Прилетает Старый, заселяется в «Коралле». И давай мне на мобильник: Колян, достань клубнички, фруктиков, старенький, мол, с северу... Думает, на Волгу приехал, так тут в мае своя клубника ведрами. Всё в своем восемьдесят шестом году живет. Побежал, купили импортной. Обманул вора, грех это.

Когда приехали на банкет в «Воздушном», вор развалился на лавочке – золотой Rolex мирно соседствовал с выцветшими татуированными перстнями, а белоснежные носки – с черными туфлями. Он оказался как бы в центре небольшого, но чрезвычайно пестрого и деятельного мира, мимолетно обращенного им в собственность. Мерили шагами свою траекторию серые охранники, гости, кружками и по парам, беседовали о бизнесе, Игоре и рыбалке, кружилось вокруг скамейки несколько штук детей. Но вскоре Старому благодушествовать надоело, он стал божком капризным и придирчивым:

– Чей ресторан?

– Да тут армяне, Старый, у нас – нормальные люди, навстречу идут...

– Армяне... У меня в городах армяне тихо сидят, как паучок под шконкой. Не то, что ресторан, ремонт обуви без нас не откроют. А здесь – такой дворец отгрохали, хорошо, видать, поднимают. Армяне...

Позвали подняться в банкетный. Народ, уважительно пропуская друг друга, женщины впереди, потянулся в зеркальные двери. Старый, чуть успокоившись после армян, продолжал сидеть в центре своего мира, сопя и щурясь.

– Старый, пойдем, наверх зовут. Посидим, Игорька помянем.

Вор молчал, будто совсем не слышал. Напряжение в его мире сгущалось резко и зримо, как в кабине рентгеновского аппарата. Он, найдя нужной концентрацию, сказал, впервые громко и очень отчетливо:

– Я – С МЕНТАМИ – ЗА ОДИН – СТОЛ – НЕ СЯДУ.

Я понял, кого он имеет в виду. Строго говоря, ментами они, конечно, были, но, если не строго – то не совсем, ибо служили офицерами в транспортной милиции. Маленькие подданные Ее Величества Коррупции, в штатском и дизайнерском – от G. Armani, подкачанные красавцы с гладкими лбами и затылками, клубный соблазн пригламуренных студенточек; даже сквозь майский, горячий и уже пыльный день прорывалась свежесть их парфюмов.

– Вы охуели, люди? – интересовался и клокотал Старый. – Вы на что меня подписываете? Или офаршмачить хотели? Алим, с тобой за косяк этот отдельный еще разговор будет... Игорь, да, по всем понятиям ремешок был, автоматное рыло, но его я любил и уважал, как брата. Вы не меня, вы его – золото-человека, в какой блудняк вгоняете...

Я вдруг почувствовал себя ребенком, который, случайно или намеренно, но спешно и жадно, в щелочку наблюдает чужие недетские дела.

К Старому спустилась Марина, чтобы наклониться к уху и тихо поговорить.

– Ничего, Мариночка, ничего, дорогая. Ну, какие проблемы... Кушайте, отдыхайте; старень-

кий здесь посидит, подумает: фонтанчик, травка зеленая. Тут хорошо у вас...

Скандал и хоровод вокруг Старого разрастался, пока не исчезли транспортные менты. Возможно, им накрыли отдельно, но это вряд ли. Припоминаю, как обиженно колыхался, сорвавшийся со стоянки, тупой зад их тойоты-лэнд-крузер-джипа.

Старый за столом еще побуркивал, посапывал, как остывающий вулкан; отправлял на улицу то одного из серых охранников, то другого, но скоро отошел и посветлел. Сказал даже тост – у него был усталый вид человека, защитившего идеалы.

А вы говорите...

На следующий день позвонил приятель, всегда желавший знать, что происходит в городе:

– Слушай, ты не знаешь, кто такой, седой и авторитетный, к нам приезжал?

– Мемориал Игоря прошел. Может, оттуда?

– А, ну да, точно. Мы в аэропорту партнеров встречали, немцев, делегацию. И тут эти – какой-то старый вор с охраной, ну и типы они у него... Но самое интересное, а? Они через депутатский, а за ними, на таком расстоянии, чтобы и не сильно близко, но чтоб сильно заметно, генерал... Тот самый, отдел борьбы с экономическим беспределом. От одного имени у наших коммерсов, самых уцелевших твердых ребят, коленки в пляску. Провожает, уважает... Так они прошли, и у него вид стал мутный донельзя. Как будто только что отняли кусок счастья, а он верит – не все еще потеряно... Я немцам объясняю: это у нас тут русская мафия, русская мафия! Чего б они понимали... Но галдят, лопочут.

Кстати сказать, с одним из тогдашних ментов-изгнанников я регулярно встречаюсь в спортклубе и здороваюсь первым. С некоторым смущением.

С таким же смущением я приветствую двух знакомых верстальщиков, которые в любую погоду пьют из бутылок пиво на подоконнике книжного магазина. Их место встречи изменить нельзя – видимо, по причине того, что дома жены, а заходить куда-то – дорого, даже если дешево, присаживаться надо, разговаривать, а времени давно нет. Может, у книжного собираются они не каждый день, но ведь и я отслеживаю новинки один, иногда два раза в неделю... Они, здороваясь со мной, наверное, думают – и чего таскается чуть не каждый день, чего там ищет...

В книжном я слежу не только за новинками, но и за детьми. Дети в книжном – это не дети в «Игрушках» или, пуще того, в «Макдональдсе». Это, наверное, те же самые, но совсем другие дети. Они шевелят, как белочки, яркие обложки и устремляют вверх любопытные носики. Больше всего мне нравятся маленькие очкарики, лучше девочки-очкарики (у меня дочка, и она носит очки, тоненькие, изящные, пластик), но вчера я видел мальчика-очкарика. Начинался май, и било сквозь огромные окна солнце, а он стоял в лучах и продолжал свет рыжей своей макушкой. Мне захотелось для него будущего, и чтобы в этом будущем не случилось у него нужды в единоборствах.

Сергей ДИГОЛ

ТРИ ФУТА ПОД ЗЕМЛЕЙ

Рассказ

Когда меня вызвал к себе шеф, я и предположить не мог, что результатом нашего с ним разговора – между прочим, на два с лишним часа – будет вызов министра культуры.

Нет, не на аудиенцию к президенту. И даже не на допрос к генеральному прокурору, хотя, по правде говоря, давно пора, если бы не одно «но»: самого прокурора тоже не помешало бы как следует поприжать.

Впрочем, я не об этом, ведь к прокурору министра культуры не вызвали, пусть и пока. А пригласили его на разговор к директору по маркетингу концерна «Молдгазпетрол».

Это, представьте себе, ко мне.

Министр насмешил меня еще до знакомства, одной своей фамилией.

– Кокша, – протягивает он мне руку, и я не в силах сдержать улыбки, вспомнив, как повеселило меня это выловленное в Интернете слово.

Надо же, Кокша! Он, вероятно, и мою улыбку принимает за излияние радостного почтения к своей персоне и, приветственно оскалившись, демонстрирует богатство, которое всегда с ним – с десяток золотых зубов.

– Борис Кокша, – повторяет он и, оглядевшись, усаживается напротив моего рабочего стола.

Совсем как цыган, думаю я, и дело не только в золотых зубах. Густые черные волосы, смуглое лицо и темно-карие, подпираемые заметными мешками, глаза. Ну точно цыган, убеждаюсь я, мысленно поморщившись от наряда министра: алой рубашки под пиджаком бледно-бирюзового, с ярким металлическим блеском, костюма.

На колени Кокша кладет толстую серую папку – ее просто распирает, и уж конечно от грандиозных планов министерства культуры. Я снова усмехаюсь, на этот раз спрятав улыбку самым банальным образом – повернувшись к министру спиной, чтобы вернуться в любимое кресло за любимым рабочим столом.

– Очень приятно, – говорю я, уже сидя, и выпиваю глоток минералки без газа из высокого стакана. Воды гостю не предлагаю, и Кокша, глянув на стакан, тихо откашливается.

– Меня, собственно... – говорит он и теребит папку.

– Да, мы вас пригласили, – прихожу я ему на помощь.

– Да, слушаю вас, – удовлетворенно кивает он, и его подбородок приподнимается в первом за время пребывания в моем кабинете приступе спесивости.

Забавный народец – чиновники! Представляю себе, как три дня назад, получив приглашение – кстати, всего-навсего по телефону – на встречу с директором по маркетингу крупнейшей компании Молдавии, Кокша показывает себя во всей министерской красе: собирает взволнованных подчиненных на экстренное совещание или на коллегию – не знаю, как у них это правильно называется. Распинает сотрудников – разумеется, тупых и ленивых, и я не уверен, что в отношении них он так уж несправедлив. Каждому из этих бездарей, готовых провалиться сию же секунду куда угодно – хоть на этаж ниже, хоть через три этажа под землю, – лишь бы не присутствовать на собственной экзекуции за длинным столом шефа, министр поочередно припоминает ошибки

Сергей Дигол родился в 1976 году в городе Каушаны, Молдавия. Имеет ряд исторических публикаций в научных изданиях Молдавии, России и Румынии. Живет в Кишиневе. Лонг-лист «Русской премии» за 2011 год в номинации «Крупная проза». Публикуется в «Волге» с 2010 года.

и провинности разных сроков давности, грешки, которые искупаются сразу после их совершения – просто по причине нищенской зарплаты рядовых сотрудников министерства.

Бесчинствует Кокша не из чувства мелочной мстительности, хотя, не обладая ею, до министра он ни за что бы не дослужился. Провалиться сквозь потертый, скрипящий паркет в кабинете министра побледневшие от его крика подчиненные готовы по одной прихоти начальника, из-за одной его слабости – любви к самому себе. Которую он, как и подобает оказавшемуся на вершине ничтожеству, пестует, унижая полных ничтожеств – точно таких же, как и он сам, но не обладающих властными полномочиями людишек.

– И вот на фоне вашего тотального разгильдяйства, – говорит он, и несчастные подчиненные беззвучно переводят дух.

Экзекуция окончена – теперь время пряников. Правда, только для одного человека – самого министра Кокши, который просто перекладывает припасенные самому себе сладости из одного своего кармана в другой.

–...фантастическим кажется тот факт, – продолжает он, – ...а факт остается фактом, – поднимает он палец. – В общем, я приглашен на прием – куда бы вы думали?

Они, разумеется, не знают что ответить. Но, если бы министр Кокша решил поиграть в демократию и открыл бы прения, сомневаюсь, что высказаться успела хотя бы половина присутствующих – слишком узок список потенциальных благодетелей молдавской культуры, гораздо меньше, чем просиживающих на собрании штаны сотрудников министерства. Интонация же министра давала безошибочную наводку даже самым недалеким из рядовых неудачников: начальника пригласили не просто так. Значит, ему предстоит испытать то, чему он сейчас подвергает собственных сотрудников. Унижение. С той лишь разницей, что в итоге его ожидает главный приз: очередной грант, или спонсорство, или серия халявных зарубежных командировок. В общем, приятная компенсация за показное подхалимство, которое, похоже, не так уж и унижает министра – слишком бодрым он выглядит, сидя напротив меня.

Возможно, он даже считает себя в некотором роде хозяином положения, а спонсорское предложение со стороны нашей компании (менее радужные варианты он пока явно не просчитывал) видятся ему скорее подачкой, чем партнерством. Причем подающим он считает именно себя, будто в очередь на финансирование молдавской культуры выстроились все гиганты мировой экономики – от «Майкрософта» до «Бритиш Петролиум», на фоне которых наш «Молдгазпетрол» может утешать себя разве что званием везунчика, удостоенным чести не по своему скромному масштабу.

Что ж, тем приятней будет разбить эту иллюзию, тем более, что дураков я терпеть не могу. Особенно – надменных дураков в ранге министра.

– Мы, собственно, пригласили вас проконсультироваться, – говорю я и вижу, как каменеют руки министра на распираемой мольбами о спонсорстве папке. – Полчаса времени у вас есть?

Кокша пытается улыбнуться – из-за переполняющей его горечи улыбка больше похоже на гримасу страдающего расстройством кишечника. Будь он и в самом деле хозяином положения, удостоил бы меня в лучшем случае презрительным взглядом исподлобья. Но сейчас перед ним более сложная задача – покинуть мой кабинет по крайней мере не оплеванным.

– Смотря о чем пойдет речь, – говорит он и приосанивается, видимо, осознав, что консультация министра должна быть оценена достойной компенсацией.

– Вопрос болезненный, – наигранно сдвигаю я брови, – особенно для национальной культуры.

– Вы же понимаете, – теперь уже точно улыбается министр, – национальная культура – это по части нашего ведомства.

– Под угрозой исчезновения один из ее главных шедевров, – все более мрачнея, внутренне ликую я. – Возможно, самый главный.

– Я понимаю, – говорит министр, и по угасающей улыбке я вижу, что ни черта он понять не может.

– А ведь церковь Успения Богородицы в Каушанах – шедевр мирового значения, – говорю я.

– Ой, точно! – подпрыгивает на стуле Кокша и с треском распахивает свою папку. – У меня тут как раз...

– ... возведенный в семнадцатом веке, – перебиваю я перебившего меня министра. Сам он, пока бумаги из его папки медленно вываливаются на пол, застывает с открытым ртом. – Между прочим, изнутри церковь полностью расписана фресками, выполненными валашскими мастерами в Греко-византийской традиции.

– Я как раз хотел... – тянется Кокша к упавшим бумагам.

– Единственная церковь в Молдавии, углубленная на три фута в землю, – поднимаю я указательный палец. – Это около одного метра.

– Я знаю, – говорит, распрямляясь, Кокша. От наклона вперед его смуглое лицо стало серо-бордовым.

– Что знаете? – хмурюсь я.

– Ну, что углублена, – еще больше краснеет он.

Я делаю долгий и шумный выдох и бросаю взгляд на циферблат на моей левой руке – пусть Кокша наконец усвоит, что это я ему делаю одолжение.

– Конечно, восстанавливать церковь – это вам не казино из театра делать, – говорю я, вцепившись в компьютерную мышку и щурясь в монитор на углу моего стола.

На министра не смотрю: покраснел ли он еще сильнее, до цвета ярко-бордовой обивки кресел в Театре оперы и балета, или побледнел – меня это совсем не беспокоит. В монитор я заглядываю и вовсе символично: слухами о причастности министра к скандалу с попыткой захвата главного театра Молдавии и его превращения в коммерческое игровое заведение пестрят страницы местного Интернета.

– Я попросил бы вас, – повышает голос Кокша. – Я уже сделал официальное опровержение. И потом – с гостем так не поступают.

– А вы и не гость, – отрываю я взгляд от монитора. Кокша, судя по всему, быстро берет себя в руки – лицо снова приобрело здоровый смуглый оттенок.

– Ну, знаете, – вскакивает он.

– Состояние каушанской церкви катастрофическое, – сурово говорю я. – По оценкам экспертов, без реконструкции в ближайшие три-пять лет...

– До свидания, – поворачивается он ко мне боком.

– Сядьте немедленно, – приказываю я и поднимаю трубку рабочего телефона, – охрану ко мне.

– Я не... – испуганно смотрит он на меня.

– Сядь-те.

Кокша послушно садится на самый край стула, крепко прижав к себе папку – похоже, в ожидании сотрудников службы безопасности именно ее судьба беспокоит его больше всего.

– Отставить, – говорю я в трубку и киваю на папку, зажатую между правой рукой и телом министра. – Что у вас там?

Кокша замирает как был – сидя на краю стула, с прямой, как сиденье стула, спиной, явно не поверив в услышанное. Мгновение спустя министр все же побеждает в нем человека, и, засуетившись, он дрожащими руками снова расстегивает трещащую папку.

– Я же как раз хотел, – начинает Кокша и бросает на меня пугливый взгляд. – То есть... вот.

Порывшись в бумагах, он достает из недр стопки один лист.

– Вот, – повторяет он и, показав мне усеянный буквами лист, начинает читать. – Утверждена комплексная программа сохранения церкви Успения Богородицы до 2018 года, включающая такие пункты, как: организация и проведение ежегодной конференции по спасению церкви; издание ежеквартального бюллетеня «Национальное достояние в опасности» и его распространение в учебных заведениях разных уровней, органах здравоохранения, в других бюджетных организациях; создание, – он торжественно замедляет чтение, – общенационального фонда по спасению памятников архитектуры Молдавии, символом и логотипом которого будет церковь Успения в Каушанах, – заканчивает Кокша и смотрит на меня просветленным взглядом. Даже его жгуче-карие глаза, и те светлеют.

– Нда, – уважительно качаю головой я, – подготовились вы, я вижу, основательно.

Довольно улыбнувшись, Кокша оглядывает свой лоснящийся пиджак.

– Боюсь только, что обо всем этом придется забыть.

Кокша кивает и мне остается лишь гадать, что он сейчас выкинет: упадет в обморок, выбежит из кабинета или метнет своей папкой мне в голову.

– Организация по спасению церкви Успения уже создана, – сообщаю я, пока он не вышел из состояния моральной грогги.

– Еще раз? – подается он вперед, оскалив свой золотоносный рот.

– Я только что решил, что создаю такую организацию, – говорю я. – Вы же не сомневаетесь, что «Молдгазпетролу» по силам такая задача?

– Нуууу... эээээ... – задумывается министр.

– Вот именно, – киваю я. – И главной задачей нашей организации будет привлечение внимания специалистов из Всемирного фонда памятников – вы, конечно, слышали о таком?

– Ннн... – пытается мотнуть головой министр, но, вспомнив о том, что министр не может чего-то не знать, лезет в карман пиджака.

Достает мобильный телефон, гневно и с силой жмет на клавиши.

– Не надо, – убеждаю я. – С неправильно информировавшими вас подчиненными разберетесь потом. У нас, в конце концов, серьезный разговор.

– Что вам от меня надо? – спрашивает он наконец, и я облегченно поднимаюсь с кресла.

Разминаю руки – мне их словно развязали, и теперь я могу недвусмысленно диктовать беззащитному министру свои условия.

– Влипли вы, конечно, серьезно, – говорю я без тени улыбки. – Я не про Театр оперы и балета, если вы вдруг подумали.

Усмехнувшись, Кокша с грустным сарказмом наклоняет голову на бок.

– Послушайте, молодой человек...

– Бросьте! – жестко обрываю я. – Забыть вам придется не только о всей этой чуши, которую вы тут нагородили, – тычу я указательным пальцем в папку на его коленях. – Вообще обо всем, вы понимаете?

– Ох, и достанется же вам, – улыбаясь с сочувствием и злорадством, вертит он головой.

– Всемирный фонд памятников – единственное агентство в области культурного наследия, обладающее правом вето. Это вы понимаете?

Еще качая головой, Кокша замолкает, понимая, что я вот-вот скажу о самом главном.

– А еще, – рублю я воздух ладонью, – единственная организация, ежегодно обновляющая список значимых памятников архитектуры, находящихся под угрозой исчезновения. Сами понимаете, насколько это серьезно.

– Нет, не понимаю, – искренне признается министр.

– Да все просто, – перетаскиваю я стоявший у окна стул и сажусь на него по-приятельски – в полуметре от Кокши, опершись руками о спинку. – До тех пор, пока памятник не исключен из списка фонда, страна – счастливая обладательница исчезающего объекта всемирного наследия – может забыть о внешнем финансировании всех культурных программ. По всем каналам – от ЮНЕСКО и заканчивая каким-нибудь фондом по изучению наследия Рериха в Центральной Африке. Фактически, государство попадает в полную культурную изоляцию. Вам, как специалисту, вопрос: какая ж культура без финансирования, а? – спрашиваю я угрюмо помалкивающего министра. – Загвоздка в одном: заявку на включение памятника в список исчезающих шедевров должна подать местная неправительственная организация. Надеюсь, с регистрацией таковой у нас проблем также не возникнет.

Поиграв желваками, Кокша бросает на меня неуверенный взгляд.

– Тааак, – говорит он.

– Понимаю, понимаю, – сочувственно киваю я.

– Что же вы хотите? – спрашивает он. – То есть, я хотел сказать, сколько вы хотите, чтобы не регистрировать эту вашу... – морщится он, – ну, организацию.

– А это не выход, – качаю головой я.

– Мы можем договориться, – понижает он голос и оглядывается, – лично с вами. Идет?

– Это совсем не выход, – громко повторяю я и встаю со стула. – Найдется другая организация. Возможно, менее влиятельная, но не в меньшей степени озабоченная судьбой исчезающего шедевра. Напишут в фонд без всякого предупреждения – тогда как расхлебывать будете?

– Черт, – мрачнеет министр культуры.

– И тогда ваши сидящие, как нарики на игле, программы на грантах... Кстати, хотите, назову их по памяти?

– Не надо.

– Национальная программа по культивированию национального колорита, – все же начинаю перечислять я, – программа поддержки национальной литературной традиции – кстати, не поясните, что это за хрень? Национальный проект по внедрению национальной культурной идентичности – тоже загадочная формулировка, зато щедрое финансирование по линии ЮНЕСКО, разве нет?

– Не надо, прошу вас!

– А что, разве есть еще какие-нибудь программы? – деланно удивляюсь я. – Ах, ну да! Фестиваль национальной вышивки, международный конкурс на лучшее исполнение песен «Здоб ши здуб», театральный фестиваль молдавского неодекаданса – но ведь это все мелочевка! В крайнем случае, вытянете за счет местных спонсоров, но вот как быть с культурной идентичностью?

– Давайте все же это... – трясет ладонью Кокша, и я замечаю, что трясется она и сама по себе, от избытка волнения, – решим вопрос.

– Дело не в нас, сколько можно повторять? Вы можете перевести на мой личный счет весь бюджет министерства, только проблемы это не решит.

– А как же ее решить? – поднимает на меня глаза министр. Сейчас он похож на брошенного старого пса.

Я неспешно возвращаюсь к столу и усаживаюсь в кресло. Кажется, партия выиграна, думаю я и делаю решающий ход.

– Решить можно. Нужно просто сделать ставку на ежегодный список Всемирного фонда памятников, – говорю я и, не дав министру возразить, уточняю. – На другой список.

***

Госпожа Хильда Содерстрем улыбается мне каждые полминуты. Что мне, представленному ей в качестве активиста общественной организации по спасению национальных шедевров, остается? Лишь улыбаться в ответ, отдавая должное европейской политкорретности и ненавидя ее, эту гребанную политкорректность, от всего сердца. Успокаиваю себя тем, что ей, бедняжке, куда хуже, чем мне. Вернее, чем нам обоим – мне и Виорике Батыр, этой представившей меня гордой и молчаливой сотруднице министерства культуры, занимающей одно из четырех задних кресел в маршрутке рейса «Кишинев–Каушаны». Еще на одном месте, у левого окна, сидит мрачный мужик, от которого несет перегаром и дешевыми сигаретами, а оставшиеся два кресла занимаем мы – госпожа Хильда и я.

В маршрутке – духота с запахом пота, дешевого одеколона и несвежих продуктов. Из щели между двумя дребезжащими дверцами прямо за нашими спинами дует и невыносимо несет выхлопными газами, а на каждом ухабе мы подпрыгиваем до потолка – в прямом смысле, едва не ударяясь головами. И все равно после каждого подбрасывания наших несчастных тел госпожа Хильда смотрит на меня через линзы своих узких очков и по-европейски сдержанно улыбается.

Черт ее знает, что у нее в голове – подозреваю, что особенности молдавских пассажирских перевозок утомили ее уже через полчаса после отправления, а ведь едем мы уже почти час. Я улыбаюсь в ответ и нахожу, что соседство с этой немолодой и некрасивой – толстые короткие ноги в юбке до колен, зад тумбой и длиннющий нос, явно перевешивающий короткую мальчиковую

стрижку, – женщиной и есть самое приятное, что могло случиться со мной в этой маршрутке.

Ее гражданство так и остается для меня загадкой, хотя по фамилии и безупречному английскому она сойдет за шведку или финку. Внешне я принял бы ее за немку, впрочем, все эти чиновники международных организаций сами с уверенностью не скажут, где их дом и какой из пяти свободно употребляемых ими языков родной – а еще говорят, что истинных космополитов не бывает в природе.

С госпожой Хильдой мы обмениваемся ничего не значащими фразами, и по мере приближения к Каушанам ручеек ее вопросов пересыхает – заметно, что она по горло сыта живописными холмами центральной Молдавии, ее поросшими камышом прудами, ее пустующими селами, разбитыми дорогами и вонючими, подпрыгивающими на каждой кочке маршрутками.

Виорика из министерства не удостаивает меня даже взглядом, лишь иногда, напялив на лицо маску заинтересованности – у нее это выходит в лучшем случае на «троечку» – смотрит мимо меня на госпожу Хильду, редкие вопросы которой доставляют ей не меньшее беспокойство, чем самой госпоже Хильде – экстремальный колорит наших краев. Я даже начинаю подозревать, что Виорика, с которой мы познакомились лишь сегодня утром, за час до встречи в аэропорту Хильды Содерстрем, осведомлена о подробностях моей договоренности со своим шефом, хотя Кокша и пообещал, что вместо себя пришлет ничего не решающего статиста, просто, чтобы обозначить обеспокоенность министерства культуры судьбой архитектурного шедевра.

– Ехать придется на маршрутке, – предупредил я Кокшу, и, вероятно, именно в этот момент он и решил, что в поездке компанию мне и представителю Всемирного фонда памятников от министерства составит кто-то другой.

– Представляете, как это будет выглядеть, если поедем на одном из наших авто, – саркастически искривился я. – Нет, конечно «Молдгазпетрол» может выделить транспорт, но что на это скажут иностранцы? На седьмом БМВ стоимостью сорок три тысячи евро, а?

Министр понимающе кивнул, постукивая по своей папке. Он уже мало напоминал разбушевавшегося монстра, которым показался мне каких-то десять минут назад. С того самого мгновения, когда озвучил наш план. Свой, если говорить откровенно, план.

– Вы соображаете вообще?! – вскочил Кокша, сотрясая воздух криком и своей толстой папкой.

– Да вас за такое!! – швырнул он папку себе под ноги, а я потянулся к телефонной трубке.

– Это же национальное, мать твою, достояние!!! – выпучил он глаза, и мне показалось, что в меня сейчас что-то полетит – скорее всего, не папка у его ног, а стул из-за его спины.

– Охрана! – прогремел я в трубку, и в ответ услышал не прерываемый тишиной гудок.

Как, впрочем, и в прошлый раз. Министру культуры, приглашенному в центральный офис концерна «Молдгазпетрол» в первый и, скорее всего, в последний раз, знать не обязательно, но мне-то точно известно, что тревожная кнопка в нашей конторе есть лишь в одном из двухсот шестидесяти четырех кабинетов. У генерального директора компании, к которому, если честно, без специального вызова и так не пробиться. Мой же рабочий телефон уже во второй раз блистательно исполнил роль жупела: вышедший из себя Кокша мгновенно, как дрессированный пес, сел на стул, и лишь подрагивавшие на подобранной с пола папке руки напоминали о все еще бушевавшем внутри него урагане.

Я же, как ни в чем не бывало, продолжил.

Продолжил излагать свой план, с опорой, как и предупреждал министра, на список Всемирного фонда памятников. *На другой список.*

Несколько минут спустя Кокша был похож на вояку, взятого в плен в последний день войны, – чувство его личного поражения скрашивалось облегчением от того, что мучения продлятся, скорее всего, недолго.

– Мы ведь юбилейную монету собирались выпустить, – вздохнул он, – как раз с изображением церкви.

– Так вот вам и повод, – парировал я, и он, грустно усмехнувшись, лишь покачал головой.

– Кстати о поводе, – сказал я и полез в тумбочку под столом.

– Что вы, какие уж тут торжества, – замахал он руками и, соскользнув с его колен, папка снова оказалась на полу.

– Помянем заранее, – сказал я и открыл напугавшую министра, как первые рассветные лучи – ночную нечисть, бутылку коньяка. – Если над тобой шесть футов земли, тебя любят все. Так, кажется, у классика?

– Ммм... Ионеско? – прищурился министр.

– Ммм... почти, – сказал я.

– Я не буду пить, – помрачнел Кокша, не сводя глаз со второго наполняемого бокала.

– А если чокаясь? – улыбнулся я.

Министр недоуменно пожал плечами.

– Есть ведь и другой повод. Обнадеживающий, уверяю вас.

– Да уж, – снова сыграл сокрушенное отчаяние он.

– Ваш гонорар, – сказал я.

– Простите?

– Го-но-рар.

– За что? – шепотом спросил Кокша.

– Знаете, наверное, вы правы, – поднял бокал я и посмотрел на министра сквозь темно-медовую жидкость. – Это ведь не так уж дорого стоит – снять восемь соток земли с баланса министерства культуры?

Молчал Кокша секунд сорок. Потом мы выпили.

Разумеется, не забыв чокнуться.

***

– Две штуки евро! – хватается шеф правой рукой за голову, а левой бьет по столу. – Мать твою, две штуки!

Вообще-то это, конечно, ерунда. Ну, взятка в две тысячи евро – боюсь, меньше десяти штук шефу уже давно не приходилось давать. Так ведь и его, если их так можно назвать, партнеры по процедуре сдачи-приемке взяток – не лохи из рабочего квартала. Вице-министры, вице-премьеры, министры экономического блока, руководители департаментов финансового надзора, а то, поговаривают, и Сам. Нет, не президент: слухи связывают нашего шефа финансовыми отношениями с генеральным прокурором, вот только слухи эти распространяем мы сами – дружные члены единого коллектива «Молдгазпетрола», а доверять нам, уверяю вас, нет никаких оснований.

– Целых две штуки! – не успокаивается шеф, и я вздыхаю – виновато, но так, чтобы он понял: это все, что я мог сделать.

Хотя не уверен, что на его месте я вел бы себя по-другому. В конце концов, кто он такой, этот министр культуры? Чирь на заднице отечественной экономики, мелкий, но назойливый кровосос, от которого не зависит ни один мало-мальски важный вопрос: от выдачи лицензий и предоставления налоговых льгот до такой ерунды, как штрафы за нанесение ущерба окружающей среде.

Я тихо напоминаю шефу об участке земли, все еще находящегося на балансе министерства культуры, и он, выругавшись сквозь зубы, принимает мою сторону.

– Давай этого, как его, – рычит он в трубку, – примара этого сюда!

Не дождавшись ответа секретарши, бросает трубку на аппарат и медленно остывает от приступа бессильной злобы.

Примар Каушан оказался высоким мужчиной лет под шестьдесят, с продолговатым красным лицом и пугливым, но цепким взглядом. Сев по левую руку от шефа, которой мой дорогой начальник молча указал примару на стул, он с волнением смотрит на меня, решив, видимо, что я собираюсь оставить его наедине с шефом.

А я и не собираюсь никуда уходить, встать же мне приходится потому, что переворачивать огромные листы на флипчарте, не вставая из-за стола шефа нет никакой возможности – офисный демонстрационный треножник находится метрах в семи, в самом центре просторного шефского кабинета.

Подойдя к флипчарту, я решительно срываю колпачок с красного маркера.

– Есть два варианта развития событий, – говорю я и пишу на чистом листе крупную единицу.

Шеф и примар слушают меня молча: шеф потому, что прекрасно знает все, что я скажу, примар же от услышанного, по-видимому, теряет дар речи.

– Нет, ну это, извините, – пересилив себя, говорит он, когда я заканчиваю с изложением первого варианта.

– Мы тоже так решили, – перебивает его шеф. – Все-таки толпа – совершенно непредсказуемый организм. Даже самая организованная.

Примар облегченно вздыхает – этап устрашения нам явно удался. Первый вариант плана, который я по просьбе шефа разработал для гарантированного принятия всеми сторонами основного, второго варианта, ничего хорошего каушанскому градоначальнику не сулил. Предполагалось, что толпа, разъяренная политикой примара, ринется на штурм его резиденции, но, организованно оттесненная полицией, вынуждена будет отступить и тогда, не менее организованно изображая народный гнев, выместит его на первом встретившемся по пути здании – расположенной метрах в пятидесяти от примарии церкви Успения Богородицы.

Возражения примара на наш бутафорский план отличаются, надо признать, безупречной логикой.

– А на второй день меня снимут, – взволнованно говорит он. – Должен же кто-то будет ответить за этот бардак?

Мы с шефом сочувственно молчим.

– И потом, – продолжает примар, – где гарантия, что полиция остановит толпу? Сами же говорите – непредсказуемый организм.

– Вот и я говорю, – кивает шеф.

На самом деле, при все своей липовости план был не таким уж блефом, и по большому счету, нас с шефом волновало одно – что толпа не справится со своей основной задачей.

Слишком уж основательно строили в семнадцатом веке.

– Поэтому перейдем к варианту номер два, – говорю я и переворачиваю лист флипчарта.

***

– Это ужасно! – говорит Хильда Содерстрем. Достаточно громко, но без приличествующего ситуации волнения.

– Это трагедия! – шепчу я, и из уголка моего правого глаза стекает робкая струйка.

Виорика Батыр из министерства культуры застывает, опустив глаза, по стойке смирно, словно в нашем присутствии приспускают государственный флаг и объявляют минуту молчания.

Что ж, покойник и в самом деле перед нами. Мы стоим у забора каушанской церкви Успения Богородицы, за которым нашим взорам предстает картина, от которой передергивает даже меня: сплошные развороченные развалины и пролом в заборе с противоположной от нас стороны.

Хотя проломившую каменную стену забора фуру убрали уже на второй после происшествия день, следы от ее колес видны до сих пор: стартовав с вершины крутого холма, они теряются в развалинах церкви, похоронены в них так же, как сам автопоезд длиной четырнадцать метров похоронил шедевр мировой архитектуры и иконописи.

– Ужасно, – повторяет госпожа Хильда, – могли погибнуть люди.

– Безвозвратно утрачен шедевр, – говорю я и, спохватившись, бросаю на нее взгляд. – К счастью, водитель решил переночевать в гостинице. К несчастью, – констатирую я, – фура была загружена металлом, а не овощами. У церкви не было шансов на спасение.

Устало вздохнув, Виорика Батыр обращает взгляд к небу, вероятно, вспомнив, что и на обратном пути не избежать мучительной поездки в маршрутке.

Фура действительно въехала в стену забора ночью. Правда, водителю было не до сна: он должен был успеть, прежде чем выпрыгнуть в открытую дверь, снять машину с ручного тормо-

за, чтобы во время неизбежного расследования напирать на внезапно возникшую техническую неисправность, доказать которую все равно не представлялось никакой возможности: от фуры осталось еще меньше, чем от церкви. Не доказать теперь и того, что вместо заявленного в путевых документах металлопроката фура была загружена списанным металлоломом.

– Мы будем настаивать на возведении точной копии погибшего шедевра, – с дрожью в голосе говорю я. – Конечно, не здесь. Не на этом проклятом месте. Мы возведем новую церковь Успения в Кишиневе, на самом высоком городском холме – там, где ее будет видно из любой точки города.

Слушая меня (а слушая ли, сомневаюсь я), госпожа Хильда Содерстрем достает из сумочки ручку и упаковку ментоловой жвачки, а из папки, которую она сжимает под мышкой – отпечатанный лист. Присмотревшись, я покрываюсь нервным потом, а госпожа Хильда как ни в чем не бывало забрасывает в свой некрасивый рот две подушечки «Орбит» и кладет лист поверх папки.

Я успеваю разглядеть первое предложение – «Causeni Assumption of Our Lady Church (Moldova)»[1] и еще два, расположенных друг под другом и предваряемых пустым квадратиком: «2010 Watch Sites» и «2010 Lost Sites». Исчезающие и исчезнувшие памятники, быстро перевожу я про себя и допускаю непростительную ошибку – задерживаю дыхание в тот момент, когда она заносит над квадратиками свою ручку.

Госпожа Хильда застывает – на несколько мгновений и, на мое счастье, для того, чтобы языком справиться с застрявшей между зубами жвачкой, а потом решительно – я и понять ничего не успел – ставит галочку.

В квадратике напротив нижней строчки.

***

Когда меня вызвал к себе шеф, ничего хорошего от этой встречи мне не светило. В кабинете генерального я бываю нечасто – два-три раза в месяц, но в тот раз звонок его секретарши напомнил мне прежде всего о провале недельной давности. По большому счету моей прямо вины там не было: упрекать шеф должен был в первую очередь себя, а еще – с полсотни своих заместителей, начальников отделов, экспертов и, главное, – своих московских патронов, настоявших на очередном повышении цен на газ. На этот раз без шума не обошлось –раздираемое противоречиями и борьбой интересов молдавское правительство объявило наш «Молдгазпетрол» сырьевыми мародерами, пятой колонной и даже сборищем предателей нации. Шефа вызвали на закрытое совещание к премьер-министру, откуда он, по свидетельству очевидцев, вернулся навеселе: публичная порка компании на телевидении и в прессе обернулась лизоблюдством председателя правительства, избравшего тактику выклянчивания прежней, или хотя бы чуть менее грабительской цены в обмен на воистину премьерский магарыч нашему генеральному.

От выпивки с премьер-министром шеф не отказался. Цену, однако, не снизил, и в подконтрольных премьеру газетах появились распечатки контрактов, заключенных шефом еще в его бытность владельцем бензозаправок, которыми, он, кстати, владеет – пусть и негласно – до сих пор. Один вид отсканированных оригиналов контрактов внушал к публикациям доверие и настраивал, даже без изучения текста договоров, на мысль о прошлых темных делишках, без которых генеральный уж точно не добрался бы до нынешней карьерной вершины.

Все было ясно как день: премьер-министр не побрезговал прямыми кляузами на генерального в надежде, что компромат достигнет адресата – российского нефтегазового руководства, без поддержки которого шеф и весь «Молдгазпетрол» выглядели бы не намного умнее торгующего овощами на кишиневском рынке перекупщика, который вместо товара выставил бы на прилавок картонку с написанным кривыми буквами объявлением: «Помидор временно нет».

Очевидным был и прокол нашего департамента маркетинга, который я имею несчастье – другие мысли после провалов меня не посещают – возглавлять. Я и сам знал, что должен был предпринять: созвать с два десятка руководителей телекомпаний, редакторов газет – разумеется, «независимых», свобода которых всегда зависит от тех, кто заказывает им репортажи и публикации.

[1] *Каушанская Церковь Успения Богородицы (англ.)*

Я знал, о чем с ними должен был говорить, и даже сейчас могу без запинки повторить основные тезисы, которые, не особо перенапрягаясь, они запишут и выдадут за собственный эксклюзив – не удивительно, что на следующий же день в молдавских СМИ появится с десяток неотличимых друг от друга эксклюзивов.

Антикризисный пиар, блокировка черного пиара и прочая маркетинговая муть – обо всем этом я, разумеется, осведомлен и, уж поверьте на слово, лучше, чем кто-либо в нашей компании, вот только ничего этого я не предпринял. Пальцем не пошевельнул, чтобы обелить имя генерального, а заодно – поддержать репутацию «Молдгазпетрола» и, чем черт не шутит, отправить пучок отравленных стрел в сторону премьера. Говорю же – брать на себя вину не стану, притом, что виноватым в отсутствии противодействия если бы кого и признали, то только меня.

И виновен я, если быть до конца откровенным, на все сто. Хотя бы в том, что даже не попытался выбить у руководства финансирование на этот самый антикризисный пиар. Приглашать же алчных газетчиков, стыдливо пряча руки в пустые карманы – ход настолько же расчетливый, как дразнить воображаемой коровьей тушей стаю окруживших тебя голодных львов. Загрызут, и кто скажет, не превзойдут ли журналисты в кровожадности беспощадных хищников саванны.

Или хуже того – уволят ко всем чертям.

Мало что соображая, я добрался до приемной шефа, где секретарша, проявив невиданное для представителей ее профессии милосердие, не стала продлевать мне муку ожидания в приемной, а сразу впустила меня в исчадие ада. Ну, или в святую святых: в нашей компании и тем и другим является кабинет генерального.

– Тут интересное дельце намечается, – сказал шеф, и я сразу понял, что газетные помои волнуют его куда меньше, чем пыль на рабочем столе.

Я сразу расслабился и даже как-то обмяк, почувствовав в ногах непреодолимую, хотя и приятную слабость. Хорошо хоть шеф заранее предложил мне сесть в кресло напротив себя. Значит, не уволят, вздохнул я про себя.

Я боюсь шефа и не боюсь в этом признаваться. По крайней мере, самому себе.

В чем я, собственно, виноват? В том, что на свою зарплату – шестьсот долларов в месяц – могу считать себя счастливчиком?

– Оглянитесь вокруг! – призывает генеральный на ежемесячном совещании. – Посмотрите, какая нищета в этой сраной Молдавии!

Мы, его подчиненные, украдкой переглядываемся: все понимают, что кто-то снова поднял самый болезненный из всех возможных вопросов. Не ущербность тарифной сетки и не чрезмерный износ газораспределительного оборудования. И даже не вечную проблему должников. Больше всего шефа беспокоит очередная просьба о повышении зарплаты. А поскольку напрямую обратиться к нему с такой просьбой могут лишь руководители департаментов или филиалов, то и высказывается он здесь и сейчас – на ежемесячном совещании с руководителями департаментов и филиалов.

– Тотальная безработица, – загибает пальцы шеф. – Средняя зарплата в сто двадцать долларов. Самый низкий уровень жизни в Европе. Вам-то, – с тремя загнутыми пальцами обводит он нас глазами, – чего не хватает?

Молчание, которым отвечаем мы генеральному, убеждает его и, самое главное, нас в том, что один из нас и в самом деле погорячился. Перегнул палку. Повел себя, мягко говоря неколлегиально, как говорит шеф, и он, конечно, прав. Прав как всегда. Лишь пару часов спустя я снова смогу думать о том, какое это счастье – быть неженатым в мои тридцать. Даже не представляю, как бы я выдерживал это «как-нам-жить-на-эти-гроши», как терпел бы ежедневные допросы супруги о наших финансовых перспективах. И до чего бы в конечном счете дошел. Ударил бы жену или прирезал генерального?

– Вы здесь – как за каменной спиной, – уверяет нас генеральный, и у меня, как всегда, когда меня накрывает волна восторга, пробегают мурашки по голове, у самых корней волос.

Я чувствую, что мои оживившиеся коллеги испытывают нечто похожее. Как это удается ге-

неральному – для меня до сих пор загадка, но в тот день, когда меня не стала мариновать в приемной его секретарша, шефу удался номер покруче.

– Дело такое, говорить о котором не положено не то что за пределами офиса, – сказал он. – Рекомендую тебе онеметь сразу за дверью этого кабинета.

Признаться, меня распирало от гордости – шеф уже победил, даже не приблизившись к сути дела. Уже потом, когда меня отпустил приступ энтузиазма, и я с некоторой горечью вынужден был признать, что испытывал это ощущение как будто под гипнозом, я все равно не удержался от внутреннего чувства восхищения генеральным и с завистью подумал, что мне такое ни за что не по зубам. Дать подчиненному почувствовать сопричастность к чему-то важному, обременив его при этом сложнейшей задачей и даже не намекнув на возможности карьерного или финансового роста.

– А дело, как это ни банально, в трубе, – сказал шеф и рассмеялся. – В чем же еще может быть в нашей компании дело? – смеясь, спросил он у меня.

Даже в полной мере оценив хитроумие шефа, я тем не менее ничего не мог с собой поделать и бросился в омут поставленной передо мной задачи, хотя заранее понимал, что омут скорее напоминает пропасть в лучшем ее виде – бездонную, нижняя точка которой заботливо, чтобы не травмировать взгляд смотрящего сверху, укрыта плотной пеленой тумана. Мне и не пришло в голову поинтересоваться, почему решение, по большому счету, кулуарной, требующей вмешательства на самом верху задачи, доверено мне – ничего не решающему руководителю департамента маркетинга, не говоря уже о том, что ни о каких премиальных речи я, разумеется, не завел.

Как не собирался в случае успешного завершения дела особо отмечать меня шеф, для которого – и это я понял позже, а он, разумеется, рассчитал заранее – высказанное мне «особое доверие» имело и оборотную сторону, которая вполне могла стать лицевой, если бы дело получило неожиданную и скандальную огласку. В таком случае я становился тем стрелочником, которого не жалко и к рельсам привязать – в конце концов, репутацию можно отмыть и кровью того, кто назначен главным виновником.

Но тогда, оставшись с шефом один на один в его кабинете, я меньше всего думал о рельсах и о безжалостно надвигающемся поезде. Как и генерального, меня страшно заинтересовала труба.

– Она должна пройти вот здесь, – закрытой колпачком ручкой прочертил шеф на специально расстеленной на столе карте маршрут новой ветки газопровода. – А нам нужно немного свернуть. Вот сюда, – показал он на точку, располагавшуюся километрах в десяти от утвержденного маршрута.

Тыча в карту ручкой, шеф улыбнулся и заговорщически моргнул – в принципе, он мог бы обойтись без подробностей, я и так понял, что все сведется к банальной махинации. Он, однако, слово сдержал и долго, около двух часов, обстоятельно рассказывал мне о собственных планах, явно рассчитывая получить мое молчаливое восхищение своей находчивостью. Он его и получил: улыбаясь, я благосклонно кивал в ответ, а внутри меня в это время наполняло море спокойствия и уверенности. Словно это не ему, а мне достанутся дивиденды от негласного и, главное, неизвестного московским покровителям шефа переноса части газопровода, от которого генерального ждет не только десерт в виде формально заявленных и уже полученных из Москвы, но фактически сэкономленных средств на солидный десятикилометровый крюк и связанных с его установкой несостоявшихся, но также щедро оплаченных строительных работ. Это еще и стабильная, как лондонское – ровно в пять вечера – чаепитие, прибыль от закладываемых на каждый километр плановых потерь газа, которые теперь можно смело откачивать в собственный резервуар генерального – а что такой существует, в компании шептались давно.

Десять сэкономленных километров – не так уж много для «Молдгазпетрола», что уж говорить о наших российских хозяевах? Тем понятнее беззаботный авантюризм генерального и его уверенность в отсутствии неприятных для него последствий.

– В России километры срезают сотнями, – уверенно заявил он, хотя я готов был поспорить на свою годовую зарплату, что об украденных российских километрах он шепчется за спиной россиян с такими же, как он сам, директорами армянского или там, эстонского нефтегазового

представительства. По большому счету, для него это был такой же гипотетический вопрос, как для нас – слухи о его собственной газовой цистерне.

– Есть, правда, одна проблема, – сказал он, и его ручка остановилась на схеме Каушан. Небольшого районного центра километрах в семидесяти от Кишинева, через который, как я теперь понимал, и предстояло пустить нелегальную ветку.

– Церквушка там какая-то, – постучал по карте он. – Ну как – недействующая, старая. Проблема в том, что какая-то особо редкая, и земля, на которой она стоит, не продается в принципе – находится в бессрочной собственности государства, на балансе министерства культуры. В общем, подумай, – предложил он и тут же не оставил мне выбора, – надо это как-то решить.

Решать я начал со сбора информации. Два дня поиска в Интернете увенчались успехом – во всяком случае, о церкви Успения Богородицы – так, как оказалось, называется церковь, – нашлось с десяток ссылок, что для молдавских объектов исторического значения – уже несомненный успех. Церковь и в самом деле оказалась большой редкостью: я даже нашел упоминание о том, что в мире такого типа церквей сохранилось не более пяти. Впрочем, это могло быть лишь мнение чересчур восторженного поклонника отечественной истории. Оказалось даже, что когда-то церковь находилась под охраной ЮНЕСКО. Впрочем, в таком статусе она задержалась ненадолго: филиал ООН по культуре не любит портить собственную статистику заведомо безнадежными объектами.

Зато случайно обнаруженный сайт Всемирного фонда памятников привел меня в близкий к экстазу восторг – я был словно археолог, чья лопатка доносит до слуха кажущийся небесным звоном глухой стук, возвещающий о первой находке на месте древнего города. На первый взгляд, фонд не обещал ничего особого: обычная история для проедающих международные дотации бездельников, пока я не наткнулся на них. На два списка, развернув которые на полный экран, я почувствовал себя хранителем страшного и всесильного знания, от которого, возможно, зависит судьба мира.

Первый список содержал различные исторические и культурные памятники, между которыми было мало чего общего, за исключением одного: все они были в ужасающем состоянии, «на грани исчезновения», как это уточнялось в пояснении к списку. Там же указывалось, что до того момента, как памятники будут выведены из списка – а это, как говорилось там же, можно достичь лишь путем реконструкции шедевров, – всякое международное финансирование культурных проектов в этих странах приостанавливается. В обязательном порядке и по линии всех без исключения организаций.

Я чувствовал себя как охотник, заметивший волка и шедший по его следу. Особый кайф состоял в том, что зверь не заметил преследования и уверенно шел к собственной стае, и вот уже скорее охотник напоминал хищника в предвкушении знатной добычи.

Так оно, по правде говоря, и случилось. Первый список вывел меня на второй – безнадежно утраченных памятников, и нарисовавшаяся в моей голове комбинация – без видимых усилий, совсем как безукоризненное творение самого ничтожного паука – подвигла меня на поступок, на который в другой раз я не решился бы даже под угрозой физической расправы. Я страшно, почти физически, боюсь своего шефа, но тогда я не раздумывал ни секунды: поднял трубку и сообщил удивленной секретарше, что срочно нуждаюсь в аудиенции генерального.

Не знаю, будет ли в моей жизни еще раз подобный триумф. От шефа я шел, почти не касаясь пола в длиннющих коридорных хитросплетениях нашего огромного офиса. Я летел на крыльях собственного вдохновения – никогда не думал, что работа может вызвать подобные воздушные ощущения.

Одобрив мои планы – основной и резервный, предложенный в качестве блефа ради успеха основного, шеф пообещал лично решить вопрос с каушанским примаром, а меня попросил (я прошу тебя, так и сказал) дожать, как он выразился, министерство культуры.

Что ж, дожимать я решил с нового сбора информации.

Для начала – узнать имя нашего министра культуры.

Николай БОЛДЫРЕВ

ТРИ ЭТЮДА О ТАРКОВСКОМ

(Из неизданной книги «Страна, которая везде и нигде»)

Какое кино хотел снимать Тарковский?

Воин, осуществляющий совершенствование, в древности находился в состоянии мистического проникновения в мельчайшее и тончайшее, в глубинах, не поддающихся познанию...
Лао-цзы

1.

Формально говоря, у Андрея Тарковского в канун смертельной болезни было множество планов, однако было ли у них внутреннее обеспечение для реализации, если помнить о том, что Тарковский – художник не повторений, не эстетических вариаций на любимую тему, но восхожденья? Я попытаюсь еще раз вернуться к таинственному по стилю и смыслам выступлению художника в одной из лондонских церквей в 1984 году с речью-размышлением об «Откровении Иоанна Богослова», или, как он попросту в ходе речи об этом говорит, об «Апокалипсисе», о предупреждающем гласе Конца света – теме тем, а быть может единственной существенной для позднего Тарковского теме. Взгляд на жизнь не только с точки зрения твоей личной смерти, которая всегда у тебя за спиной с левой стороны, но и с точки зрения гибели цивилизации, полного ее внезапного прекращения (прекращения Свыше за ненадобностью), кое тоже вот здесь, в воздухе висит над тобой.

«...И теперь я задаю себе вопрос: что я должен делать, если я прочел Откровение? Совершенно ясно, что я уже не могу быть прежним не просто потому, что изменился, а потому, что мне было сказано: зная то, что я узнал, я обязан измениться...»

Парадоксальнейшее заявление, в общем-то немыслимое в нашу «постмодернистскую» эпоху, не ставящую слово ни в грош; сказать такое мог человек либо средневекового склада ума, либо интуитивно постигающий импульсы Предания. Первое, что удивительно: отчетливость осознания, что ты *изменился* (признание в этом), прочитав «самое великое поэтическое произведение, созданное на Земле». Второе – это смиренное, лишенное суетности и гордыни, приятие Вести, восприятие Иоанна как столь же смиренного передатчика, где Весть – это весть самого источника, из которого исходит всё живое в живом; «наивно-детское» допущение *реальности* такой вести. Отсюда – обращенность к себе долженствования: «Я обязан измениться...» Подчеркнутая императивность. Эта открытость Тарковского к изменению, идущая из восприятия жизни не как способа самоутверждения, не как акцентированной эксплуатации одной из своих потенций, кои бесчисленны, а как «трансформационного лона», как зоны религиозного страдания (чувство вины, о котором он говорил постоянно), а себя – как посланного в эту Зону с конкретной своей личной целью и заданием, которые ты должен понять (понять без чьей-либо подсказки, понять из своего корня) и исполнить.

«Детскость Тарковского состояла в его глубочайшей наивной вере в абсолютную силу искусства», – пишет Андрей Кончаловский. Но человек, который на себе чувствует силу искусства, чувствует «вечные» истечения, из него идущие, не может не придать своим занятиям искусством той же значимости. Здесь прямая связь между способностью восприятия и способностью творчества. Профанность восприятия (равно произведений искусства, природы, людей, самой жизни) ведет к профанному творчеству. Не головой, не в остроумии доводов решается вопрос, есть сила в искусстве или нет. Разумеется, для большинства современных людей и для многих так называемых художни-

ков сила – в деньгах, так сказать «абсолютная сила», если пользоваться выражением Кончаловского. Однако эта их убежденность проистекает из того факта, что они сами никогда не были потрясены и тем более *изменены* (тем более на степени осознания этих в себе перемен) произведением искусства. В чем же причина? В том, что вход в святилище для них запечатан. Для восприятия великой поэзии (в любом жанре) требуется равно великая душа и труд, почти равный труду создания. Для восприятия сакрального нужен открытый сакральный канал в воспринимающем. Мысли на эту тему весьма часты в дневниках Тарковского, перемежаемые и подкрепляемые цитатами из Гёте, Торо, Гессе и других его любимых писателей. Для Тарковского, как и для его любимейшего автора – Лао-цзы, самое сильное это именно таки самое нежное, гибкое, юное, наивное («детскость» – говорит с иронией и с сочувствующей улыбкой «взрослого» Кончаловский), ибо реально миром движет невидимое, а не видимое. Можно с уверенностью сказать, что акты адекватного восприятия великих произведений искусства случаются *немного* раз в столетье, но это проблема не «слабости искусства», а слабости современного человека, окуклившегося в своем коконе, сквозь который почти ничего из творящих энергий не проходит.

Ностальгия по изменению себя (в себе), по внутренней трансформации – это то, что изумительно отличает Тарковского, ибо нет ничего сложнее, чем захотеть измениться: все в современном человеке и в цивилизационном стиле побуждает к накопительному самодовольству, так что решающее мировоззрение сегодня – гедонизм, ловля кайфа дня сего, фрагментного и со всех сторон заизолированного, фактическое отвращение к страданию во всех его формах.

Могут сказать, что этот «трансформационный комплекс» был у Тарковского в последние годы уже чем-то болезненным, почти истерически-навязчивым, переходящим в идею самоуничтожения, реализованную, правда, не на себе, а на героях. Однако здесь речь идет о двух разных вещах: самоизменении и жертве. Конечно, они связаны, и все же это не одно и то же. Изменить себя – это, можно сказать, исконное начало кинематографа Тарковского, ибо на преодолении себя, на «истерическом неврозе» такого преодоления в себе «естественности» (в противоестественном мире быть естественным, быть может, самое кошмарное) построен образ Ивана. Эти энергии самонедовольства, «самоедства» дают импульс внутренним ритмам образов Рублева и Криса Кельвина. Трансформационной, нежнейше прочерченной пластикой отмечен «Сталкер», где герои определенно (хотя и смущенно-скрытно) ищут эту целительную штольню к избавлению себя от стагнационной статики, в которой они замерли, как мухи, охваченные паутиной. Про «Зеркало» и говорить нечего: рассказчик Алексей сам поставил себя в ситуацию: либо умереть, либо измениться, т. е. прорваться к миру *до* всех его интерпретаций, к миру как чистому созерцанию, как процессу спонтанно-лонных превращений.

И лишь постепенно в Тарковском нарождается понимание сущности религиозного страдания (напомню: религиозное страдание – страдание души, не имеющее никакой житейско-конкретной причины; русская тоска, если это не похмельный синдром – пример религиозного страдания): если оно хочет выйти из фазы пассивности в фазу созидательную, оно должно стать жертвенным, отдающим нечто от себя ценное.

Почему же я *обязан* измениться? Потому что «мне было сказано», т.е. Сказано («в Начале было Слово»), т.е. из Источника (посредством акта веры, т.е. интуиции) переданная весть. «Зная то, что я узнал (но знать, что именно узнал Тарковский, нам не дано; что узнал *он*, не узнаем мы, каждый раз это иное знание: по заслугам, дару и интуиции каждого. – *Н.Б.*), я обязан измениться». То есть – «не могу не измениться». И долг, и естественность – единовременно.

И далее Тарковский переходит к себе как к художнику: «...Собираясь делать свою новую картину («Жертвоприношение». – *Н.Б.*), собираясь делать новый шаг в этом направлении, я ощущаю совершенную ясность в том, что должен относиться к нему не как к свободному творчеству, а как к поступку, как к вынужденному акту, когда уже работа не может приносить удовольствия, а является *тяжелым и даже гнетущим долгом*. (Курсив мой. – *Н.Б.*) По правде говоря, я никогда не понимал того, что художник может быть счастлив в процессе своего творчества. <...> Человек живет не для того, чтобы быть счастливым. Есть вещи гораздо более важные, чем счастье». Это последние слова в речи.

Признания ошеломляющие после ставших уже тривиальными заявлений художников о творче-

стве как желанном благе, как спасительной нити. Вот ведь и мой настольный Кьеркегор, исключительно близкий героям трех последних фильмов Тарковского, о том же: «Я счастлив, только когда творю... Стоит сделать перерыв хоть на несколько дней, и я болен, угнетен, голова тяжелеет...» Что-то вроде наркомании. Или: «Сколь часто я говорил себе: подобно принцессе из "Тысячи и одной ночи" я спасал свою жизнь тем, что длил рассказ, то есть сочинительствовал. Сочинительство и было моей жизнью. Чудовищную тоску, сердечные страдания симпатического свойства – все, все мог я преодолеть, если сочинял. Когда мир обрушивался на меня, то его жестокость, кого-нибудь другого подкосившая бы, меня делала еще более продуктивным. Я забывал абсолютно обо всем, никто и ничто не было властно надо мной, если только я мог писать...»

Нельзя сказать, что Тарковский мог бы прожить без творчества, совсем напротив – он очень страдал от длительных вынужденных простоев, и сама реальность жизни во многом воспринималась им как возможность работать, о чем в дневниках немало сказано. Но счастье? Нет, совсем иная, почти болезненная внутренняя установка, притом не придуманная и отрепетированная, а признательно-глубинная. «...Я *должен* относиться к нему не как к свободному творчеству...» (Курсив мой. – *Н.Б.*) За этим – жертва личным эстетическим произволом и выход к понятию долга как внутреннему и принципиально внесоциальному «приказу». То есть Тарковский явно пытается уйти от счастья как вещи эстетической, чувственно-языческой, в сферу действия этического. Художественное для него – область не только и не столько эстетики (эстетика – игра рассчитанных на восприятие и на восхищение формообразующих сил – учитывается, но не является чем-то решающим), сколько религиозного импульса, который всегда пограничен со страданием как сферой преодоления душой телесного хаоса или телесного благополучия. В лекциях на Высших режиссерских курсах он говорил: «Замысел должен возникать в какой-то особой сфере высшего внутреннего "я"». И далее он через понятие фильма (его замысла и создания) как *нравственного поступка* вел нить беседы к задаче *духовной реализации* как основной задаче художника. Что, конечно, труднейшая работа.

Как видим, перед нами художник не только интуитивно, но и, к концу жизни, сознательно религиозного склада. Не случайно с годами его все сильнее занимал вопрос, а стоило ли тратить жизнь на «подражание Творцу», т.е. на творчество как создание «оттисков» своих душевных состояний; не правильнее ли, не достойнее ли было бы направить все свои силы непосредственно на то, «чтобы бороться со злом в себе, чтобы преодолеть все препоны на пути к Господу...» (Дневник от 23 мая 1983 г.) Эти мысли весьма часты, и в последние два года это одна из главных, если не главная, мучительных тем в его размышлениях. Что насущнее и эффективнее для его души – *художественный* путь трансформационных перемен, когда ты «вытягиваешь» себя силовыми полями воссоздаваемых образов, «вытягиваешь» и себя, как тебе кажется, к некоему новому уровню (именно благодаря страданию) или прямой монашеский, отшельнический путь? Наивно думать, что сюжеты бегства Льва Толстого или жития святого Антония интересовали Тарковского со стороны возможности их эффектной пластической подачи на экране. Случай Тарковского – редчайшее явление прирожденного монаха-искателя, православно-дзэнского созерцателя, оказавшегося волею случая в царстве кинематографа, «погрязшего» в нем и таким образом совершенно спонтанно оплодотворившего его. Потому он и казался порой нелюдимым чужаком, почти мизантропом, что был существом не из нашего века, существом, который, с одной стороны, пытался приспособиться к этому веку, дабы выжить, не погибнуть, а с другой стороны – пытался внести свою лепту в спасение его.

2.

Прирожденным даром Тарковского была его способность созерцать: здесь акцент не на *что*, а на – *как*. В *качестве* созерцания заключалась его сила. Его камера могла бы созерцать помойку, и из этого вышел бы незаурядный по вязи вневербальных смыслов фильм. И фильм бы о льдах вышел втягивающий. И о чем ином другом. В процессе такого созерцания Тарковский, несомненно, получал наслаждение. Но почему же в реальности каждый фильм был для него не *свободным творчеством*, если доверять его признаниям, не спонтанным течением (не песней соловья из естественных его глубин), а «вынужденным актом», исполнением «тяжелого и даже гнетущего долга»? Не потому ли, что

Тарковскому приходилось загружать эту чистую процессуальность созерцания кипящей и мучительной для его разума социально-религиозной конкретикой?[1] В чистое, парящее *как* вмешивалось разрываемое безысходным трагизмом *что*. Проделывать эту внутреннюю работу «постановки темы», к тому же чреватую для него каждый раз ответственностью и риском публичного поступка – вот что он называл словом «долг»[2]. Загружать фильмы (особенно начиная со «Сталкера») не просто экзистенциальным, но страстно-полемизирующим с «днем сим» и с нравами «мира сего» пафосом. Но, несмотря на эту внутренне почти пропагандистскую, пронзительно-щемящую страстность, «Сталкер» и «Ностальгия» – самые сильные и самые совершенные его произведения. Невозможно поверить, что родились они как детища «тяжкого и гнетущего долга». Так естественна пластика формы, изящен ритмический медитационный рисунок. Эту способность Тарковского превращать внутреннюю этическую страстность в поток созерцательной пластики я уже назвал как-то в одной из книг *этическим эросом*... Так текут по земле ручьи, прогреваемые солнцем.

Тяжелый долг полемизировать с деградирующей действительностью – вот что сближало Тарковского с Гамлетом, которому тоже чрезвычайно не хотелось «ставить на место» зарвавшихся мерзавцев вокруг; Гамлету тоже хотелось быть созерцателем таинства жизни, а не исправителем сошедшего с катушек мира. Гамлет понимает, что вынужден погибнуть, погубить свою душу, начав разговор со своим окружением на их языке – языке насилия и крови. Конечно, он мог бы «умыть руки» и уйти в монастырь, куда он пытается отправить Офелию, однако он действует в рамках своей судьбы, ибо ему было явление духа отца. Думаю, не открою большого секрета, если скажу, что Тарковский воспринимал свой кинематограф где-то в одной тональности со своими нескончаемыми попытками понять великое одиночество души принца датского. Что-то (что именно – решаешь ты сам либо судьба) должно быть положено на жертвенный алтарь. Лучше, если тайно. Как у Кьеркегора. Но иногда это бывает так ярко и шумно, как у Альберта Швейцера или как у Гамлета. Тарковский, несомненно, приносил свои жертвы, и одной из них, я думаю, была его постоянно возобновляемая полемика с «днем сим», с гибельностью пути интеллектуализма.

Возникает невольный вопрос: а какое кино снимал бы Тарковский, будь у него развязаны руки, не чувствуй он над собой «тяжелого и даже гнетущего долга»?

Однажды после «Страстей по Андрею» он признался ближайшим сотрудникам, как бы ему хотелось «снимать длинные-длинные, скучные-скучные и потому прекрасные фильмы». Эдуард Артемьев вспоминал о теме одного из таких «мечтаемых» фильмов: «овраг, спуск к реке, трава, ребенок» и... всё. Но при этом ощущение космичности и космической значимости происходящего в кадре не должно было покидать зрителя ни на мгновенье. «Он вообще считал, что для кино наиболее подходящим является классический вариант театра: единство времени, места и действия (Почти реализовано в “Сталкере” и “Ностальгии”. – *Н.Б.*). Тарковский мечтал сделать фильм, который длился бы ровно столько, сколько он его снимал. Говоря об этом, Андрей имел в виду не хроникальную, а именно художественную ленту, с выстроенным кадром, сыгранной ситуацией и т.д. В качестве примера он часто приводил фильм “Сон” <...> Энди Уорхола – знаменитого художника, одного из создателей поп-арта, увлекавшегося также и кино. Так вот, в этом фильме полтора часа на экране показывается спящий человек, за которым наблюдает кинокамера. Андрей говорил, что в действительности такой фильм не произведение искусства, но определенное смысловое зерно в нем, безусловно, присутствует...»

---

[1] И дело не только в том, что в России того (а нынешнего и подавно) времени абсолютно немыслимо представить себе востребованными фильмы, которые Тарковский действительно хотел бы снимать.

[2] Понятие долга ощутимо связывалось у Тарковского с чувством близости «того света» и уверенностью в бессмертии души. Потому-то разговор о Конце света для него тема не абстрактно-эзотерическая, а приватно-исповедальная. И в альтернативе между искусством, наслаждающимся своим мастерством, и искусством, рождающимся из преодоления себя вчерашнего и сегодняшнего, он инстинктивно выбирал второе. Единственно достойной (этико-космичной) формой художественного поступка ему представлялось преодоление в себе «плоти», т.е. чувственно-эстетического начала и выход в сферу духовных переживаний, уже не охватываемых понятием «чувств». Потому-то преодоление было всегда для него целостной задачей: и творческой, и приватно-личной, субъективно-экзистенциальной. Ведь даже просветленный Якоб Бёме говорил: «Частично наша жизнь – это постоянная борьба с дьяволом».

Независимо от Уорхола у Тарковского была своя задумка по поводу спящего. Однажды в Риме, в канун съемок «Ностальгии», сидя с Олегом Янковским в своем любимом кафе в центре итальянской столицы, он рассказывал: «...В пору ВГИКа у меня была бредовая идея снять фильм о том, как человек спит. Правда, потребовалось бы слишком много пленки. Я хотел бы снять момент, когда мы отрешаемся от повседневной жизни и с нами происходит нечто необъяснимое, словно возникает связь с мирозданием, с прошлым и будущим. Обнажаются нити, на которых зиждется наше сознание... Потом я отсмотрел бы материал, все неинтересное бы вырезал, оставив только это непостижимое ощущение соприкосновения человека с космосом. Ну и расшифровал бы эти сны... Если сможешь – пойми, что кроется за таким состоянием...»

Надеюсь, читатель давно уже понял, что «космос» в словаре Тарковского не абстрактное научно-технологическое, а конкретное реально-мистическое понятие. Космос – это место взаимодействия миров, взаимокасания измерений. Дом в «Зеркале» с его самошевелящимися шторами и с подоконниками, смотрящими в сад, увиден оком камеры как космос. Космично колыхание травы, мерцание воды в кувшине, бутыль с молоком в руках малыша, космичен порыв ветра, уронивший со стола в саду лампу и буханку хлеба... Непознаваемость мира самоочевидна. Граница между так называемым реальным и так называемым нереальным зыбка, неопределенна, смещаема.

Космос – это земное измерение, где пересекаются «это» и «то», временное и вечное, так называемое прошлое и так называемое настоящее. Космичен луг, холм, спуск к реке... Космична наша ризомосфера.

Чувство космизма жизни у Тарковского исходит из ощущения тайны, в которой мы оказались по факту рождения. Нет никакой одномерной и «самоочевидной», одной для всех реальности. «В каждый момент реальность (в устах Сталкера – “зона”. – *Н.Б.*) такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием». Реальность в «Сталкере» предстает полифонным организмом, вслушивающимся во всю многомерность человека, о которой он зачастую не догадывается. Реальность зондирует человека до его глубин, провоцирует его «неотмирную» силу, и таким образом он получает свою судьбу.

Понятно, что таким разговором в кафе режиссер готовил Янковского к роли, к ее метафизической подоплеке (вполне справедливо «Ностальгия» считается самым метафизичным фильмом мастера). Однако нам интересен сам замысел неснятого фильма, лишь частично реализованный в сновиденно-грезящем продвижении Горчакова к истокам своего внутреннего – с психологией почти не связанного – времени. Тарковского в фильме о спящем интересовало то сознание человека, когда он «останавливает» мир, то есть выходит из кружения в беличьем колесе социумной своей упряжки и остается наедине... С чем? Что остается? Что это за «нити, на которых зиждется наше сознание»? То есть его интересовало чистое, свободное от чувственно-эмоциональных трений, от психических и психологических противоборств, страхов, тщеславий и иных похотей (хотений) сознание. Сознание нагуаля – сказал бы Кастанеда. Другими словами, Тарковский хотел увидеть, ощутить, почувствовать эти пути к наидонному пласту нашего сознания, к «нерожденному», «космическому» субстрату его.

Другую ленту такого, экспериментально-метафизического, рода Тарковский хотел посвятить своему деревенскому дому в Рязанской области, который он самоощущал как свою взрослую родину. Кстати, он собирался сам выступить в качестве кинооператора. Размышляя об этой ленте в дневнике, он проронил такую странную фразу: «Быть может, это путь к бессмертию».

Еще об одной, четвертой, идее он рассказывал однажды Маргарите Тереховой, уже после съемок «Зеркала»: «...Я хочу снимать кино домашнее: вот сидит в комнате у окна женщина, читает книгу, и я снимаю долго-долго...» Полнометражный художественный фильм без сюжета, без интриги, без музыкальных зрителю подсказок, вне какого-либо жанра. Просто женщина у окна с книгой в руках, женщина как неизвестная вселенная, за молчаливым бытийствованием которой мы будем наблюдать полтора-два часа как за той тайной нас самих, которая является нам иной раз случайно в блестках кратких мгновений, когда мы выпадаем из бега и вдруг ошеломленно смотрим вокруг чужим, никого и ничего не узнающим взглядом: кто я? где я? что́ это всё? Или когда мы оказываемся в пограничном состоянии между явью и сном.

Разве увиден кем-то когда-то просто человек? Один-единственный, конкретный? В его бытийственности накануне ухода, но не в распаде, а во вневременности, то есть не в физическом и не в психологическом времени живущий, а в том времени, когда мы, скажем, проснулись, но еще не охвачены чарами своей «личности», когда мы еще никто, когда мы неведомое нечто, заглянувшее в невероятность самого себя за окном.

Подробность, детализированность, текстурность и одновременно «внемирность» зрения камеры Тарковского созидает из комнаты, окна, пейзажа за окном, текущего ручья и самой женщины с книгой, из ее рук, глаз, волос, лица – пейзажи и ландшафты грезящей и томительно-блаженной протяженности, в ритмах той почти сновиденной медлительности, в которой раскрывается некая ритуальная тайна нас как нереализованных, нереализовавших себя посланцев[1].

Несомненно, во всех этих вариантах Тарковского интересовала некая в чистом виде «корневая система» существа, его ризомная потенциальность, *еще не рожденная* его сущность.

Или вот еще музыка. С каждым новым фильмом все больше отказываясь от привычной киношной бутафории, добиваясь аскетизма средств, Тарковский считал и музыку тоже «средством от лукавого» – знаком слабости визуального ряда, не излучающего собственной внутренней музыки. Вспомним знаменитый (вполне дзэнский) афоризм мастера: «Фильм должен быть как капля влаги из камня». Натекать должно из внутреннего. Музыка в фильме, размышлял он в «Запечатленном времени», должна быть адекватна «внутренней сущности мира как такового, его собственной, независимой от нас сущности». И далее: «Главная моя идея состоит в том, что мир так прекрасно звучит сам по себе, что если бы мы научились должным образом его слышать, то музыка не понадобилась бы вовсе»[2].

И все же: был бы этот нереализованный кинематограф Тарковского метафизически и эстетически выше снятых его картин?

3.

То, что эти колебания мастера между двумя возможными путями даже не творчества, а жизни были совершенно реальными и мучительными, видно по «Мартирологу». Вот, например, запись 10 мая 1976 года: «...Мне скучно будет снимать “Сталкера”, хотя я знаю *как*. Мне будет скучно снимать “Идиота”. Я хочу истины *собственной*. Мне скучно будет снимать “Гофмана”, хотя я его написал, – т.к. я хочу истины...»

Далее он пишет о желании бросить кино и заняться чисто литературным творчеством, определяя «истину» как метод, не «что», а «как». Истина – как новый стиль жизни, истина как продвижение в новое качество себя...

После мытарств с «Рублевым», «Солярисом» и «Зеркалом», после всех бесконечных борений за отстаивание своих детищ, Тарковскому хотелось уйти глубоко внутрь себя, поближе к утайному своему, ризомному богу, полному бездонной потенциальности, хотелось перестать быть общественным, то есть с неизбежностью внешним, человеком. Стать приватным мыслителем, анахоретом, монахом. И любопытно тут именно вот это: «...хочу истины собственной». Сказано так и в таком контексте, словно бы в кинематографе, где каждый фильм был для него, как он сам говорил, этически значимым поступком, все же он не мог реализовывать свою *собственную истину*, где бы он разговаривал на равных с равными себе, словно бы философско-религиозная подоплека его фильмов была все же

[1] Мне приходилось слышать немало рассказов о случайных подсматриваниях за зрелым Тарковским, любившим, как дитя, играть в ручьи и кораблики, в запруды, дамбы, протоки, озерца, в сады камней или вообще в никому не понятные игры с природными реалиями и вещами где-нибудь на опушке леса или у речной пустынной излуки. Манипуляции веточками, листьями, травами, камешками, шершавостями и гладкостями, теплотой и холодностью, влажностью и сухостью, вибрациями, исходящими из беспризорных сутей, звуками и посылами свечений, внесмысленными ракурсами... Он уходил в наблюдение за разводами какой-нибудь старой-престарой стены или за древесными морщинами, или за игрой теней, или неистово следил за «внутренней жизнью» жука, ползущего из неизвестности в неизвестность... Точно так же он и слушал...

[2] Высказывание, достойное включения в антологию дзэн.

предназначена, как это ни покажется странным, – для *других*. Некое вынужденное соучастие в делах Эльсинора, от которых куда же деться, когда ты чувствуешь неотвратимость своего долга...

Вся эта, какая-никакая, но сюжетность, вся эта «содержательность», все это «что» – это требования к тебе твоего долга, и потому в известной степени всё это – для других. Для других – все, о чем пишут критики, о чем спорят и о чем с ним полемизируют, обвиняя то в садомазохизме, то в религиозной абстрактности, то в приверженности к «пантеизму», то в синдроме истерического невроза, то в мании величия, то в нарциссизме. Критики и так называемые культурологи – ужасные люди, они с маниакальным упорством выхватывают из живого потока словечки, винтики, болтики, всякого рода фактики, фантики и с необычайным почтением к своей говорильной машине начинают концептуализировать, ибо фильм для них – всего лишь повод дать интеллектуальной машине поработать. Они полностью заняты материей под названием «что», их совершенно не интересует – «как»: процесс, течение, свеченье, хотя ведь даже сам Лао-цзы сообщает, что *дао* выявляет нам себя в вещах лишь как мерцание и трепет... Их не интересует созерцание как попытка исхождения из нас электрона сущности для встречи с другим электроном сущности. Но в этом «как» вся суть и все влеченье, вся тайная и явная философия режиссера, его сердечные смыслы и его истина. Только в этом. Только в этом он раскрыт до своих изнанок. Здесь всё – подлинность и исповедь до последней ноты, здесь всё – то самое, нежнейшее, похожее на утреннее сновиденье... А в «что» – немало из примышляемого, из измышляемого, из причастного к интеллектуальным потугам и мученьям; и это не странно – ведь интеллект, чуть дай ему волю, так и рвется в первенство, так и норовит обогнать зыбящееся, легкое, легчайшее марево, воспаряющее водное свечение духа. Дух легок-легок, невесом, едва уловим, едва видим, нет – он невидим, ибо видим «метафизическим» оком, «третьим глазом», дух виден лишь в ритме процесса, струенья, в ритмах безмолвно-реального, почти внечеловеческого созерцанья – бесконечно-замедленного, ибо внимательного к крохе вещества, где скрыты, как принято говорить, миры; дух – это ритмические паузы в самом струеньи Ничьего созерцанья, созерцанья Ничьим оком – пустым, очищенным от каких-либо смыслов, символов и концепций; дух – это танец, он – весь в «как». Но критики не знают, что делать с «как», они не знают, что делать с подлинностью режиссера, с течением «семянного в нем вещества» – как сказал бы Розанов, и они набрасываются на «что»: интеллект набрасывается на себе подобное – на подобие интеллектуальной пищи, придумывая и измышляя смыслы, которых отродясь не было в потоке: что, например, *значит* камень в горном ручье? Разве он строительный материал, разве его пребывание в напористом и светящемся горном ручье, в котором плывут облака, разве его пребывание в этой «ручьистости» заключает свой смысл в его способности быть строительным материалом?..

Один известный словенский культуролог, как бы уличая Тарковского в «фальсификации жертвоприношения», пишет о двух персонажах Эрланда Йозефсона: «...Принесение бессмысленной жертвы можно рассматривать как поступок человека, страдающего навязчивым неврозом, твердо уверенного, что если он совершит это (принесет жертву), то катастрофу (в “Жертвоприношении” речь идет о гибели мира в ядерной войне) можно будет предотвратить или приостановить. Подобное поведение проистекает из известного невроза навязчивого состояния: если я не сделаю этого (не подпрыгну два раза на месте, не сделаю рукой магического знака и т. п.), произойдет нечто плохое. (Детская природа одержимости идеей жертвенности представлена в фильме “Ностальгия”, когда герой, следуя предписанию погибшего Доменико, несет горящую свечу от края до края спущенного бассейна в надежде спасти мир.) Как известно из психоанализа, постоянное ожидание грядущих опасностей связано с психологическими аспектами jouissance[1] ...»

«Тарковский полагает, что подлинность искупительного жертвоприношения в том, что это “бессмысленный”, иррациональный поступок, бесполезная трата или ритуал (вроде перехода через спущенный бассейн с горящей свечой или поджога собственного дома). По его убеждению, только такой спонтанный порыв, где отсутствует всякая рациональная мотивировка, может дать нам возможность снова обрести истинную веру, спасти нас, исцелить современное человечество от поразившего его

[1] *jouissance – художественное наслаждение (фр.).*

духовного недуга. Субъект у Тарковского готов на свою кастрацию (отказ от самого себя, собственного рассудка, добровольное принятие состояния детского “слабоумия”, подчинение бессмысленному ритуалу), преисполненный решимости освободить Большое Другое: подобное возможно совершить только действием, идущим вразрез здравому смыслу...»[1]

И далее, по нарастающей, персонажи фильмов режиссера объявляются истерическими невротиками, проводится их сравнение с «психотиками и извращенцами» ну и т. п., разумеется, с «разоблачающее»-ироническими интонациями.

Что это, как не типично *интеллектуальный* подход к медитационным поэмам Тарковского? Все очень просто: Тарковский и его герои, реально видящие, как наш хваленый мир гибнет у них на глазах, захлебываясь «материальной блевотиной», и пытающиеся его спасти нестандартными средствами, – оказывается, всего лишь истерические невротики. Интеллект, спасая свою репутацию, легко вводит непонятное в область понятного и известного. Как совершенно справедливо заметил однажды Эрнст Бенц, автор книг «Видение» и «Адам», «духовидцы склоняют теперешних вооруженных естествознанием наблюдателей к чисто психопатическим истолкованиям своего опыта, а если возможно, то и к соответствующему “целительному” воздействию. Наше сегодняшнее время пугливо защищает себя от всех потрясений трансцендентного, так что современных визионеров прежде всего помещают в клинику с честным намерением избавить их от такого рода “нарушений”. Носителей подобного рода “аномальных” душевных способностей, живших в прежние времена, сейчас также объявляют психопатами и, таким образом, пусть задним числом и только в воображении, помещают в ту же клинику» (*Перевод К. Мамаева*).

Впрочем, можно вступить и во вполне рациональную полемику со словенским аналитиком, заметив, что никаким «детским слабоумием» Александр, например, не страдает, и в его поступке (сожжение дома) как раз таки отчетливо присутствует «рациональная мотивировка»: в отчаянии от известия о начале атомной бойни, он заключает «договор» с Творцом («Большим Другим»), по которому в случае, если Высшая сила прекратит земное безумие, Александр обязуется сжечь свой дом и уйти в затвор. Вполне рациональный и очень даже выгодный торг, можно сказать блестящая – с точки зрения пользы для себя и домашних – сделка. Какой же тут «истерический невроз»? Напротив, необычайное здравое мужество и самообладание, более того – героизм.

В случае с Горчаковым тоже ни малейшего намека на «слабоумие». Риск утонуть в бассейне со спущенной водой или сгореть в пламени свечи у Горчакова невелик. Труд сам по себе небольшой – пронести свечу, но зато – будет исполнено обещание, данное (вначале почти из вежливости) итальянскому незнакомцу Доменико. Выполнить обещанное – немаловажно для интеллигентного человека. К тому же в общем-то забывшего об обещании и уже собиравшегося уезжать. Но тут звонит переводчица и сама спрашивает: «А ты выполнил просьбу Доменико (она не знает – какую), он спрашивал у меня, он сейчас в Риме читает проповедь, после чего сожжет себя...» Вот после чего (после каких «смыслов») Горчаков едет выполнить свое обещание, данное Доменико, который ему таинственно симпатичен и который, вероятно, как раз сейчас отдает свою жизнь ради того, чтобы проповедь его была услышана, ибо современный «здравомыслящий» человек, чья голова забита компьютерным и телевизионным мусором, психоанализом и иными теориями, уже не способен что-либо услышать, если это не оплачено осязаемой мученической смертью говорящего. (Впрочем, и это ныне мало на кого действует.)

Так что ни капельки «детского слабоумия» в поведении Горчакова не просматривается. И цель его, когда он собирается нести свечу, отнюдь не в навязчивой идее «исцелить современное человечество от поразившего его душевного недуга». От подобных высокопарных помыслов далеки не только Горчаков, предельно целомудренный в словесности, и Александр, но и юродивый Доменико. Цели последнего скромны, и он вовсе не тешит себя иллюзиями. Он здравый человек, хотя и, несомненно, юродивый. Но юродивость – особый жанр. У юрода другой ум – не родовой. Юродивые всегда стремились «вправить мозги» заблудшему роду, однако, вправляя, не тешили себя надеждами. Чистое действие, ибо без надежды на плоды.

[1] *С. Жижек. Вещь из внутреннего пространства. // Художественный журнал, М., 2000. № 3.*

Увы, интеллектуал в каждом из нас, дай ему волю, играет в собственную игру со словами, не имеющую никакого отношения собственно к кинематографу Тарковского. Интеллектуал в нас не видит слов и действий персонажей из ситуации их растворенности в целостности потока, которым является фильм. Интеллектуальная вивисекция включает вырванные из художественного контекста «смыслы» в чуждые и внеположные ему контексты – психоаналитический, психиатрический, спекулятивно-теоретический и т. п.

Ключиком к «гроту кинематографа» Тарковского является, разумеется, интеллектуальное целомудрие восприятия. «Для чистого восприятия, – писал мастер в "Запечатленном времени", – нужна собственная недюжинная способность оригинального, независимого и "невинного" суждения». И еще без одной вещи не обойтись: «Искусство для восприятия требует духовного напряжения». Духовного, а не интеллектуального.

Странно не заметить, что Тарковский был непримиримым антиинтеллектуалом, полагавшим: либо дух, либо интеллект, где духовный импульс связан с «эдемским» способом познавания – непосредственно-целостно-интуитивным, где *этический эрос* был сердцевиной движения.

Как мало кто в его среде Тарковский понимал, что именно интеллектуалы завели мир в сегодняшний тупик, сделав человека и человечество рабом машины, атрофировавшей душевно-духовный и сердечный разум[1]. Это Тарковскому принадлежит не в бровь, а в глаз бьющее определение нашей цивилизации как *протезной*, ибо она испытывает доподлинное недоверие и почти отвращение ко всему естественному и доподлинную страсть ко всему, что придумывает машинное «рацио», включая рационализированное искусство и рационализированный эрос.

Интеллектуалы ловятся на мнимую «семантическую нагрузку» его картин, впадая затем в скуку и в раздражение. Наиболее осторожные догадываются, что Тарковский мастер ложной символики и что настоящие смыслы его картин лежат в какой-то внесмысловой, внесимволической их плоскости. И тогда кто-нибудь из них, как Кончаловский, вдруг говорит с легкой надеждой: «Хорошо бы пересмотреть однажды все его картины заново. Вдруг после этого я скажу себе: "Да, он во всем был прав!" Вряд ли так будет, но кто знает!» Фигура речи, конечно, ибо без смены мироощущения войти в это измерение невозможно, как невозможно, скажем, понять стихи Р.М. Рильке натиском чисто эстетического их восприятия, ибо вовсе не артистом был мюзотский отшельник.

Тарковский обращается к тем нашим «смутным чувствам», о которых писали еще иенские метафизики, знавшие о том, что существуют вещи, существа и сути, «не имеющие имени». Отнюдь не случайно герои Тарковского постоянно занимаются не столько делами, сколько *неделанием*, если пользоваться даосско-дзэнской терминологией, то есть выводят себя из инерционности действий будто бы заведомо осмысленных. Впечатляюще эту магическую технику *неделания* описал К. Кастанеда.

Делание – это оформление каждой вещи с помощью рацио, оформление в качестве «объективно вне нас существующей» и имеющей именно то назначение, к которому нас приучают с детства всей договорной обучающей системой.

Неделание – это прикосновение к миру в его «иномирном» аспекте, в его укрытости в сумрак чувств, нам неведомых, в его укрытости в нашу собственную корневую ризому, которая и есть *иное нас*. Это соприкосновение с миром, который на самом деле есть нечто *другое*. Эта духовная практика позволяет человеку приостанавливать механистичную накатанность обычных действий как будто

[1] *Интеллектуал здесь – разумеется, не синоним образованного человека, но тот, кто осознанно или бессознательно обоготворяет интеллект. Толпы слабообразованных, бездумно заглатывающих информационный мусор людей являются сегодня фактическими интеллектуалами по мировоззрению, но существуют высокообразованные, способные к творческой интуиции люди, трезво ставящие интеллект на предназначенное ему служебное место.*
И когда сегодня говорят о падении во всем мире «интеллектуального уровня» зрителя (слушателя, читателя) и, соответственно, искусства, то на самом деле имеют в виду падение этического (т.е. духовного) уровня, ибо рациональность-то современного человека как раз неуклонно возрастает. Растет ум (ловкость манипулирования знаниями) человечества, в то время как потенции мудрости (невинности) падают.

бы единственно «нормальных» и «само собой разумеющихся». Попытка сломать инерционный сон будто бы единственно возможного понимания вещного мира.

Тарковский применяет (конечно же, совершенно интуитивно) эту «технику» созерцания «иной стороны» вещей, выводя своих героев из колеи мировосприятия, так что мир в каждой его картине является зыбящейся, слоисто-многозначной, не подлежащей одному-единственному смыслу страной – фрагментом какой-то таинственной целокупности, ключ к которой утрачен[1]. Тарковский не смотрит на мир, он его видит. Смотреть – значит опредмечивать неизвестность, кромсать ее на заранее готовые блоки «смыслов». Видеть – значит касаться до всего *целомудренным* взором, ощущая условность деления единого энергетического поля на предметы и вещи. Видение – само по себе меняет привычный мир, приближает к ощущению бесконечного множества иных его сторон. В видении человек прикасается к истокам своей потенциальности.

Знаменитая сцена несения Горчаковым зажженной свечи сквозь бассейн, которую словенский аналитик назвал проявлением «детского слабоумия» героя, *на самом деле* типичный пример магического приема «неделания»: Доменико с Горчаковым обращаются со свечой и с бассейном таким образом, что нам совершенно ясно (точнее было бы сказать – нам становится ощутимо) – свеча и вода и бассейн поворачиваются какой-то совершенно иной своей, неизвестной нам до сих пор, стороной. Доменико с Горчаковым видят в свече и в ее огне и в бассейне нечто иное, но не символически иное, а реально, бытийно иное. Ибо магия не символична, а конкретно-реальна. Подобно тому как Карлос, долгое время пристально рассматривавший кусочек гальки как таинственный фрагмент неведомости, становится сам в известной мере галькой, так и Горчаков, весь уйдя в этот свечной огарок с огоньком, сам становится им. Неведомость Горчакова в какой-то момент сливается с неведомостью язычка пламени свечи, и в пике созерцательного трансцензуса Горчаков достигает внезапного просветления, свидетельством чему финальный кадр: Горчаков постигает, что в любой момент своего бытийствования он на самом деле находится в храме. (Первое прозрение такого рода посещает героя, когда он оказывается в промежутке между явью и полудремой, лежа возле горящей книги переводов книги отца, возле храмового озерца[2].)

В той или иной степени имеют отношение к «неделанию» весьма многие сцены картин мастера. Взять момент знакомства Горчакова с Доменико: последний сидит у стены своего «дома» (который сам есть развоплощение идеи дома, сам есть феномен неделания) на велосипеде, он крутит педали с сосредоточенным спокойным упорством, однако ни велосипед не едет, ни колеса не крутятся. Доменико разрушает велосипед в его привычных смыслах, общаясь с этой конструкцией как с «пустой» значимостью. Ассоциируя, я мог бы сказать фразой из Чжуан-цзы: «Настоящий путешественник не выходит со своего двора», однако здесь скорее иное: движение вперед обессмыслилось для Доменико, равно как 1+1 дают 1, а не 2 – в плакате на стене в том нежилом пространстве, в котором он живет. В реальном (не этом, придуманном для нас интеллектом) мире действует иная математика, о которой мы и не догадываемся, ибо мы боимся взглянуть *реальности* в лицо. Взглянув в *реальное* зеркало шкафа на улице, Горчаков видит в нем лицо Доменико. То есть один плюс один дают один. Такова реальность глубины.

Из того же разряда – горящая книга отца, общение с пейзажем в Зоне, с ее вещами, бросание гаек в «Сталкере», сцена с предметами и фрагментами вещей под водой при приближении героев к Башне... Читатель сам легко продолжит этот список. Однако на самом-то деле это примеры лишь достаточно остросюжетных «неделаний», в то время как текстура картин мастера словно бы соткана из неназойливого движения «неделания» – как постоянного и органически присущего взору режиссера

[1] Здесь вновь стоит припомнить те многочасовые наблюдения Тарковского за пятнами на стене старого дома или за трещинами в коре дерева, которые, несомненно, имели в его частной жизни отношение к искусству неделания.

[2] Один из моих друзей, хорошо знакомый с дзэном, определил для себя внутреннюю траснформацию, происходящую с Горчаковым, как развернутое во времени (по прихоти режиссера) сатори. Сходство, быть может, действительно есть, если помнить, что ключевыми переживаниями, сопровождающими сатори, являются острое ощущение слиянности-нераздельности иномирного и здешнего, так называемой жизни и так называемой смерти, а также острое чувство возврата на первую родину.

«не узнавания» мира в его привычных для рассудка функциях. Особенно полна этих мизансценически-внесмысленных созерцаний камеры (или взгляда героя) предпоследняя картина. Магия этих наших вовлеченных созерцаний в реальном потоке фильма такова, что мы на самом-то деле, по полной нашей сиюминутной со-творческой искренности никогда не знаем, что именно видим, ибо лишь по рассудочной кажимости перед нами стена или дно бассейна, или натюрморт, или ландшафт, или бывший храм, или фрагмент кровати, а на самом-то деле мы созерцаем *иное* этих вещей и этих фрагментов, и в это инобытие мы погружаемся до такой степени его прозрачной самоочевидности, что чувствуем все проникновеннее – это наше, это мое собственное инобытие. Словно бы мы ощутимо касались мерцаний дао.

Понятно, почему Тарковскому, в идеале, не нужны были в картинах ни разговоры, ни даже персонажи: два человека, разговаривая, уже создают общедоговорную едино-усредненную, из слов (и значит из рацио) идущую систему устойчиво-спекшегося, отнюдь не плавящегося в превращеньях, мира. Ему достаточно было одного-единственного и вдобавок по какой-нибудь причине отрешенного персонажа, способного быть внутренне безмолвным и, следовательно, смотреть на вещи интеллектуально целомудренным взором. Ибо, как говорил Хуан Матус, «всякий раз, когда мы прекращаем внутренний разговор, мир становится таким, каков он на самом деле». Тарковский показывает нам людей, которые временами прекращают эту психологическую жвачку (называемую врачами психическим здоровьем), внутренний мыслительный шум, постоянный комментарий к увиденному и услышанному, и в эти мгновения, в эти минуты мы вдруг видим на экране лик мира, значительно приближенный к «подлинному».

В нашем интеллектуализированном мире Тарковский считал счастье невозможным, потому что разум слишком ясно видит кричащие противоречия, противоборства внутренние и внешние. Разумный человек не может, например, не замечать вопиющих вокруг несправедливостей, пошлостей или вопиющих страданий, страданий будто бы чужих... Лишь сумасшедший, избавившийся от «ума», может, по Тарковскому, быть счастливым. Нельзя не обратить внимания на одну запись почти сорокалетнего автора «Мартиролога» (15 февраля 1972 г.): «Один человек получает возможность стать счастливым. Он боится воспользоваться этим, так как не верит в существование счастья. Он думает, что только сумасшедший может быть счастлив. Однако некоторые обстоятельства убеждают нашего героя, и он решается использовать возможность чудесным образом стать счастливым. И – он сходит с ума. Он присоединяется к другим сумасшедшим, которые отнюдь не просто сумасшедшие, но связаны со Вселенной невидимыми нитями, не замечаемыми и не воспринимаемыми “нормальными”...»

Имеющий уши да услышит.

4.

Несколько по-другому, нежели уважаемый словенец, разрушает целостность художественной медитации Тарковского Ольга Суркова, стремясь «читать» фильм не изнутри его самоценного пространства, но сквозь призму тех, якобы уникально-приватных, своих знаний о личной жизни художника, которые кажутся ей достоверностью первого сорта, неким «ключом», способным открыть «сейф». «...Но почему Жертва, приносимая Александром, вовсе не выглядит для меня столь тотально убедительной, как хотелось бы режиссеру, а его собственно художественный замысел разрушается литературной умозрительностью? Потому что нельзя принести в Жертву то, что давно уже не любишь, с чем расстаешься на самом деле с радостью. Дело все в том, что еще задолго до “атомной катастрофы” или испытания, посланного лично Александру, его дом предстает в этом фильме таким холодным и бездушным, таким безлюбовным, что его сожжение начинает восприниматься, вопреки художественным намерениям автора, скорее *личным возмездием* героя своей насквозь пропитавшейся фальшью семье, нежели актом, предпринятым во спасение “всего человечества”...»

Суркова исходит здесь из своего «предваряющего знания» (изложению которого – кстати, в высшей степени неубедительному и суесловному – она посвятила целый том), знания о том, что семья

Тарковских, якобы, изначально была насквозь фальшива[1]. Но не наивно ли в анализе художественной медитации исходить из таких умозрительных предвзятостей, идущих из внешнего по отношению к произведению мира?! Во-первых, цель Александра вовсе не «спасение всего человечества», а спасение своей семьи, а если уж совсем точно – мальчика, Малыша, являющегося духовно доминантной фигурой, олицетворением той преемственности, которая единственно важна и для Александра, и для самого Тарковского; это передача того нового (восточно-даосского) духовного зернышка, которое ожило в душе Александра и теперь нуждается в земле, воде и садовнике. Росток должен быть спасен, спасена должна быть «духовная истина». А что до «личного возмездия» своей «пропитавшейся фальшью семье», то ведь ядро и центр этой семьи – сам Александр и Малыш, живущие душа в душу и любящие и свой дом, и остров (иначе зачем бы Малыш, символ интеллектуального целомудрия, стал бы строить и дарить отцу на его день рожденья изумительно-точную малую копию дома?). И вообще, разве не очевидно, сколь вторичны и второстепенны, «антуражны» в этом фильме все женщины кроме, пожалуй, «ведьмы» Марии, разве не очевидно сокрушительное доминирование в нем мужских образов, энергий *ян*? Сводить метафизику души человека, впервые ощутившего присутственную реальность Высшей Силы, к сведению счетов с женой – какая мелкая, какая нелепая идея. К тому же, ни в каком смысле не находящаяся в соответствии с мифологемами и стилем всего кинематографа Тарковского и тем более «образа автора».

Поздний Тарковский определял свободу как «жертву во имя любви». Человеком идеально жертвенного стиля была для него мать Ларисы Павловны Анна Семеновна, сама, разумеется, не ведавшая о той своей духовности, которую в ней видел зять. Уже в «Ностальгии» режиссер оттеняет внутреннюю трансформацию героя образом духовно бесплодной красивой женщины. В «Жертвоприношении» эта тема раскрывается до своих границ. Некогда прекрасный дом действительно предстает бессмыслицей, декорацией. Но именно такой красивой декорацией являются все дома и квартиры нашего современного мира. Но чье око способно увидеть иллюзорность нашей укрытости от *реально свершаемого конца света*? Свет внутри нас истончается и уходит, и остается сумрак, а затем и мрак. Мы уже почти во мраке. Но разве кто замечает это? (Все рассматривают возможный Конец света как чисто внешнюю угрозу, и интеллектуал Ларс фон Триер своей «Меланхолией» лишний раз это подтвердил). Что же сжигает Александр? Не иллюзорность ли уюта и дома он сжигает? Не приносит ли он в жертву ту интеллектуальную матрицу, в которой трусливо укрывается наше сознание? Несомненно, так оно и есть. Александр обещает Высшему существу уйти от общества в немоту. Он приносит в жертву интеллект как ту словесную машину, которая держит в объятьях морока всех нас. Но это и есть последнее завещание нам Тарковского, последний его пророческий призыв: если мы не хотим погибнуть от собственного Конца света, то должны немедля принести в жертву часть своей рациональности, парализовавшей в нас и интуицию духовности, и те каналы, по которым духовные импульсы могли бы начать первое-первое робкое возвратное движение.

Суркова приводит в своей книге[2] восторженное письмо к ней киноведа Леонида Козлова, написанное в 1990 году после прочтения частично процитированного мною доклада Сурковой: «Долгое время, – пишет он, – вокруг творчества Андрея, его судьбы и его памяти нарастало некое облако наваждений, прельстительных и ядовитых. Можно было противостоять этим наваждениям просто в силу внутренней и духовной независимости, в силу естественного иммунитета (как у Ирмы, у Марины). Но еще никто, как мне кажется, не попытался начать разгонять и развеивать это облако сознательным волевым действием. Изрекались предостережения, но они не в счет. Вы – первая, кто вступил в активное противостояние и выразил это противостояние прямым высказыванием, прямым разговором об Андрее на таких нравственных основаниях, на которые, насколько я знаю, до Вас никто не рисковал становиться. Поэтому Ваш текст означает (для меня по крайней мере) *начало подведения очень важной черты* под целым этапом “тарковсковедения” и “тарковскианства”...»

[1] Забавно, что в ходе своей многолетней дружбы с Тарковскими Суркова была в восторге от их семьи. «Прозрение» снизошло на нее лишь после того, как она была Андреем Арсеньевичем отлучена от этой дружбы. См. подробнее в моей книге: «Жертвоприношение Андрея Тарковского». М., 2004, глава «Страсти Пришельца».

[2] «С Тарковским и о Тарковском». М., 2005.

О каком «облаке наваждений, прельстительных и ядовитых» говорил критик? В чем суть этих сакраментальных интонаций: «Изрекались предостережения...»? Почему Суркова с ее, в общем-то, простеньким, поверхностным докладом проявила, по словам Козлова, «нравственную свободу и бесстрашие мысли»? Оказывается, она разрушила некое колоссальное «табу» в сознании самого Козлова, и для него словно гром грянул, ибо выяснилось, что о Тарковском *можно* говорить негативно[1]. То есть никто извне, разумеется, не запрещал, напротив – система это поощряла, но как же смог бы «интеллигентный человек» бросить камень в Тарковского, если при его жизни ему поклонялся, а система-то как раз и норовила бросить в него камешек, системе он был устрашающе непонятен и уже этим отвратителен. И вдруг начать бросать в Тарковского камни? Страшно, вдруг подумают, что ты «не дорос до эзотерики».

Поразительно, что Л. Козлов решился на такую откровенность, пусть и в частном письме (еще удивительнее, что дал согласие на его публикацию). Документ уникальный. «Скажу Вам больше. Вы сделали для меня очевидной мою собственную внутреннюю несвободу, долго тяготевшую над моими попытками что-то писать или что-то говорить об Андрее и его кинематографе. Я слишком долго глушил, если не душил, в себе все те “нет” и все те “но”, все несогласия и неприятия, без которых мое восприятие и приятие творчества Андрея не могли быть полно и внятно осмыслены и выражены...»

Все пока кажется невинным, непонятно только, какая связь между подковырками в докладе Сурковой, направленными в приватную личность Тарковского, и «облаком наваждений, прельстительных и ядовитых», которые она будто бы «сознательно» начала разгонять в этом докладе. Может быть, это «облако наваждений прельстительных и ядовитых» есть сам режиссер как частное лицо? Или, быть может, само его творчество? Наваждение, которое хочется рассеять?

«Сейчас я вспоминаю ту московскую конференцию, – продолжал Козлов, вероятно, имея в виду Первые международные чтения, посвященные творчеству Тарковского и проходившие в Москве в апреле 1989 года. – Она была чудовищно странной, в ней было немало прекрасных и значительных, и трогательных минут, и в то же время в воздухе витали флюиды некоего морока, нечто темное и болезненное, нечто извращенное – смешанный дух ярмарки интеллектуального тщеславия и идолопоклоннического капища. Эти темные флюиды захватывали даже и тех, кто мог бы быть чист и свободен в своей преданности “герою” этого собрания. Мне – время от времени – становилось очень тягостно. Есть известный психопатологический термин – “сверхценность”. Наверное, можно было бы написать небезинтересное исследование “АТ как сверхценность современных интеллектуалов”. Так вот, о конференции, на которой Андрея так превозносили (как гуру, как пророка, как избранника, достигшего высших ступеней духовного совершенства). Признаюсь Вам: после закрытия этого

[1] *Л. Козлов ошибался: Суркова не первая «бросила камень» в Тарковского. «Новый этап тарковсковедения» начался сборником воспоминаний «О Тарковском» (1989 г.), составленном М.А. Тарковской, где целых два абсолютно раскованных мемуара, авторы которых говорят об ушедшем кинорежиссере без малейшего не только что «религиозного», но и всяческого трепета, не скрывая и теневой стороны взаимоотношений с ним. Первый мемуарист – это Кончаловский, второй – художник Ш. Абдусаламов, еще в июне 1988 года бросивший такое обвинение: «Он покинул, сбежал не от отечества, это прозвучало бы риторически, он бросил нас... Кинофестивали, прекрасное вино в кафе на открытом воздухе, Италия, Англия, Швеция... и вдруг – смерть в Париже. Выходит, Париж – не город бессмертных? И это называется не упустить шанс?..» Детскость этого пассажа со всем его ехидством очевидна, но ведь Абдусаламову было важно как-то ужалить уж слишком вознесенного в великие бывшего сотоварища, показать его в том числе и ущербным, и жалким. «...В конце он и сам запутался. Это только в “Жертве” он незащищенный. А до той поры – блуд. Стал декларировать в микрофон, и охотно...» Но более всего желчность мемуариста пролилась на жену Тарковского, которую он только что не кроет неприличными словами (и это при ее еще жизни!) «Правда, в последние годы ему отказало все, и даже лоцманские способности. Рядом с ним постоянно была большая рыба, поглощавшая всю его энергию...» И что Абдусаламову за дело, что за четыре последних года за границей Тарковский сделал столько же, сколько в России делал за десять лет, и что лучший свой фильм, «Ностальгию», он снял тоже там, равно как написал главную свою книгу?! В общем-то, по-человечески все понятно: перед мемуаристом опять-таки стояла задача самотерапии – освободиться от давящего на самолюбие «синдрома Тарковского», выйти из пошлого круга пустых, словно бы заранее заданных (кем?) восхвалений. Найти в Тарковском некий серьезный ущерб, чтобы сказать себе: вот видишь, в тех гнусно-тоталитарных условиях в принципе невозможно было достичь глубин; в нас всех, и в Тарковском тоже, была неистребимая гнильца...*

сборища, придя домой, я почувствовал жуткую потребность отринуть нечто и изрыгнуть это нечто из себя – и все завершилось приступом диких рыданий (я ревел и выл как баба, в течение нескольких минут). На другое утро Оксана сказала мне: “С этой конференцией что-то не то: меня словно преследуют какие-то темные силы”. Я ей ответил: “Прочитайте вслух 90-й псалом, несколько раз подряд...”».

Истерика как симптом какого-то внутреннего коллапса, громадной внутренней несвободы, непроясненного конфликта. Тяжко – быть вовлеченным в некое непромысленное, неосознанное, невнятно-косноязычное коллективное почитание существа, тебе знакомого, бывшего рядом с тобой во плоти. Это достаточно унизительный гнет – невнятица суесловного «радения», не вписанного ни в какую систему координат (а интеллектуалы и не в состоянии вписать Тарковского куда бы то ни было, ежели только не попытаются сделать из него интеллектуала), тем более приправленного «ярмаркой интеллектуального тщеславия», претензией быть причастным к «сверхценности». Вообще же, нет ничего более нелепого, чем восхваления Тарковского людьми не только его и его картин не чувствующими и не понимающими, но нередко и ненавидящими, хотя в это же самое время и ненависть-то эта не настоящая, а кукольная какая-то. Вот где подлинный-то морок!

После своего маленького домашнего бунта Козлов воспринял доклад Сурковой как публичный бунт против всей этой дешевой тщеславной вакханалии. Что ж, продвижение к своей личной внутренней свободе, действительно, так много значит, что дзэнский мастер Линь-цзи, например, давал ученикам ставший знаменитым радикальный совет: «Встретишь будду (т. е. пробужденного, просветленного. – *Н.Б.*) – убей будду; встретишь патриарха – убей патриарха!» Нет ничего важнее внутренней свободы, если ты вступил на путь духовного воина, и потому всякая преграда на этом пути, даже если это величайший авторитет, должна быть на последнем этапе пути воина сметена. Но вот вопрос: на каком этапе пути ты находишься, да и вообще – встал ли ты на свой собственный путь?

В «тусовочном» контексте московской кинематографической среды «бунт» Козлова и Сурковой вполне можно воспринять как реакцию, пусть и запоздалую, возвращения к изначальной искренности: не понимаю фильмов Тарковского, аплодировал – потому что в мороке был. Можно понять это и как стремление вырваться на свободу, когда чувствуешь себя порабощенным чьим-то авторитетом, тем более, если в этот авторитет искренне не верил и не веришь и тем более если идеалы авторитета весьма далеки от твоих собственных настоящих, не измышленных фантазиями на тему причастности к «сверхценности». Ведь сегодня спектр идеалов столь многолик, дался нам этот Тарковский. Да и в самом деле, не стоит ли выблевывать почаще всё то, что мы механически заглатываем и с чем наш желудок в общем-то и не справляется?

Но, пожалуй, главное, что скрыто присутствует в этом конфликте, это непонимание многими той простой вещи, о которой мы уже вскользь говорили: Тарковский никогда не был никаким гуру и, главное, не хотел им быть и никаким гуру себя не считал. Он сам втайне надеялся на духовную помощь извне, хотя сама логика его творчества доказывала ему, что подлинно-идеальный твой гуру – внутри тебя самого. Сама суть его натуры не позволяла ему обманывать себя. Он знал, в чем исток его силы. И каждый раз, когда ему приходилось выявлять в себе проповеднические энергии, он фактически насиловал свою исконную пластически-медитационную природу. И тем не менее это «насилие» вызывает глубочайшее уважение как попытка прорыва – сквозь социумный морок – его глубинной этической воли.

Искусство Тарковского поставило перед восприятием новые задачи, которые предстали перед иными зрителями как непреодолимые барьеры. Не случайно Л. Козлов нарисовал в цитированном письме кошмарный образ «интеллектуальной толпы», не понимающей Тарковского, но словно бы вынуждаемой им восхищаться. Непонимание это есть следствие обреченного пожизненного пребывания сегодняшнего кинозрителя-хронофага на первой из трех возможных стадий жизненного пути – на стадии чувственно-эстетической. Нынешний «массовый зритель» картин Тарковского, несомненно, не понимает их, но, конечно, не догадывается об этом, не замечая этической мистики, но самоуверенно адаптируя иррационально-медитативную ткань с помощью интеллектуальных махинаций восприятия до вполне примитивной сюжетики.

Жертва

Нет героев действия, есть герои самоотречения.
Альберт Швейцер

I.

Говоря о Тарковском как о поэте-этике, я не мог отрешиться от мыслей об Альберте Швейцере. Две души, музыкальные по своему «корневищу», музыку воспринимали как выражение этической таинственности космоса. (А не той беспредметной меланхолии, в которую погружена музыкальная чувственность современного человека-бродяжки.) Равно приникшие к Баху как к посланнику, посредством которого весть отправлена тебе лично. (Подобно *императорскому посланию* из новеллы Кафки.)

Уединенная *созерцательность и музыка* были с детства и оставались до конца двумя главными «страстями» Тарковского. Бах постепенно вытеснил всю иную музыку, оставив место лишь древней китайской и японской «даосской» бамбуковой флейте. Швейцер же, будучи профессиональным органистом, не расставался с Бахом ни в концертах, ни дома, написав о нем одну из лучших в баховедении книг, где, пожалуй, коснулся тайны и своего собственного мистицизма, сказав, например, о Бахе такое: «Этот человек могучего телосложения, благодаря своей семье и своему творчеству поставленный в центре жизни и мира, человек, на губах которого играла улыбка устойчивой радости бытия, внутренне был отрешен от мира, мертв для него. Все его мышление было высветлено чудесным радостным влечением к смерти, ожиданием и предчувствием ее».

Здесь выходит на свет способность жить в двух мирах сразу: иномирное воспринимать как тайно присутственное здесь. «Подлинное смирение достигается тем, – говорил Швейцер, – что человек в своей подчиненности происходящему в мире пробивается к внутренней свободе от сил, владеющих внешним слоем его бытия». Сказано словно бы о персонажах Тарковского, умеющих приоткрывать тень смерти в «сейчас», в текущем. Лишь через эту «дверь» удается войти в сакральность момента.

Эта способность жить одновременно в видимом и в невидимом свое обоснование имеет для Швейцера в духовной сущности Христа: «Для познания, отваживающегося видеть вещи в их истинном свете, вера перестает быть простой верой ожидания. Она вбирает в себя уверенность присутствия. Это возникновение веры в настоящее в недрах веры в будущее ничего общего не имеет с эсхатологическим ожиданием, а, напротив, проистекает именно из его перенапряженности. На то мировое мгновение, которое протекает между воскресением Иисуса и Его вторым Пришествием, мир преходящий и мир непреходящий как бы вдвинуты друг в друга. Этим созданы предпосылки для единственной в своем роде мистики. Исходя из состояния мира, а не с помощью чисто мыслительного акта, как в обычной мистике, всякий *знающий* может рассматривать себя пребывающим *одновременно* в преходящем и непреходящем мирах. Ему следует лишь реализовать мысленно то, что происходит с ним и с миром: в действие вступают силы сверхприродного бытия, и они преображают его, как и все вокруг, в той мере, в какой оно подлежит преображению, таким образом, что внешнее проявление, пожалуй, все еще принадлежит миру преходящему, но сущность уже относится к непреходящему. В тех избранных, кто призван тотчас же при втором Пришествии Христа оказаться в состоянии воскресших, работа этих сверхприродных сил явно должна продвинуться далее всего» (*Из книги «Мистика апостола Павла». Перевод М.А. Журинской*).

Швейцер, чья жизнь центрирована пятидесятилетним добровольно избранным служением «ближнему» (аборигенам Габона) и чья концепция истинной этики требовала от каждого человека *тайного жертвования* любой формой имеющегося у него избытка, – мог бы быть идеальным ге-

роем универсума Тарковского[1]. Это тоже *священный безумец*[2], то есть человек, опирающийся не на ум и социумные правила, а на внутренний иррациональный голос, сущность которого *не от мира сего*. В «Запечатленном времени» (немецкое первоиздание) Тарковский писал: «На вопрос, *что* так настойчиво захватило меня в теме жертвы или жертвоприношения, можно ответить без обиняков: как религиозного человека меня прежде всего интересует тот, кто способен принести себя в жертву: ради ли духовного принципа, ради ли спасения самого себя или же руководствуясь обоими мотивами одновременно. Такой шаг, само собой, предполагает полное отстранение от всех первоочередных эгоистических интересов, то есть решившийся действует в некоем экзистенциальном состоянии по ту сторону всякой "нормальной" житейской логики, он свободен от материального мира и его законов. И все же (или быть может именно поэтому) его поступок производит ощутимые изменения...

Случались мгновения, когда понимание всего этого приближало меня шаг за шагом к практической реализации намерения снять еще более значимый (чем "Ностальгия". – *Н.Б.*) фильм на тему о жертве. Чем более удручающим становился для меня мой опыт познания материализма западного образца и чем больше я узнавал меру страдания, которое причиняет воспитание материалистического мышления, поразившего значительную часть человечества – хотя бы те, повсюду встречающиеся психозы, являющиеся не чем иным, как выражением неспособности современного человека понять, почему жизнь потеряла для него всякое очарование, почему она все более и более предстает ему иссохшей, бессмысленной и удушающе тесной, – тем сильнее я чувствовал необходимость решительно взяться за фильм. Ибо одна из граней возвращения человека к нормальной, духовно наполненной жизни – это, по моему мнению, внутренняя установка: либо ты живешь жизнью, зависящей от технологических и прочих материальных достижений, жизнью потребителя, слепо преданного пресловутому прогрессу, либо же возвращаешься к духовной ответственности, которая в любом случае будет ценной не только для тебя самого, но и для другого... Говоря строго и по большому счету, это означает, что человек, не чувствующий в себе хотя бы в самой скромной мере способности пожертвовать собой во имя другого или во имя дела, перестает быть человеком. Он обменивает свою жизнь на существование механически функционирующего робота.

Разумеется, мне известно, что сегодня мысли о жертве весьма далеки от популярности – едва ли у кого возникает желание пожертвовать собой за другого или за что-то. Решающими, однако, остаются неумолимые последствия такого поведения: потеря индивидуальности ради еще более ярко выраженного эгоцентризма, определяющего не только межличностные отношения, но и взаимодействия целых групп населения... Но главным образом это потеря последней, еще остающейся у нас возможности вернуться к духовному развитию вместо материального "прогресса" и тем самым вновь сделать возможным достойное существование...» (*Перевод с немецкого наш – Н.Б.*).

Как видим, это целая программа переустройства сознания, где главным «рычагом» трансформации могла бы быть, по Тарковскому, реанимация в людях их исконного экологического инстинкта, посредством которого индивид вписан в целостность космоса. Утрата же этого *инстинкта самоограничения* – приношения в жертву некой части самого себя, своих похотей, своей алчности, своего тщеславия, своих «чувств» – свидетельствует о перерождении человека в животное. Что мы и видим сегодня вокруг повсеместно.

---

[1] В «Культуре и этике» «доктор из Ламбарене» писал: «То, что мне позволяет закон и мнение людей, истинная этика превращает в проблему. Она заставляет меня думать о другом и взвешивать – разрешает ли мне мое внутреннее право собирать все плоды, до которых дотягивается моя рука. <...> Истинная этика внушает мне тревожные мысли. Она шепчет мне: ты счастлив, поэтому ты обязан пожертвовать многим. Все, что тебе дано в большей степени, чем другим, – здоровье, способности, талант, успех, чудесное детство, тихий домашний уют, – все это ты не должен считать само собой разумеющимся, ты обязан отплатить за это. Ты обязан отдать силы своей жизни ради другой жизни. Голос истинной этики опасен для счастливых, если они начинают прислушиваться к нему. Она не заглушает иррациональное, которое тлеет в их душах, а пробует поначалу, не сможет ли выбить человека из колеи и бросить его в авантюры самоотречения, в которых мир так нуждается...» (Здесь и далее перевод Н. Захарченко и Г. Колшанского). Именно так: в авантюры самоотречения.

[2] В последнем интервью Тарковский, перечислив своих бывших учителей (Баха, Леонардо, Толстого, Брессона), назвал их «божьими безумцами».

2.

Красота этического закрыта от современного человека. Фигуры позднего Льва Толстого и Швейцера никогда уже не станут массово привлекательными. То, что Швейцер в свои тридцать лет отказался от блестящей карьеры во многих сферах, от уже достигнутого успеха, от первой славы и стал учиться медицине, чтобы уехать в экваториальную Африку, – мало у кого вызывает искренний подъем чувств. Чаще всего те же вялые эмоции, что у окружавших Доменико при его самосожжении[1]. Швейцер, впрочем, больше похож на Александра: он тоже «сжег» свой прекрасный «европейский дом», и его пятидесятилетняя работа на экваторе весьма похожа на обет уединенности и отрешенности (молчания).

Знаменитый рефрен «вот почему наша цивилизация ошибочна» в публичной лондонской речи Тарковского – прямая перекличка с формулой Швейцера «современный человек – явление глубоко патологическое». Современное искусство и культура заражены позитивистским вирусом: они черпают идеалы из самой действительности, из «фактов», что приводит к лавинно прогрессирующей деградации общества. Конечно же, Тарковский прав, когда формулирует сущность искусства как тоску по идеалу. Хотим мы этого или не хотим, но в нашем отношении к искусству всегда доминирует это бессознательное ожидание, равно как и жажда катарсиса. И если искусство предлагает нам в своих «текстах» прямое отражение уровня общества, то мы инстинктивно, помимо воли и заглатываем этот уровень и эти образы в качестве идеальных, этими эрзацами мы бессознательно утоляем свою жажду. «В той мере, в какой доминируют идеалы, заимствованные из действительности, – пишет Швейцер, – действительность воздействует на действительность, и человеческая психика служит тогда лишь понижающим трансформатором».

«Искусство существует не только потому, что отражает действительность, – говорил Тарковский. – Оно должно еще вооружать человека перед лицом жизни, давать ему силы противостоять жизни, обрушивающейся на него всей своей тяжестью, стремящейся его подавить... Искусство дает нам веру и наполняет чувством собственного достоинства. Оно впрыскивает в кровь человека, в кровь общества некий реактив сопротивляемости, способность не сдаваться». Однако современное искусство в его заискивании перед цивилизацией, перед потребителем, перед миазмами торгашества, перед эстетизацией распутства и насилия отнюдь не соответствует этому идеальному описанию, ибо оно, в массе своей, в той же мере бездуховно, в какой безнравственно. «Дух»[2] и «этическое» в словаре Тарковского и Швейцера почти синонимы: к вечности человеку открыт доступ только через анклавы *духовного эроса*, но само духовное приоткрывается человеку только в качестве его собственного внутреннего делания, что на поверку оказывается деянием этическим – в той или иной мере самоограничивающим хватательный инстинкт. Отказ, отдание, отречение, возврат – вот синонимы экологического действия, соразмерного (в рифму) первоначальному божественному жертвоприношению, создавшему наш мир.

«Хотим ли мы, чтобы дух сделал нас способными создать новые условия бытия и вновь вернуться к культуре, или же нас устраивает перспектива по-прежнему черпать духовное из конкретной действительности и в результате неудержимо катиться навстречу гибели? Таков роковой вопрос, перед которым мы поставлены волею судеб». *Это* говорит Швейцер, хотя вполне мог бы сказать и Тарковский, создавший характеры, изумляющие душевной утонченностью и хрупким величием[3].

---

[1] Более того: весьма похоже, что на этой акции самосожжения присутствовали главным образом городские сумасшедшие.

[2] Дух позволяет «материи» иметь «тайную дверь» – возможность трансценденции, «побега в свободу». Ср. в Упанишадах: «В начале был Один Дух, и Дух был все это, вся вселенная; не было ничего другого зрящего. Дух помыслил: "Я сотворю себе миры из самого себя". <...> Если взять сотую долю кончика волоса и еще раз разделить ее на сто частей, то как сотую долю сотой доли – таким ты найдешь этот Дух в человеке, если попытаешься отделить Его; однако именно это в тебе способно быть Бесконечным». (Перевод на англ. Шри Ауробиндо, перевод с англ. М.Л. Салганик)

[3] Всякий настоящий художник устремлен к восполнению себя до целостности. Достоинство Толстого не в последнюю очередь в том, что он «создал» Пьера Безухова и Андрея Болконского; Шекспира – в том, что он «создал» Гамлета;

«Ясно одно: когда общество воздействует на индивид сильнее, чем индивид на общество, – пишет Швейцер, – начинается деградация культуры, ибо в этом случае с необходимостью умаляется решающая величина – духовные и нравственные задатки человека. Происходит деморализация общества, и оно становится неспособным понимать и решать возникающие перед ним проблемы. В итоге рано или поздно наступает катастрофа.

Поскольку мы находимся именно в таком положении, каждый человек должен в наших условиях проявить большую, чем до сих пор, личную решимость и взять на себя доступную только индивиду функцию выдвижения духовно-этических идей. Ничто другое, кроме такого поворота в сознании множества людей, не в состоянии спасти нас...»

Люди, чей главный интерес находится не в материально-потребительской или тщеславной сфере, должны на свой страх и риск выходить в общество с открыто заявленными программами и реальными действиями. Преодолевая свой могучий инстинкт уединенности и действия недеянием, пневматики должны выйти на ту арену, где всегда действовали только «пассионарные» революционеры-бандиты и алчно-тщеславные демагоги. Ибо цивилизация стоит на последней границе с безвозвратным обвалом.

Именно это и пытался сделать Тарковский своим кинематографом, герои которого, отнюдь не супермены, почти буквально вытаскивая себя из болота за волосы, на свой личный страх-риск именно таки вбрасывают в общество свои духовно-этические идеи. Став изгоями, приняв репутацию юродивых: от Ивана – до Александра. «У меня такое чувство, – говорил Тарковский киноведу Гидеону Бахману, – что человечество перестало верить в себя. Не само “человечество”, а каждый отдельный индивид. Когда я думаю о современном человеке, то представляю его себе как хориста в хоре, который открывает и закрывает рот в такт песне, но сам не издает ни звука...»

«Дух должен одарить нас способностью надеяться в условиях, когда обратное воздействие экономической жизни на духовную с каждым днем становится все более роковым и стимулирует неуклонно усиливающуюся деморализацию общества. Дух должен одарить нас способностью надеяться в условиях, когда не только светские и религиозные институты и корпорации, но и люди, считающиеся авторитетами, неизменно оказываются не на высоте, когда ученые и деятели искусства выделяются лишь на фоне бескультурья, а знаменитости, которые слывут мыслителями и таковыми рисуются в глазах публики, в решающих вопросах предстают перед нами только как заурядные писатели и члены академий» («Культура и этика»).

Как это близко мироощущению Сталкера, который, конечно, не изъясняется таким языком, но именно это троица в фильме (в совокупной своей дискуссии) и проговаривает в итоге, побратавшись в итоговом катарсисе за *Комнатой, исполняющей желания*, перед начавшимся «естественно-сверхъестественным» дождем. Но и сам кинорежиссер ощущал себя нелепым одиночкой, и лишь пример другого такого «юродивого» одиночки – Брессона – давал ему необходимую точку опоры. Брессон был для Тарковского идеальным духовным воином, человеком, ни в коей мере не интересующимся «ожиданиями» публики или жюри. Как любил говорить Тарковский, на Брессона общество не влияло, это Брессон влиял на общество. (Полное соответствие призыву Швейцера). Брессон не был на крючке у «проблем общества», Брессон служил некоему Началу в себе. Именно поэтому Тарковский, ставя его на первое место в мировом кино, последующие десять (!) мест оставлял пустыми.

3.

Вспомним диагноз, высказанный Тарковским в его дневнике 1970 года: «Мы калеки в результате страшной болезни, имя которой бездуховность», и далее образ уходящего в бесконечность поезда, в котором осталась отринутая нами «вторая, духовная, половина нашего существа». Мы же остались с материальной, плотской, интеллектуальной. «Человека просто растлили. Вернее, постепенно все друг друга растлили. А тех, кто думал о душе (Сталкеров, Доменико, Горчаковых и им подобных. – *Н.Б.*) –

Достоевского невозможно представить без князя Мышкина и Алеши Карамазова... Впрочем, охотно верю, что кто-то из современных писателей регулярно перечитывает маркиза де Сада. Но ведь это тоже, хотя и извращенная, – «тоска по идеалу», по «себе-идеальному».

на протяжении многих веков, вплоть до сегодняшнего дня, – физически уничтожали и продолжают уничтожать». Либо загоняют в разнообразного вида подполья и катакомбы, либо предлагают рассматривать как потенциальных клиентов психиатрических клиник.

Что же нас может спасти? По Швейцеру, спасение только в воле одиночек, которые, без опоры на давно прогнившие СМИ и общественные институты, начнут все смелее «выступать против господствующего общественного мнения, которое противостоит им, как Голиаф Давиду, во всем великолепии своих доспехов». Спасение в «рыцарях этического», во множащихся индивидуальных акциях, подобных тем, которые воспроизвел кинематограф Тарковского, писавшего в дневнике: «Сейчас человечество может спасти только гений – не пророк, нет! – а гений, который сформулирует нравственный идеал. Но где он, этот Мессия?..» И через несколько абзацев: «...Единственное, что может спасти нас – это новая ересь, которая сможет опрокинуть все идеологические институты нашего несчастного, варварского мира»[1]. И это еще за девять лет до «Сталкера», где выведен именно такой ересиарх глубоко приватного свойства; правда, образ этот словно бы двоится каким-то странным мерцаньем, где ущербность, впрочем, лишь усиливает загадочность. И Доменико, и Александр – это тоже, по Тарковскому, некие эскизы к образу нового Мессии, который способен пробудиться лишь в нас самих.

Герои Тарковского чувствуют словно бы внутренней стороной своей кожи *не договорной* исток человеческой доброты, соучастия. Они чувствуют, что законы этики каким-то странным образом лежат в основании человека как космического тела. («*Татт твам асси – ты и есть тот, другой*», – из Упанишад.) Из этой интуиции рождается у него вся вещно-растительная пластика, вся та корневая увлажненность, что манифестирует абсолютную уверенность каждого кадра в том, что само *основание мироздания* непостижимым образом этично. (И соответственно выпавший из этики человек есть чуждое космосу тело: кусок дерьма с встроенным мозговым аппаратом.) Тарковский визуализирует вещную потенциальность и космичность *этического эроса*. И в этом смысле он, безусловно, делает выдающееся открытие: он *открывает* нашему созерцанию саму фактичность (фактурность и структурность) этического эроса как той энергии, что движет потенциями всех вещей. Этический эрос, таящийся в ризоме, в ризомосфере бытия, Тарковский извлекает из корневой системы как бы случайного свечения вещей. И сам человек как индивидуальность с многомерными потенциями своей собственной неизвестности, входя в свою корневую систему, обнаруживает ризомо-экологические пересечения с корневым бытием любого и каждого; тем самым он входит в понимание подлинных ритмов своего истока.

И еще об одной спасительной ереси напоминает искусство Тарковского, об «ереси», способной опрокинуть все идеологические институты общества: «ереси» возрождения желания жить в *истине-естине*.

4.

«Концепция единства вечного и этического таит в себе непреходящую истину», – писал Швейцер. Этика для Тарковского была связана не с выяснением взаимоотношений между людьми в борьбе их интеллектуально-тщеславных или эмоционально-эгоистических «истин» (мир его фильмов опускает это), а с причастностью Присутствию, которое не домогается ровно ничего. Швейцер: «В качестве предначертания моей жизни я воспринимаю задачу повиноваться высшему откровению воли жизни во мне».

Но чтобы жить космически-этично, а не по указке морали (неважно, будет ли это кодекс благородной или подлой морали), надо быть внутренне свободным, то есть отрешенным. «Поглощение современного человека обществом, поистине единственное в своем роде, – говорит Швейцер, – это,

[1] *Любопытно сравнить с мнением датского «ересиарха» Кьеркегора: «Наше время нуждается не в гении, – я думаю гениев оно имеет в достаточном количестве, – а в мученике. В том, кто ради того, чтобы научить людей <религиозному> послушанию, сам стал бы послушником и был бы им до самой смерти, в том, кого люди потеряли бы именно потому, что убили. И когда бы они его убили, в них вошел бы страх перед собой. А это и есть то пробуждение, в котором мир нуждается». Сегодня мы видим, сколь, увы, наивно звучат все вариации этих надежд.*

пожалуй, наиболее характерная черта его сущности. Недостаточное внимание к самому себе и без того уже делает его почти патологически восприимчивым к убеждениям, которые в готовом виде вводятся в обиход обществом и его институтами. <...> Человек уподобляется мячу, утратившему свою эластичность и сохраняющему вмятину от любого нажима или удара. Общество располагает им по своему усмотрению...»

«Как мы неправильно живем! – Тарковский в своем дневнике 23 июня 1977 года (эпоха "Сталкера"). – Человек вовсе не нуждается в обществе, это общество нуждается в человеке. Общество – вынужденная мера защиты, самосохранения. Человек должен в отличие от стадного животного жить одиноко: среди природы – животных, растений и в контакте с ними.

Я все с большей очевидностью вижу необходимость изменить жизнь...»[1]

Программа, весьма близкая идеям Франциска из Ассизи, Серафима Саровского, Льва Толстого или Генри Торо. Но драма существа, родившегося в приволжской деревеньке Завражье, была в том, что и Франциск, и любимый им Торо, и знакомый лишь по книжным описаниям, но столь родственный Швейцер действительно реализовали свою идею правильной (природо-центричной) жизни, реализовали не в текстах, не в музыке или кинокартинах, а в обыденных ритмах, телесно, то есть вполне по-дзэнски. Они имели мужество привести в гармонию свою сознательную и свою телесную жизнь. Тарковский же, мечтавший о том же, но вовлеченный судьбою в едва ли не самый суетный, самый общественно-ангажированный и зависимый вид искусства, этого мужества и этой решимости не имел. В этом, я думаю, был главный и неисчерпаемый исток его страданий, исток самонедовольства, периодических (хотя и не столь явных для окружения) депрессий, подчас потери интереса к жизни. От этого, в конечном счете, он и умер: от этой невозможности разорвать порочный круг, от неспособности взорваться реально и войти в нереализованные глубины своей судьбы, ностальгия по которой и оказалась роковой непреодолимой болезнью. Он умер, не сумев родиться заново. Он исчерпал свою внешнюю судьбу, исчерпав тему своего творчества. Он провел своих героев по всем путям восхождения от этического взгляда на мир до религиозного, завершив жизненный путь двоих героев разрывом их отношений с обществом, тем самым исчерпав возможности темы, которая была ему понятна до потрохов. Святость, о которой он хотел снимать далее, могла быть понятна и понята лишь умозрительно.

Вот почему «Жертвоприношение» – в определенном смысле реквием по творчеству. Фильм ставит крест на том стиле жизни, которым реально жил в то время сам Тарковский. Фильмом автор словно бы поставил вне закона и убожество своего собственного «семейного счастья», всю его скрытую пошлость, и занятия искусством: все эти благопристойные способы считать себя мудрым, не платя по метафизическим счетам. Тарковский заставил Александра, т.е. своего двойника, своего alter ego, заплатить по всем тем счетам, благодаря которым тот так безбедно, приятно теоретизируя, жил. Тем самым художник загнал себя в угол, ибо любое дальнейшее творчество в заданном направлении было бы как минимум повторением прошлого, перепевами самого себя, а как максимум – позой, фальшью, то есть изменой себе, непониманием своей судьбы.

Как это ни парадоксально звучит, Тарковский уже не нужен был своему кинематографу, потому и умер. А вовсе не оттого, что, как считает Кончаловский, «постоянно был напряжен, постоянно – комок нервов. Никогда не мог расслабиться». Ну, во-первых, далеко не постоянно, ведь не был же он напряжен, когда оставался в одиночестве или когда созерцал узоры, разводы, пятна и трещины на стенах, когда «часами наблюдал за седовласым стариком, руки которого так искорежила жизнь» (Н. Гринько), когда мастерил натюрморты или сооружал водные запруды, когда уходил в любимые книги или в живопись, когда слушал Баха, столь часто и столь подолгу, когда созерцал облака в небе или воду... Он не был напряженным и нервным, общаясь с очень многими: скажем с Лейлой Александер и Эрландом Йозефсоном, с Анной Семеновной и с Франко Терилли, с древними улочками, с собаками и птицами, с простыми людьми, животными на земле, с сыном Тяпой, наконец... Да, Тарковский был

[1] Ср. с предсмертной речью Доменико в «Ностальгии», где тот, в частности, говорит: «...Достаточно присмотреться к природе, чтобы понять, что жизнь проста и нужно лишь вернуться туда, где мы вступили на ложный путь. Нужно вернуться к истокам жизни и стараться не замутить воду...»

по природной своей конституции нервным и страстным, но разве от этого умирают?

Да, замыслов у него в канун рокового диагноза было немало. И один из первых – о святом Антонии. Привязкой к своей собственной экзистенциальной ситуации был вопрос, издавна волновавший режиссера: какова «этическая ценность» с одной стороны святости, а с другой – творчества? Стоя на пороге больших для себя перемен и решений, Тарковский, бессознательно пытаясь оттянуть решающий выбор, словно бы говорил себе: ладно, я брошу все и уйду в монастырь, но напоследок я хочу исследовать эту проблему чисто художнически. И вот, пустившись в исследование проблемы, Тарковский подвергает сомнению традиционно-пиететный взгляд на христианского святого. Для него такой святой – в чем-то как бы и несостоятелен; потому он и произносит ставшую знаменитой фразу: «А достойно ли вообще быть святым?» Уже после съемок «Жертвоприношения» Чарлз де Брант спросил его: «Почему вы выбрали святого Антония в качестве центрального образа одного из ваших следующих фильмов?» Тарковский: «Сейчас, мне кажется, очень важно задуматься над тем противоречием, которое всегда существовало в сердце человека: что есть святость и что есть грех? Достойно ли вообще быть святым? Для православной церкви понятие общности с другими – одно из центральных. <...> Когда святой покидает людской мир и уходит в пустыню, мы естественно задаемся вопросом, почему он это сделал? Ответ напрашивается сам: потому что он хотел спасти собственную душу. Думал ли он в таком случае об остальных людях? Меня все время мучает вопрос о взаимоотношении между спасением души и участием в жизни общества... Меня чрезвычайно интересует, какой ценой достигается равновесие между плотским и духовным. Боюсь, что те, кто считают, что нашли выход, не договаривают всей правды...»[1]

Оправдывает ли творчество, т.е. созидание идеалов, далеко не идеальную жизнь творца? Вот что на самом деле интересует режиссера Тарковского. Ответ для него далеко не само собой разумеющийся. В рамках его прежней, выраженной в фильмах, концепции творчество есть естественное *следствие* внутреннего искания истины, плод духовного опыта. Религиозные страдания русского народа словно бы суммированы в плоде этого тяжкого пути – в «Спасе» и «Троице» Рублева. Религиозное страдание претворено в длящийся катарсис. Сам режиссер склонен был воспринимать каждый свой фильм как поступок, вписывая его в ранг не художественного жеста, но бытийного явления. Шедевры Тарковского придают осмысленность целой эпохе, во многих отношениях прожитой нами бездарно. Именно это, я думаю, в общем и целом, Тарковский имел в виду, когда сомневался, есть ли право у художника «бросить людей», чтобы отдаться исключительно делу «спасения своей души». Здесь гипотетический вопрос того же порядка, имел ли религиозное право Рублев бросить иконописание и уйти в полный затвор или – имел ли внутреннее право Бах бросить музыку и уйти из мира. Вспомним историю про жонглера, показывавшего свое искусство перед статуей Богоматери в храме столь истово, столь самозабвенно-совершенно, что Богоматерь ему поощрительно улыбнулась...

В свое время именно этот вопрос, как известно, ставился Н. Бердяевым на примере Пушкина и Серафима Саровского. «И вот рождается вопрос: в жертве гения, в его творческом исступлении нет ли иной святости перед Богом, иного религиозного делания, равнодостойного канонической святости? Я верю глубоко, что гениальность Пушкина, перед людьми как бы губившая его душу, перед Богом равна святости Серафима, спасавшей его душу. Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и равнодостойный пути святости. Творчество гения есть не “мирское”, а “духовное” делание. Благословенно то, что жил у нас святой Серафим и гений Пушкин, а не два святых...» Однако разве не резонна реплика Василия Розанова, который полагал, что правомерно сопоставлять по значимости не святого и гения-эстетика, каковым был Пушкин, а святого и *религиозного* гения, среди коих он называет Данте и Иоанна Дамаскина. «Да сам Пушкин! – сам! – ни на минуту не задумался бы кинуть и свои поэмы, и стихи к подножию той высоты, на которой стоят песнопения Дамаскина... Пустой век – религиозно-ничтожный век – и он пахнул своей пустотой на гений и Пушкина. И вот к этому-то только – к умалению величия поэтического в самом Пушкине – относится возможное слово

[1] Этот вопрос со всей страстью и искренностью поставила своей жизнью Симона Вейль, лично-приватно близкая к идеалу святости, но не принявшая крещения отчасти именно потому, что не хотела «брезгливо-высокомерно» отделять себя от «остальных людей», спасать себя «внутри храма» в то время, когда большинство погибает.

“грех”, которое совершенно уместно в отношении Пушкина. Он писал “грешную поэзию”, потому что он мог бы писать неизмеримо высшую поэзию, и он прожил не только “грешную”, но и “греховодническую жизнь”, вместо того чтобы выразить гений и силы свои в мистическом подвиге».

У самого Тарковского, несмотря на то, что его творчество было акцентированно религиозным (а может быть именно поэтому), эта дилемма вызывала отнюдь не однозначные эмоции. Его томило и раздражало, что он проигрывал сюжеты отречений и самотрансформаций – не на себе, а на своих героях, на измышленных образах, пусть и на героях своего внутреннего «я». По внутреннему складу он был экзистенциальным человеком, т.е. веровал, что без включенности всей, до последних глубин, личности невозможно понимание ни одной проблемы. Все будет той или иной формой (степенью) спекуляции, симулякром или, как говаривал Швейцер, «всего лишь теоретической духовностью», что на его личном языке означало духовность мертвую.

Кьеркегор отрекся от пасторской должности, отрекся от любимой и любящей его женщины ради того, чтобы быть цельным в своих писаниях. Отречения Швейцера нам известны. От чего отрекся Тарковский? От пустоты и двуличия московской жизни? Но ведь и в браке он попал в капкан, из которого не знал, как выбраться. В последние годы он определенно грешил, вел двойную жизнь, проигрывая непрожитые в свое время романтические сюжеты. Длившаяся около года связь с норвежкой Берит Хеммигхютт завершилась рождением третьего сына, названного Александром. Так что в двусмысленную эротическую атмосферу красивого дома в «Жертвоприношении» подмешано немало весьма печальных личных обстоятельств.

Чарлз де Брант во все том же интервью попросил режиссера рассказать, как лично для него соотносятся фигуры художника и святого (или просто монаха). Тарковский: «Конечно, это разные жизненные пути. Святой или монах не творят, поскольку не связаны непосредственно с миром. Обычная позиция святого или монаха – неучастие, недеяние. Эта идея имеет много общего с восточными верованиями, нечто похожее – в буддизме. В то время как художник ... бедный, несчастный художник ... должен возиться в грязи, в центре всего того, что происходит вокруг. Вспомним французского поэта Рембо, не захотевшего быть поэтом... К монаху я испытываю сострадание, поскольку он живет половинчатой жизнью, реализует лишь часть себя. Художнику же приходится распылять свой талант, он может запутаться, оказаться обманутым; его душа всегда в опасности. В то же время нельзя противопоставлять святого поэту, как ангела – дьяволу. Все зависит от того, в какой ситуации оказывается человек. Святой обретет спасение, художник, возможно, нет. Я верю в божественное предопределение. Герман Гессе сказал: “Всю свою жизнь я хотел стать святым, но я грешник и могу лишь уповать на помощь Господа”. Я тоже не уверен, что мои поступки приведут к чаемым результатам...

Существует сходство между святым и художником, но нельзя не видеть и различия, которое в том, что человек либо пытается быть похожим на своего Создателя (т.е. творит; вселенная – как одно из бессчетных состояний души Сущего. – *Н.Б.*), либо стремится спасти свою душу. Так что речь идет либо о спасении самого себя, либо о создании духовно более богатой атмосферы во всем мире. Кто знает, сколько нам осталось? И жить нужно с мыслью, что завтра Господь, быть может, призовет к себе...»

Разве не слышна в этом монологе некоторая трагического настроя растерянность, нервозность человека на развилке дорог? Дилемма оставалась для Тарковского актуальной до последних его дней. Да, в «Жертвоприношении» умер кинематографист Тарковский. Однако вместе с этой смертью могло родиться новое духовное существо. Могло ли?

5.

Даже шекспировского Гамлета, над которым Тарковский размышлял (после малоудачной постановки трагедии в театре Ленкома) неотступно до конца своих дней, он воспринимал как историю жертвоприношения. За три месяца до смерти, измученный и почти убитый болезнью, он писал в своем итальянском дневнике: «Почему Гамлет мстит? Месть – форма выражения семейной, кровной связи, жертвы ради близких, священный долг. *Гамлет* мстил, как известно, чтобы увязать “разорванную нить времени”. Вернее, чтобы воплотить идею самопожертвования. Мы часто проявляем упор-

ство или упрямство в действиях, ему только вредящих. И это искаженная форма жертвоприношения. Самоотрицания, долга. Особые абсурдные моменты долженствования, зависимости, жертвы, то, что материалист Фрейд назвал бы мазохизмом. Религиозный человек – долгом. То, что Достоевский назвал желанием пострадать. Это желание пострадать без организованной религиозной системы может превратиться просто в психозы.

В конечном счете это любовь, не нашедшая формы. Но любовь не фрейдистская, а духовная. Любовь всегда дар себя другим. И хотя жертвенность, слово жертвенность несет в себе как бы негативный, разрушительный внешне смысл (конечно, вульгарно понятый), обращенный на личность, приносящую себя в жертву, – существо этого акта – всегда любовь, т.е. позитивный, творческий, Божественный акт».

Это словно бы комментарий к «Жертвоприношению» и одновременно попытка разобраться в полной тупиковости ситуации, в которую загнала принца датского судьба. (Равно и Тарковского, хотя и с другим рисунком этой ситуации.) С одной стороны, его месть – это священный долг, действие религиозное, чему знамением явившийся Дух отца. Причем, этот долг исполняется Гамлетом так, что становится двойной жертвой: принц жертвует и своей душевной чистотой, и жизнью, ибо в знаменитой альтернативе «быть или не быть» он фактически выбирает «не быть». Это то, что говорит *за* Гамлета. Но для Тарковского существеннее то, что говорит *против* Гамлета. Тарковского явно не устраивает романтическая победительность «черного принца», обычно героизируемого театральными режиссерами, превращаемого чуть ли не в революционера-супермена. Тарковскому близок другой Гамлет – философ-созерцатель, впавший в транс отчаяния, пораженный узнанным от Призрака, Гамлет, испытывающий тошноту, наблюдая людей своего окружения, Гамлет колеблющийся, не знающий, что же ему делать, потрясенный задачей, которая на него свалилась, осознающий пропасть между задачами своей внутренней жизни и требованиями внешней судьбы. Но Гамлет, взявшийся за оружие и бросающийся на людей, как на крыс, Гамлет холодный, расчетливый, хитрый и беспощадный, ироничный и остроумный, – такой Гамлет вызывает у Тарковского ужас и сострадание.

Лондон, 1984 год, выступление в Риверсайд-студии (ответ на вопрос): «Я лично полагаю, точнее, убежден, что трагедия Гамлета, главная болевая точка этой трагедии кроется в вынужденной и абсолютной необходимости для человека, стоящего на более высоком, чем окруженье, духовном уровне, погрузиться в мелкое болото серости, обыденной пошлости, мелких страстишек и властолюбивых амбиций, правящих в этом мире всецело и безнаказанно. Это трагедия для человека, как будто уже преодолевшего элементарное земное притяжение, но неожиданно вынужденного вновь с ним считаться, подчиняться его законам, точно вернуться к своему собственному прошлому, пошлому и унизительному. (Не о себе ли здесь также говорит режиссер? – Н.Б.)

Трагедия Гамлета состоит для меня не в обреченности его на гибель физическую, а в падении нравственном и духовном, в необходимости, прежде чем совершить убийство, принять законы этого мира, действовать по его правилам, т.е. отказаться от своих духовных притязаний и стать обыкновенным убийцей. Вот где смысл драмы! Трагедия! Либо выполнить свой как будто бы человеческий долг, навязанный обществом, потерять себя в нравственном отношении, либо вовсе не смириться с этим миром, уйти из него по собственной воле, то есть покончить с собой... Но как быть тогда с Богом?..

В каком-то смысле нечто подобное переживает каждый человек, поставленный реальностью перед проблемой выбора. Поэтому когда вы спрашиваете меня, были ли в моей жизни компромиссы, предавал ли я себя когда-нибудь в своей работе, то наверное мои друзья, не слишком глубоко задумываясь о моей судьбе, ответили бы вам – НЕТ. А я полагаю, напротив, что, увы, *вся моя жизнь* состоит из компромиссов...»

Вот он, кстати, один из ключей к внутренней биографии Тарковского. Вот ответ на вопрос, почему Гамлет неотступно следовал за ним всю жизнь так, что даже последняя запись в «Мартирологе» оказалась именно о нем: «15 декабря 1986 г. Гамлет. Весь день в постели, не поднимаясь. Боли в нижней части живота, в спине. Нервы тоже. Не могу пошевелить ногами. Какие-то узлы. Я очень слаб.

Неужели умру? А Гамлет? Но сейчас уже больше нет сил на что-либо. Вот в чем вопрос...»

Жизнь, со стороны выглядящая победительно, глазами самого Тарковского смотрелась иначе. Вот чего не улавливают иные его нынешние судьи-обличители, приписывающие ему самодовольство и одновременно демонизирующие его моральные огрехи и роющиеся в постельном белье так, словно этим они совершают некое философическое открытие. Будто бы не самоочевидно и не предшествует всякому исследованию понимание естественных несовершенств героя, понимание того, что он несет на себе все те же родимые пятна времени, что и мы, много более грешные. Но что реально мы знаем о самопреодолениях Тарковского и о его уступках окружающему миру и людям, уступках, которые убивали в нем глубину интереса к жизни и к самому себе? И что в этих уступках было «изменой себе подлинному», уже «преодолевшему элементарное земное притяжение», и что со-страданием, самопожертвованием? И где эта мера? Где точка гармонии между земным и небесным? Разве не назвал Тарковский в дневнике месть Гамлета «духовной любовью, не нашедшей формы»? Но легко ли найти форму для себя обыденного?

Вообще же следует заметить, что пойти по пути дегероизации Тарковского весьма несложно. Многие его слабые точки лежат на поверхности и не требуют изощренных анализов. Здесь, например, и непреодоленное авторское тщеславие и в этом смысле бесконечная удаленность от чаемого образа японского средневекового живописца, играющего анонимными масками, за которыми тем не менее полнота глубинной искренности. Равным образом Тарковский вполне искренне восхищался анонимностью древнерусских иконописцев или удивительной непривязанностью к своему эго средневековых европейских композиторов («изысканная анонимность» – Глен Гульд), и тем не менее внешними словесными дифирамбами дело и кончалось: в отношениях со своей авторской капсулой он не сдвинулся с места ни на дюйм, и, право слово, жутковато наблюдать за его страданиями в соперничестве за первое место с Робером Брессоном (Канны, 1983), тем более если помнить, кем всегда был для него француз-одиночка.

Вообще планка идеала была поставлена Андреем Арсеньевичем столь высоко, что, конечно, его реальное житейское поведение не могло порой не контрастировать для наблюдателя с острым глазком. Однако не будем забывать, что в настоящем творчестве реализует себя не первая, обыденная, дневная личность, а вторая – сновиденно-иррациональная[1]. И вот параметры этого метафизического двойника, отнюдь не воображаемого, но совсем напротив – гораздо более реального, гораздо менее иллюзорно-преходящего, чем личность социумо-дневная, наблюдателям с «острым глазком» почти всегда неведомы.

Разрыв между «первым номером» у Тарковского и его «номером вторым» можно заметить и в его дискурсе. Иные его высказывания в интервью и даже в его книге грешат общими местами, не блещут оригинальностью слога и мысли, явно уступая полихромной своеобычности и раскованной полифонности мышления его картин.

Наверное, правы те, кто считает, что Тарковский был «самоедом»: именно самонедовольством объясняется многое в его характере и в манере общения. Ср., например, в интервью польским филологам: «...Я не могу о себе сказать, что все, что я делаю, это хорошо. Я так не считаю. Напротив, я многое делаю *не* хорошо». Или во время выступления в Лондоне, когда он критиковал современный стиль жизни: «...Я не хочу сказать, что преуспел во всем том, о чем сейчас говорю. И, естественно, далек от того, чтобы ставить себя в пример. Наоборот, я считаю, что все мои несчастья проистекают именно из того, что я *не следую* собственным советам...» Это именно в точку, в самую болевую и мучительную для Тарковского. Вот почему тема Гамлета была для него глубинно-приватной.

Во время диспута в одной из лондонских церквей в предпоследний свой год на внезапный вопрос священника «Откуда вы черпаете свою духовную силу, в чем ваши корни?» (то есть духовные корни), Тарковский ответил крайне неожиданно для присутствовавших: «Мои корни в том, что я не люблю сам себя, что я себе очень не нравлюсь»[2]. То есть корень творчества – в попытках разобраться

[1] *«"Художество есть оплотневшее сновидение". П. Флоренский.» – запись в «Мартирологе» за 1986 год.*

[2] *Вспомнился почему-то рефрен в монологе старого Святослава Рихтера (в фильме Монсенжона): «Я себе не нравлюсь...»*

с собственным несовершенством. Так что «самоедство» Тарковский отнюдь не считал чем-то в себе случайным. Совсем напротив: он чувствовал это в себе как тот канал, по которому возникает связь с духовным. Самонедовольство рождается как стимул и одновременно результат борений донного «я», «я» основания нашей души (или «второй» души) с телесно-плотским нашим «я», тянущимся к комфорту и нарциссизму. В этом Тарковский неуклонно шел в фарватере духовидца Толстого, может быть единственного вполне просветленного среди всех русских художников[1]. Именно о поражениях на путях самопреодолений, о поражениях воли, характера Тарковский и говорил как о плохом следовании своим собственным советам. И, конечно, его победы были не столь велики, как у Толстого. Но не надо забывать, что собственно духовное рождение (о феномене которого весь кинематограф Тарковского) у Толстого произошло в пятьдесят лет. Так что, возможно, путь Тарковского к 1986 году отнюдь не был исчерпан, и вполне вероятно, что он как раз таки находился накануне решающего рубежа.

Однако вернемся к Гамлету. Месть, продиктованная «как будто бы человеческим долгом, навязанным обществом», немногого стоит в глазах Тарковского. Фантазируя на тему своего будущего спектакля, он говорил в частной обстановке Е.Д. Суркову: «А эта сволочь... Гамлет... будет лежать в грязных ботфортах на чистой простыне и соображать: пока я не стану сволочью, я не смогу вас убивать. Вот жизненная реальность!» Тарковский намеревался полностью «деромантизировать» действие, вне всяких сентиментальностей подав, в том числе, и Офелию. Ужас добровольного падения Гамлета он выдвигал на первый план. Гамлет « становится подонком последним... Так что все эти события: “мышеловки”, пруд, гибель Офелии, топится она или не топится, – в сущности, не трогают его более. Душа продана дьяволу. И теперь он без церемоний осознает, без прикрас и иллюзий все, что связано с ней и с ними... Мир его победил...»

И это то, что происходит ныне почти с каждым. Ибо «мир» силен как никогда.

Втягиваясь во вроде бы благородные мотивы «борьбы со злом», самый благородный человек с неизбежностью становится мерзавцем или пошляком, ибо такова логика или, точнее, природа борьбы. Так считает Тарковский. Человек покупается на ловушки, расставленные все тем же социумом: мол, честь семьи и т. п. Расставив ловушки «кодекса чести», социум не дает вырваться в новое этическое пространство даже наиболее утонченным и «продвинутым» индивидам.

Тарковский словно бы недоволен скороспелостью и поверхностностью решения Гамлета. Но был ли у принца выбор, была ли его воля свободна? Да, – неуверенно, но все же отвечает Тарковский. У него было еще по крайней мере две возможности. Первая – выйти из игры, остаться чистым, т.е. покончить с собой. Но здесь препятствие – Бог. Но была и еще одна возможность – простить. Но для этого Гамлету следовало бы выйти в нечто для себя совершенно новое, внутренне не освоенное, следовало бы совершить почти кульбитный прыжок, возвысившись над идеей «мятежа и бунта крови», превзойти «самоочевидные» мифологемы сознания – в том числе ярость, ненависть и гадливость – одним словом, войти в простор своего духа, словно бы промыв им свою плоть, высветлив ее до прозрачности святой формулы «возлюби врага твоего!» Но, разумеется, все это могло в спектакле лишь подразумеваться как некая туманная подсказка, полусвет из невидимого тоннеля. В частном разговоре с Е.Д. Сурковым: «Отомстить могла только плоть. Дух отомстить не может. Дух может только простить. Именно это противоречие между духом и плотью составляет драматургию Шекспира, черт побери!..»

Потому-то и была задумана неожиданная кода, после всей горы трупов: «...Вот тогда-то у меня начнется настоящий финал: на месте, где лежал труп Гамлета, остается его душа. То есть тело Гамлета унесли, а я хочу, чтобы на сцене оставалась его душа... И в то время, когда где-то на втором плане выстраивается безмолвная похоронная процессия, ближе к авансцене продолжает бродить Гамлет, его душа, которая оплакивает убитых. Вы понимаете? Она равно оплакивает всех: и Гертруду, и Лаэрта, и Короля. Гамлет, земной Гамлет, этого не знал, а душа его плачет... Я думаю, что, может быть, следует

[1] *Имею в виду просветление не только как свет иррационально-художественной медиумичности, но и просветленность «номера первого», бытовой индивидуальности.*

попытаться закольцевать финал с началом. Помните, когда в начале два офицера видят призрак отца Гамлета? А если в финале повторить этот момент, скажем, следующей репликой одного офицера: “Смотри: Гамлет!”, а другой ответит, чтобы зрителю было понятнее: ”Да это же не Гамлет, это дух Гамлета...”».

Гамлет, подлинная индивидуальность, относившаяся по справедливости иронически к суетящимся вокруг, в поисках добычи, личностям, вдруг становится рабом типового (хотя и весьма тонкого) общественного предрассудка и добровольно низвергается в стан личностей, принимая правила их игр. Впрочем, в его действиях сплелись в причудливый клубок самопожертвование и расчетливая агрессия. Слабость и сила.

6.

Еще в отрочестве Тарковскому врезались в память лаконичные раздумья отца на тему «добро по своей природе пассивно, а зло – активно». В течение жизни он вновь и вновь возвращался к этой сакраментальной проблеме. Почему так? Почему зло не гнездится в тишине и покое, почему оно всегда действенно, инициативно, изобретательно, почему оно кипит энергией? Не потому ли, что в самой нынешней человеческой активности как таковой лежит источник зла? Не таится ли за всякой нынешней активностью суетность интеллекта, «соображалки» и, соответственно, машинизированного – о, давно уже превратившегося в механизм – сердца? Не оттого ли все метафизические традиции, и не только Востока, и не только Индии и Китая, видели исток мудрости в отрешенности и недеянии? Не вырастает ли пассивность (как состояние духовной зрелости, в силу которой «настоящий путешественник не выходит со своего двора») из медитативной созерцательности и способности растворяться в так называемом объекте? (Ибо, как сообщает уже тайное знание Упанишад, объектов нет: всякий «объект» на самом деле есть ты сам.) Не связана ли активность как мировоззренческая и энергийная установка с *личностью* (центр которой – забронзовевшая капсула эго, устремленного к «успешности»), а пассивность – с *индивидуальностью*, достигшей самореализации? Вопросы эти были более чем не праздными, ибо восходили к центральной интуиции Тарковского – к тоске по утраченной целостности духа и плоти.

Тарковский, разумеется, не первый из европейских художников, кто социальную неуспешность, обделенность, поверженность, отверженность, обочинность (маргинальность) воспринимал как метафизически сильную позицию, близкую к тайнам учения Христа. Достаточно вспомнить древнерусскую традицию, стоящую на православном постулате «не в силе Бог, но в правде», или юродивого из Ламанча у Сервантеса, восходящего, вероятно, прямиком к Франциску из Ассизи. Или творчество Диккенса, Гюго, а в живописи – Брейгеля, Рембрандта, Франсуа Милле, Ван Гога... Или апофеоз слабого человека в картинах Чарли Чаплина. Или классическую русскую литературу с ее темой «маленького человека», с ее вечным противостоянием *индивидуальности* Кутузова, действующего недеянием, *личности* Наполеона, действующего непрекращающимся стремительным напором. В более близкие к нам времена апофеоз слабости как проникновенной близости к сердцу космоса мы наблюдаем в творчестве и индивидуальности Райнера Рильке с его знаменитым афоризмом «Кто говорит о победе? Выстоять – вот наш максимум!». «В самой действительности Рильке выбирает – как самые плодотворные – области наибольшей нищеты. Его герои – все обделенные: слабоумные, больные, самоубийцы, брошенные влюбленные. Причем выбираются они не как предмет для сострадания, но как образец, образ. <...> Так выстраивается у Рильке обратная иерархия осуществленности существования: в человеческом мире на вершине ее – все ущербные существа и младенцы (остальные – погоняющие – не соприкасаются со страдательным во всех смыслах источником жизни), но выше людей – звери, выше зверей – вещи» (*О. Седакова*).

Наблюдение ценное, особенно если иметь в виду положение вещи в эстетике Тарковского. Во вселенной русского мастера слабость и юродивость персонажей тоже вполне соотносятся со слабостью и прагматической непригодностью, «десоциализацией» вещей. Порой медитация воистину дарует человеку высокий статус вещи, свободной от внутренней расколотости и «желаний».

Люди, как и вещи, утрачивая свои «функции», сбрасывая поверхностную, хотя и приросшую,

пленку социальной значимости, т.е. клише «силы», начинают выступать для художника в своей бытийной, а не товарной красоте, входя в измерение «есмь». Именно поэтому момент «сакрального толчка» в картинах Тарковского почти всегда совпадает с моментом контакта «сознания камеры» с *руинностью* вещи или человека.

Впрочем, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы видеть, как стремительно возрастающая активность (мобильность, суетливость) каждого отдельного человека (экспансионистский, экстенсивный стиль), равно как и всего человечества, напрямую связана со столь же стремительным выхолащиванием и примитивизацией внутренней жизни, затвердеванием душ. И даже когда добрый человек ради победы добра и истины прибегает к силе и активности, в тот же самый момент эти намерения добра начинают (по неким неписаным законам) перерождаться, претворяясь во зло. Истина и добро по неким таинственным космическим законам не могут быть установлены силой, внешним, извне активным пособничеством. Добро и истина натекают из совершенно иных родников, в действии, глубоко индивидуальном. Добро исходит из *растущего, прорастающего* (из духовно-эротического семени) *диалога* с сущим.

Личность в нас истощает запасы нашей чистой бытийности: в конфликтах и в бореньях за цели самоутвержденья, за утвержденье своих маленьких, придуманных интеллектом-тщеславием «истин». И потому не видит и не слышит величия движения сущего, которому *индивидуальность* в нас, будучи женственно-восприимчивой, может открываться сполна.

Но *что* толкает человека к внешней активности, что за алчность заставляет его бежать от своей изначальной чистой пустотности и свозить и стаскивать в бронированную крепость личности максимально возможное количество вещей, идей, знаний? Почему человек не хочет просто *быть*, энергию и внимание тратить на качество самого процесса бытийствования, почему не хочет оставаться чутким, интуитивным, незащищающимся?

Не потому ли, что современная цивилизация с детства вводит человека в соблазн обладания, внушая ему, что он должен стыдиться своей изначальной чистоты и бедности, не давая ему возможности утвердиться в осознании благословенности своей реальной пустотности. Цивилизация постепенно перетягивает сознание ребенка в пространства иллюзорные, которые он начинает воспринимать как реальность, подменяя интуитивные истины социумо-психологическими (журнально-телевизионными-клубными) стереотипами.

«Пока вы пытаетесь стать кем-то, пока вы находитесь во власти жажды обладания, до тех пор неизбежны конфликт, смятие и возрастающая скорбь... До тех пор, пока в вас остается нежелание быть ничем (но именно ничем вы на самом деле и являетесь), вы неизбежно будете порождать скорбь и антагонизм...»[1], – говорил Джидду Кришнамурти, чьи устные тексты могли бы быть идеально точными (не устаю этому изумляться) комментариями к киномедитациям Тарковского. «Как просто быть невинным, простодушным! Без внутренней чистоты невозможно быть счастливым. Невинность – это свобода от бремени опыта. А без невинности разве возможна мудрость?» Что это, как не голос Сталкера или Горчакова или Александра или Доменико?

Что есть зло? Зло есть всякая преднамеренность, всякое целеполагание, ибо оно немедленно отклоняет полноту внимания от процессуальности чистого *естествования*.

Что есть добро? Добро есть спонтанность. Чистое сознание – детище спонтанности. Из спонтанности приходит творчество, любовь, молитва-медитация. Всякое подлинное созерцание есть действие спонтанности, которая произрастает во внутренней тишине и уединенности. Спонтанность, т.е. абсолютная непреднамеренность, толчок из глубин – за пределами чувств, которые на самом деле есть детища интеллекта.

Современный человек привык мистифицировать себя, полагая источником своих чувств некую благородную неизвестность, хотя на самом деле они давным-давно растут из нервных реакций на символы интеллекта. Что именно понимают под любовью герои Тарковского? Здесь опять приходит на помощь Кришнамурти. «Любовь – не чувство. Чувства порождаются мыслью с помощью слов и

[1] *Перевод А.Н. Обнорского.*

символов. Чувства и мысль замещают любовь, становятся суррогатом любви. Чувства – от ума, так же как сексуальное влечение. Ум питает эту жажду или страсть через доставляющие удовольствие ощущения... Любовь существует вне ума; но когда ум перехватывает ее, появляется чувство, которое он называет любовью. Эту любовь, идущую от ума, может продумывать мысль, ее можно облечь в форму, можно <с кем-то> отождествить... *Когда чувства преобладают, нет места для любви*; (выделено мной; как тут не вспомнить полемику Кончаловского с Тарковским. – *Н.Б.*) таким образом предметы ума заполняют сердце... Ум полностью берет верх, а любовь становится словом, чувством. Теперь ее можно сравнивать: "Я люблю больше, а вы меньше". Но любовь не может быть ни личной, ни безличной; любовь есть состояние бытия, в котором чувство, как и мысль, полностью отсутствует».

Такие пассажи нам было бы чрезвычайно трудно понять, если бы рядом не было фильмов Тарковского, изображающих сознание с таким вот промытым, светящимся своей неизбирательностью и непредубежденностью сердцем. Сознание, текущее перед нами на экране в образах и формах семи его фильмов, безусловно, исходит из сердечных глубин, но именно поэтому оно отрешено от мыслительной и «чувственной» толчеи. И именно в этой чистоте, в этой «бессодержательности» (незахламленности идеями, символами и «чувствами») рождается та духовная любовь, о которой говорит Кришнамурти. Индийский мистик очень точно зафиксировал момент подмены, существующий в нашем мышлении, в мышлении современных людей, называющих чувствами сферу психологической взаимной (или внутренней) борьбы; а начало этой подмены в том, что интеллект (ум) в современном обществе давно вошел в каждую клеточку эмоций, и на самом деле, при внимательном, неспешном самоисследовании легко увидеть, что чувственная, эмоциональная жизнь не просто интеллектуализирована, окрашена интеллектом, но в подлинном смысле слова инициируется им, движется по его командам.

Понаблюдав за тем, сколь прихотливо меняются источники и объекты таких чувств как гнев, ненависть, самоуважение, восхищение, зависть и т. д. в зависимости от «погоды за окном», от приоритетов общества, от работы пропагандистской машины и т.п., нетрудно увидеть, каков процент «несказанности» или иррациональности в наших так называемых чувствах, с сердцем как ментальным органом фактически совершенно не связанных. «Эмоциональный человек» и «сердечный человек» – на практике это в большинстве случаев совершенно разные типы людей.

7.

Как почти у всякого художника, у Тарковского главный предмет изображения и исследования – любимый им и самый родной ему *тип сознания.* И отличительной и в общем-то поразительной стороной этого сознания является то, что это сознание воспринимает мир как... сознание.

Тарковский видит мир не как хаотический или планомерно-разумно (эстетически) оформленный набор материальных тел и даже не как вещественную материю, противостоящую (тайно или явно) человеческому сознанию, которое структурирует его в целях то прагматических, то заново эстетических, а как *материализованную форму сознания*. И в этом смысле человек в его живописно-музыкальных поэмах ничем не отличается от дерева, от шумящей рощицы, от озерного покоя, от вазы, от качнувшейся травинки, от обветшавшей стены храма или дома... Это все формы сознания, посю- и потустороннего одновременно, и сознания эти взаимопостигаемы на какой-то иной волне времени, нежели время обычное, ибо «внутренние часы» в каждой форме сознания имеют свой темп, свой ритм, свою модальность.

Уже одного этого было бы достаточно, чтобы ощущать его фильмы как уникальную среду обитания. Однако это сознание, живущее в картинах «мальчика из Завражья», имеет свое собственное, не мотивированное ни сюжетом, ни каким иным вещественным давлением свечение, которое не видимо как свечение. Оно не имеет материального проявления, которое мы могли бы зафиксировать в сегментах памяти, однако нам почему-то хочется назвать это явление свечением. И по некой странной причине это визуально не воспринимаемое свечение мы интуитивно определяем для себя как инобытие вещества или дух.

8.

Ленты Тарковского – пространства вслушивания в страдательную слабость мира. Еще Сталкер увещевал своих спутников повернуть внутрь себя и стать «беспомощными как дети. Потому что слабость – велика, а сила – ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок, а когда умирает – он крепок и черств. (Подобно нынешней цивилизации. – *Н.Б.*) Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко – оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия...»

И даже будучи уже тяжело больным, Тарковский продолжал вдумываться в эту едва ли не центральную свою тему. Размышляя над фильмом Бергмана «Стыд», он писал в парижском дневнике (февраль 1986): «...Здесь речь идет прежде всего о том, что каждый хороший человек – слаб, что он не может сам себя оберечь и защитить; и что если он оказывается на это способным, т.е. становится сильным, то превращается в подлеца[1]. Тогда он может уже защитить и себя, и свою жену, которая уже его не презирает. Он ее любил, и все же она его презирала. Но вдруг все изменилось. Он очень даже просто бьет ее по лицу, а она смотрит на него, стоя перед ним смиренно. Как бы это ни казалось удивительным. Но он уже больше не человек и чувствует это. В качестве любящего, доброго, но слабого человека он никому не был нужен. Все это живое доказательство того, что добро пассивно, а зло активно...»

Тарковский, конечно же, бунтует против той извращенной концепции человеческого величия и красоты, жертвой которой стали не только герои Бергмана, но вся наша двухтысячелетняя цивилизация. И в этом он собрат С. Вейль, которая и словом, и личным примером призывала «презирать ложное величие». «Единственное наказание, способное покарать Гитлера и отвернуть от его примера мальчишек, жаждущих величия в грядущих веках, – это полное изменение смысла величия, чтобы нынешнее его понимание было просто исключено. Верить, что можно лишить Гитлера его величия (вместо Гитлера можно подставить Александра Македонского, Наполеона, Сталина и т.д. и т.п. – *Н.Б.*), не изменив в корне существующего в умах наших современников понимания и самого смысла величия, – это иллюзия... И чтобы внести свой вклад в такое преобразование, необходимо, чтобы подобное переосмысление произошло в нас самих... Но это вовсе не легко, ибо ему противостоит социальное давление, столь же весомое и всеохватывающее, как и атмосферное давление. Чтобы достичь желаемого, нужно *духовно исключить себя из общества*. Вот почему Платон говорил, что способность распознавать добро существует лишь в предрасположенных душах, воспитанных, таким образом, самим Богом» (*Перевод О. Игнатьевой*).

Энергетика священства в картинах Тарковского есть эманация изначального, архетипического состояния вселенной, ныне падшей и балансирующей в неравновесности мерцаний в промежутке между светом и мраком. Святость всепотенциальна, и ее реликтовым актуальным проявленьям и эманациям служат существа, нашедшие в себе силу «духовно исключить себя из общества». Этическое измерение вселенной для них – не мир человеческих договоренностей, а объективная реальность сердца, космичного ничуть не менее чем горы, моря или звезды.

Фильм «Стыд» режиссер анализировал еще в «Запечатленном времени», введя очень важную тему страха. «Как глубоко разработана линия Макса фон Сюдова. Это очень хороший человек. Музыкант. Добрый, тонкий. Оказывается, что он трус. Но ведь далеко не каждый смельчак хороший человек, а трус вовсе не всегда мерзавец. Конечно, он слабый и слабохарактерный человек. Его жена гораздо сильнее его, и у нее достает сил, чтобы преодолевать свой страх. А у героя Макса фон Сюдова сил не хватает. Он страдает от своей слабости, ранимости, неспособности выстоять – он старается скрыться, забиться в угол, не видеть, не слышать – и делает это как ребенок: наивно и совершенно искренне. Когда же жизненные обстоятельства вынуждают его защищаться, то он немедленно превращается в негодяя. Он теряет лучшее, что в нем было, но весь драматизм и абсурдность состоят

[1] *Ср. у Симоны Вейль: «Очереди за продовольствием. Совершить что-либо легче при наличии низкого, а не высокого мотива. Низкие мотивы придают больше энергии, чем высокие. Встает проблема: как передать высоким мотивам энергию, свойственную низким?» У Николая Гартмана: «Категории бытия и ценности тем слабее, чем они возвышеннее». У Макса Шелера: «Низшее изначально наделено силой; высшее бессильно».*

в том, что в этом новом своем качестве он становится нужным своей жене, которая в свою очередь ищет в нем поддержки и спасения. В то время как раньше она его презирала. Она ползет за ним тогда, когда он бьет ее по физиономии и говорит: “Пошла вон!” Начинает звучать вечная как мир идея пассивности добра и активности зла. Но как непросто она выражается! Поначалу герой фильма не может убить даже курицу, но как только он находит способ защищаться, то становится жестоким циником. В характере его есть что-то гамлетовское: в том смысле, что, в моем понимании, принц датский гибнет не после дуэли, когда он физически умирает, а сразу же после «мышеловки», как только он понимает неотвратимость законов жизни, принуждающих его, гуманиста и интеллектуала, уподобиться ничтожествам, населяющим Эльсинор. Этот мрачный тип (я имею в виду героя фон Сюдова) теперь ничего не боится: он убивает, он не шевельнет пальцем во спасение себе подобного – он *действует* в свое благо. Все дело в том, что *надо быть очень честным человеком, чтобы испытывать страх* перед грязной необходимостью убийства и унижения. Теряя этот страх и якобы тем самым обретая мужество, человек на самом деле утрачивает свою духовность, интеллектуальную честность, прощается со своей невинностью...»

А ведь именно невинность, повторюсь, была для Тарковского чем-то бесконечно важным, именно за нею, за полнотой ее, за пространствами ее метафизичности «охотятся» его герои, и без того, казалось бы, чистые и не увязшие в рутине. Ибо из невинности (= спонтанности) приходит благость Неизреченного, благость Присутствия.

Здесь возникает тема «слабости» как робости и страха. Робость и страх – как инстинктивные «предохранители» благородства в человеке. «Оказывается, надо быть очень честным человеком, чтобы испытывать страх. Пережить его. И честный человек перестает быть честным человеком, когда теряет этот страх», – говорил Тарковский в лекциях по режиссуре. Страх перейти черту, за которой ты «магическим» образом теряешь свою связь с тонкими состояниями мира и своей души. Новое время, особенно брутальный XX век, с его варварскими проповедями доблести как грубого натиска и «проламывания ребер», словно бы вообще отменило вкус к пониманию таких вещей вместе с пониманием понятия «чести», которая почти исключительно есть сохранность честности и чистоты[1]. Нельзя потерять невинность, а затем, передумав, возвратить, вернуть ее. «Страх – это возможность свободы», – говорил Кьеркегор, считавший эту вещь предохранителем целомудрия. «Если бы человек был зверем или ангелом, – писал он, – он не знал бы страха и боязни. Именно потому, что человек – синтез, он и способен испытывать страх; и чем глубже пребывает человек в страхе, тем более он велик».

На первый взгляд последнее заявление кажется парадоксом, однако чем внимательнее мы будем вдумываться в существо дела, тем более будем соглашаться с Кьеркегором. Ангел не страшится греха, настолько он прозрачно чист. Зверь не знает, что существует грех и не ведает, что это такое. В человеке же, как в колебательно-неопределенном существе, сосуществуют звериное и ангельское, и потому он потенциально колеблется между двумя этими безднами. Одни из нас, в силу кармически (или по иной причине) зрелого внутреннего возраста, ближе к первой бездне, другие – ко второй. И чем дифференцированнее ощущение этих начал в себе, чем развитее внутреннее зрение и внутренний слух, чем мощнее ужас перед звериным и трепет перед ангельским, тем сильнее амплитуда страха и обильнее многоразличие ситуаций, в которых он может возникать. «Ранг благородства человека прямо пропорционален его способности страдать», – говорил Ницше. Вероятно, можно было бы перефразировать это высказывание применительно к страху: страху впасть в деградацию, в измену самому себе, своей исконно-заветной ноте.

---

[1] *Современное искусство в массовом своем потоке устремляется в противоположном направлении, оно бьется, в частности, над тем, чтобы спровоцировать в человеке его «активность зверя», но зверя раздергано-тщеславного, перевозбужденного информационной агрессией, обещающей каждодневно обывателю от культуры чуда в его хлебальную чашку. Современный художник, приученный почти патологически страшиться любой традиционности, заискивает перед своими животными первоэлементами, понимаемыми в изуродовано-уголовном, агрессивно-комплексующем качестве. Всё это, конечно, игры вокруг подростково-пубертатного центра, вечно не заживающего, ибо его разъедает ветер тщеславия, выдаваемый за тоску по Большому Другому.*

Душевно тонкий, благородный человек не может не испытывать глубинного ужаса перед любой формой насилия; в особенности он не может представить, чтобы это насилие исходило от него, даже во имя самозащиты. Ударить человека – ведь это же по сути космологическая катастрофа. Страх метафизического падения – вот что такое его страх, совершенно неведомый значительнейшей части народонаселения. Немыслимо представить, чтобы Сталкер или Горчаков «переступили черту», чтобы они захотели стать «сильными». Нам слишком хорошо (на весьма наглядных примерах) дано было понять, что большинство людей, «переломивших» себя, преодолевших в себе это метафизическое целомудрие, казавшееся им позорной психологической робостью, стали не смелыми, как им воображалось, а грубыми, жестокими и вульгарными. Одним махом они избавились «от бремени» сложного и тонкого душевного рисунка. Сплошь и рядом смелостью и внутренней свободой сегодня называют наглость и душевный примитивизм.

9.

К концу жизни Тарковский вполне отдавал себе отчет в том, что его идеалы – на Востоке, в лоне даосско-индуистско-дзэнской традиции. И тем сильнее его смущало, что сегодняшний Восток дрогнул под натиском и экспансией хвастливо-прагматической западной материалистичности. Не случайно финал его главной книги посвящен именно этому, и финал этот трагически-растерянный.

«Как хочется иногда отдохнуть, поверив, отдав, подарив себя концепции, чем-то похожей, ну, скажем, на Веды. Восток был ближе к Истине, чем Запад. Но западная цивилизация съела Восток своими материальными претензиями к жизни.

Сравните восточную и западную музыку. Запад кричит: «Это я! Смотрите на меня! Послушайте, как я страдаю, как я люблю! Как я несчастлив, как я суетлив. Я! Мое! Мне! Меня!» Восток ни слова о самом себе! Полное растворение в Боге, Природе, Времени. Найти себя во всем! Скрыть в себе все![1] Таоистская (даосская. – *Н.Б.*) музыка. Китай за 600 лет до Рождества Христова.

Но почему же не победила в таком случае, но рухнула величественная идея? Почему цивилизация, возникшая на этой основе, не дошла до нас в виде какого-то завершенного исторического процесса? Они, видимо, столкнулись с материальным миром, их окружающим. Так же, как личность сталкивается с обществом, так эта цивилизация столкнулась с другой. Их погубило не только столкновение, но и сопоставление с материальным миром, "прогрессом", технологией. Они – результат, соль соли земной, который итожит истинное знание. Борьба же по восточной логике греховна по самой своей сути...»

Разумеется, восточно-медитативный человек при столкновении с материалистически мыслящим и агрессивно настроенным противником уйдет от борьбы; он не вступит на стезю Гамлета и уж тем более героя Макса фон Сюдова. Он, если это понадобится, скроется в горных пещерах, уйдет в свою собственную Шамбалу, уйдет в Невидимую профанным взглядом Внутреннюю Монголию, во Внутреннюю Русь или в иную Внутреннюю Страну.

В течение многих и многих тысяч лет восточная мудрость, проросши из зерна, росла, цвела, вызревала, давала плоды и вот начала усыхать, подобно любому земному древу, имеющему свой срок. Но это естественное и неизбежное умирание. В то время как западное древо было изначально бесплодным, точнее – росли и растут на нем плоды не жизни, а все того же амбициозного познания.

Индуистско-ведическое понимание истории как инволюционного процесса было близко интуициям Тарковского, настольной книгой которого был «Апокалипсис...» и который никогда не покупался (в отличие от многих и многих интеллектуалов и даже поэтов) на красивые сказочки о замечательном будущем, о том, что через сто-двести лет жизнь на Земле станет счастливой. «А зачем?» – спрашивал Тарковский. Зачем, если имеет значение вызревание конкретных человеческих душ, каждой отдельной личности?

---

[1] Тоненькая струя метафизическо-дзэнской традиции была жива, как мы знаем, и на Западе. Ср., например, у Ангелуса Силезиуса: «Бог есть мой центр, когда я заключаю Его в себя, и Он есть моя оболочка, когда я растворяюсь в Нем». Похожее мы найдем у Якоба Бёме, у Майстера Экхарта и у ряда других средневековых и послесредневековых мистиков.

«Прекрасно-дьявольские» портреты

Когда Тарковский помещает копии четырех картин Брейгеля из цикла «Времена года» в библиотеке станции «Солярис», то они приобретают в хронотопе фильма иконную модальность. Словно бы держат алтарную стену космической станции. И неудивительна затем сцена молитвенного «вхождения в царство Брейгеля» Хари, чья матрица максимально расфокусирована и вибрирует на неведомо, для нас, острой боли.

Брейгелевские персонажи одновременно и вульгарны, и прекрасны. Прекрасна и одновременно отталкивающа Хари. Здесь для Тарковского идет некая таинственно-тонкая (в случае с Хари – инопланетно-магическая, с привкусом трансцендентного ужаса) игра энергий и сил внутри космической сущности женщины. Перед этой сущностью мужчина, обладающий мужеством и не прячущийся в шаблоны ума, чувствует себя почти бесконечно растерянным. Не менее тонкое взаимодействие красоты, очарования, стойкой жизненной силы и чего-то инертно-косного, обморочно-телесного мы наблюдаем в образе хозяйки хутора в «Зеркале».

Забавно, что кинокритики, да и не только они, почему-то частенько увязывали этот образ с «мещанством» и тому подобными отрицательными символами. Александр Гордон: «Но для меня еще более поразительным было то, что в сцене “Серьги” в роли мещанки – покупательницы сережек – Андрей снял свою жену, после чего я всю оставшуюся жизнь удивлялся, как можно было любить ее? Ведь он сам “раздел” ее, показав человеческую суть. Я никогда так и не смог полюбить ни этот образ, ни его исполнительницу. Шок был полный, и в голову лезли банальные мысли о волшебной силе искусства и роковой загадке жизни».

Мемуаристу здесь вполне ясно, в чем человеческая суть: либо в том, либо в этом. По Тарковскому же суть человека зачастую и в том и в этом или же – не в том и не в этом, а в чем-то третьем, невидимом и не могущим быть схваченным словами. Я уж молчу о Дурочке в исполнении первой жены режиссера, Ирмы Рауш, где инфернально-животное измерение «бабскости» почти утрировано, но мемуарист забывает, например, о том, как Тарковский в Кишиневе (в годы безработицы) написал для себя в сценарии гордоновского фильма «Лазо» роль белогвардейского атамана Бочкарева, о котором в сценарии сказал так: «Иронически улыбающийся и неврастеничный молодой человек с худощавым и порочным лицом». А ведь Тарковский, как мы знаем, в качестве актера никогда не практиковал «перевоплощений». Как верно отмечал одноклассник Тарковского Юрий Кочеврин, «в тех редких случаях, когда Андрей выступал как актер – фильмы “Застава Ильича”, “Сергей Лазо”, – его игра производила впечатление слишком жесткой естественности, он был как бы слишком самим собой. <...> Вообще его сопротивление игре во всех ее проявлениях органично перешло из жизненной позиции в искусство, став, может быть, его определяющей чертой...»

Тарковский, как видим, отнюдь не пугался двуслойности своего реального внешнего образа. И, я думаю, женщин он тем более видел в этой их роковой двузначности, той самой, которую замечал в природе Тютчев.

В «Зеркале» есть сцены, где крупным планом высвечивается, в прямую параллель к величаволирическому образу Жены-Матери (Маргарита Терехова), портрет «Дамы с можжевельником» Леонардо да Винчи, больше известный как «Портрет Джиневры де Бенче».

Вот что сказал сам Тарковский о том, почему он ввел в кинофильм этот портрет: «Образы, создаваемые Леонардо, всегда поражают двумя особенностями. Во-первых, удивительной способностью художника рассмотреть объект извне, снаружи, со стороны – как бы надмирностью взгляда, свойственной художникам такого уровня, как Бах, Толстой. А во-вторых, свойством восприниматься в двоякопротивоположном смысле одновременно. Кажется невозможным описать впечатление, какое этот портрет Леонардо на нас производит. Невозможным оказывается даже определенно сказать, нравится нам эта женщина или нет, симпатична она или неприятна. Она и привлекает, и отталкивает. В ней есть что-то невыразимо прекрасное и одновременно отталкивающее, точно дьявольское. Но дьявольское – отнюдь не в притягательно-романтическом смысле. Просто – лежащее по ту сторону

добра и зла. Это обаяние с отрицательным знаком. В нашем восприятии – при рассматривании портрета – возникает некая тревожная пульсация, непрерывная и почти неуловимая смена эмоций – от восторга до брезгливого неприятия. Немножко рыхловатое лицо, чересчур широко расставленные глаза... В нем есть даже что-то дегенеративное и... прекрасное. В "Зеркале" этот портрет нам понадобился для того, чтобы, с одной стороны, найти меру вечного в протекающих перед нами мгновениях, а, с другой стороны, чтобы сопоставить этот портрет с героиней, подчеркнуть как в ней, так и в актрисе М. Тереховой, эту же самую способность *быть обаятельной и отталкивающей одновременно*...»

«...От восторга до брезгливого неприятия». «Невыразимо-прекрасное и столь же отталкивающее, "дьявольское"...» «Лежащее по ту сторону добра и зла...» Не здесь ли скрыта тайна специфического ви́дения Тарковским феномена женщины, и не в этом ли, в конечном счете, тайна такой устойчивости его второго брака? Все женщины, без исключения, в его фильмах вполне вписываются в этот нарисованный им психологически-метафизический портрет. Все они – влекуще-отталкивающие, и хозяйка хутора – не исключение. (Вспомним образ дамы из типографии, сыгранный в этом же фильме Аллой Демидовой.) И мужчина, понимающий эту двойственную природу женщины, уже может достаточно устойчиво претерпевать нелегкий труд брака.

Кстати, разве не двойственна в отмеченном Тарковским выше смысле внешность двух других его главных исполнительниц – Натальи Бондарчук и Алисы Фрейндлих?

Дело вовсе не в том, что Тарковский хотел показать двойственность или двусмысленность образа матери или образа жены. Он устремлялся к постижимому изображению пластически-музыкальной *сути* женщины, как он ее почувствовал своей сновиденно-детской и сновидчески-взрослой памятью. Ведь что значит визуальная параллель с Леонардо? Это стремление ввести свой «внутренний роман» с женщинами (с Женщиной, равно и со своей собственной Анима) в пространство «культурного эха», отразить сиюминутное свое художественно-лирическое переживание в зеркале «большого художественного времени». И поразительно именно то, что несколько веков назад в Италии жил некто, кто видел женщин так же, как ты: видел их сущность именно такой и воспроизводил чарующе-безжалостно. Леонардо передавал не впечатление, а проникал в саму «космическую» сердцевину женщины. Именно это имел в виду Тарковский, когда говорил о способности Леонардо увидеть объект «надмирным взглядом», «взглядом пришельца»[1]. Именно это было важно Тарковскому в портрете «Дамы с можжевельником», это же, но только в удесятеренной силе таинственного ужаса, он обнаружил в «Поклонении волхвов», начав с подробнейшего созерцания этого полотна свое пророчески-безумное «Жертвоприношение»[2].

Джиневра де Бенче, действительно, похожа на Терехову. (А та в свою очередь на молодую мать Тарковского.) Однако, будь на ее месте другая актриса, Тарковский без труда нашел бы ей в женской галерее Леонардо параллель, поскольку едва ли не все женщины Леонардо мерцательно-двойственны в указанном Тарковским смысле. Они *утаивают* собою нечто, а точнее – являют пленительную и жестокую «космическую» тайну. Идет ли речь о портрете Изабеллы д'Эсте или святой Анны с Марией, о Даме с горностаем, столь синхронно слитой с дикой горностаевой «внечеловечностью», или о Моне Лизе – всюду мы видим эту «неуловимость» женского центра, неуловимость содержания женщины, находимость ее за пределами мужского постижения; так или иначе балансирующей на грани-

[1] Ср. с афоризмом, приписываемом Будде Гаутаме: «Сущность женщины непостижимым образом спрятана, укрыта, как развороты рыбы в воде».

[2] Конечно же, смыслы присутствия образов Леонардо в лентах Тарковского много более полихромны. Кроме указанных режиссером, они еще и в том же самом, почему в «Зеркале» вдруг появляется зимний русский пейзаж, откровенно повторяющий пейзаж знаменитой картины Брейгеля, и появляется не раз: и с птичкой на шапке у мальчика, и без птички. И почему вдруг возникает в старом доме цитата из Ж.-Ж. Руссо, а затем из письма Пушкина Чаадаеву: к «сюжету» ведь они совсем не прилажены. Все эти и многие иные «культурные реминисценции» возникают «внесмысленно», они как бы (естественнейшим образом) вписывают движение «современного» действия в историко-ретроспективный поток «вневременных» ассоциаций. Дело даже не в том, что «культурное сознание» автора производит ассоциативную работу (на самом деле эти ассоциации выскакивают как раз из авторского бессознательного), а в том, что сама жизнь обладает своей «сновидческой» подоплекой и мерцательно коллажирует «реальное» с историко-мифологическим, первый план жизни с ее вторым планом, тональ с нагуалем, «правду» с «поэзией».

це «добра и зла»[1]. Не случайно Тарковский как-то рассказывал уже в Италии Тонино Гуэрра замысел фильма о жене, которую муж не в состоянии отучить от бесконечного, большей частью «бескорыстного» и словно бы ничем не мотивированного вранья. Отчаявшись, герой сжигает ее, как сжигали в средневековье ведьм... Не правда ли, весьма странный для Тарковского лирический мотив-выплеск?

И не забудем: Тарковского воспитывали женщины.

В «Зеркале» есть характерный в этом смысле диалог между невидимым (он блуждает где-то между жизнью и смертью) автором и его бывшей женой.

«– А ты ни с кем не сможешь жить нормально.

– Вполне возможно.

– Не обижайся. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом должен всех осчастливить. Ты только требуешь...

– Это наверное потому, что меня женщины воспитывали. Кстати, если не хочешь, чтобы Игнат стал таким, как я, выходи скорее замуж или отдай Игната мне...

– Ты почему с матерью не помирился до сих пор? Ведь ты же виноват.

– Я? Виноват? В чем? В том, что она внушила себе, что она лучше знает, как мне жить или как сделать меня счастливым?..»

Тема матери, конечно, не случайно пересекается с визуальными образами Леонардо, с его мадоннами и Великими Матерями. Вспоминается жутковатый эпизод из сценария фильма (сцены эти затем были исключены), когда мальчик Тарковский едет в матерью в душной, переполненной электричке, и ему становится плохо, и какая-то женщина отпаивает его коровьим молоком. И мальчик этот больной и золотушный, и мать затравленно-измученная бытом. И едут они до какого-то полустанка, где в полях собирают чахлые цветы на продажу. И измученно-больному мальчику уныло и скучно это долгое и, как ему кажется, бессмысленное собирание, и он робко протестует, а в ответ получает от матери внезапную хлесткую оплеуху... На меня этот эпизод произвел жутковатое впечатление. Но автор словно бы мудрее самой матери, ничуть не пеняя ей за ее беспомощную и растерянную жесткость, если не сказать больше. Эту историю в сценарии он вспоминал так, словно бы смотрел на нее из некоего внеземного далека.

Странным образом в этом же сценарии образ матери высвечивается сумеречно-двусмысленными эманациями и ужимками старика Карамазова, пытающегося легитимизировать свой садистический эрос.

«...Она вдруг начинает плакать во сне, как будто слышит то, что слышу я. (Жутковатый монолог из Достоевского. – *Н.Б.*) Сначала беззвучно, а потом взахлеб, сотрясаясь всем телом, и, вскочив на кровати, горько и отчаянно рыдает, придерживая себя то за щеки, то за горло, чтобы было легче дышать. Затем она просыпается.

– Какой я сон видела! Ой, я видела такой плохой сон!

Я успокаиваю ее, с трудом засыпаю и тоже вижу сон. Будто я сижу перед большим зеркалом, рама которого растворяется в темноте, незаметно переходит в бревенчатые стены. Лица своего я не вижу. А сердце мое полно тоски и страха перед совершившейся непоправимой бедой. Зачем я это сделал, для чего, зачем так бессмысленно и бездарно я разрушил то, ради чего жил, не испытав ни горя, ни

[1] *Конечно, Тарковский далеко не первый, заметивший эту угрожающе-чарующую бездонность образов Леонардо. Например, Уолтер Патер видел в «Моне Лизе» архетип Великой Матери, исполненный роковой тайной западной души: «Она старше камней, на которых сидит; подобна вампиру, она умирала много раз и знает тайны могил; она погружалась в морские глубины и хранит в себе их сумрак...» Эрих Нойманн, комментируя проницательную книгу Патера, писал: «То связующее и неопределенное, нежное и жестокое, далекое и близкое, актуальное и все же вневременное, что Патер обнаружил в этой почти магической картине, почти полностью соответствует архетипической душе-образу женского начала, "Аниме", впоследствии открытой психоаналитиками. И это очень важно, что именно Леонардо, освободившийся от реальности всех земных связей, сумел вызвать на поверхность образ женской души. В "Моне Лизе" бессмертная возлюбленная предстала перед этим пятидесятилетним человеком как София, как неосязаемая и трансцендентальная спутница мужчины. По гностицизму Валентина, "душа мира родилась из улыбки Софии". А из улыбки Моны Лизы родилась душа современного человека, в которой соединились мадонна и ведьма, земное и божественное». (Перев. здесь и далее О. Чистякова).*

угрызений совести? Кто требовал от меня этого, кто попустительствовал этому? Для чего это? Зачем эта беда?

Пространство, отраженное в зеркале, освещено свечным светом. Я поднимаю голову и вижу в теплом золотистом стекле чужое лицо. Молодое, красивое в своей наглой и прямодушной глупости, с пристальными светлыми глазами и расширенными зрачками. Оглянувшись, я вижу в стороне того, другого, того, с кем я поменялся своим лицом. Он стоит, спокойно прислонившись плечом к стене, и не глядит в мою сторону. Он рассматривает свои руки, затем слюнявит палец и пытается оттереть чем-то испачканную ладонь. И у него мое лицо.

Зачем я это сделал?! Теперь ведь уже ничего не вернешь! Уже поздно, слишком поздно! Пусть мое, то есть теперь уже его лицо, не так уж и красиво, немолодо, асимметрично, но все же это *мое* лицо. И не такое уж оно глупое, даже наоборот, скорее оно умное, это старое, перепроданное и ненавистное мне лицо.

Зачем я это сделал? Зачем?

Когда я проснулся, было уже светло. В горнице никого не было, только хозяйка за стеной громыхала ухватами...»

Тарковский усиливает контрапункт, дополняя жуткий сон матери, очевидно перекликающийся с тайнами карамазовского эроса (уходящего вглубь леонардовских интуиций), своим собственным жутким сном, где произошло расщепление прежде единого. Если тайна аутентичности женщины есть тайна всего лишь нашего прихода в мир (и нашего из него ухода), то тайна собственной аутентичности тревожит неотклоняемой ни на миг актуальностью.

В киносценарии «Гофманиана» (написанном сразу после «Зеркала»): «Гофман выпивает свой бокал пунша и медленно подходит к высокому зеркалу, стоящему в простенке, между окнами. Его опасения сбываются: в холодном стекле отражается пустота. Он придвигает кресло, становится на него и приближает лицо к зеркальной поверхности так близко, что стекло запотевает от его дыхания. Но своего отражения в зеркале он не видит...» Самопознающий дух однажды не находит в зеркале материального образа своего носителя: лицо как привычный, навязанный с детства образ своей персональной, неотлучной, самозагипнотизированной самости исчезает, истаивает как роса, и в зеркале на Гофмана, а затем и на Горчакова, и на Александра смотрит пустота. Личина растворилась как тот мираж, что привязывал дух к раскрашенной маске, что так высоко ценится на социумном торжище.

Зеркалами наполнен и дом хозяйки хутора, которую играла Лариса Павловна. И разве не подобный дом в глуши лесов, на речной излуке искал и наконец нашел Тарковский? Вполне «мещанский» дом, который он любил и в который столько сил и энергии вложила его жена. Столь же любяще-распахнутая, сколь и ведьмински-демоничная. В той же степени любовница, в какой архетипически-языческая Мать, способная ради интересов семьи (подчас понимаемых ею вполне архаически) «перегрызть глотку» вставшему на пути. Существо двойственное и опасно-таинственное, но пленившее Тарковского уже тем, что для нее сам факт существования конкретного мужчины рядом был неотчуждаемым смыслом.

Однако с некоторых пор этот «витамин счастья простого присутствия» стал выветриваться, и в последнем фильме режиссер воссоздает портрет стремительно саморазрушающейся семьи, где счастье взаимного «присутствия рядом» утрачено безвозвратно и векторы направлений супругов, в одном из которых легко узнать нескрываемо стилизованный портрет Ларисы Павловны, резко разошлись. Но это не просто разочарование героя в жене или в супружестве вообще, это разочарование в том проекте Дома, который Тарковский страстно лелеял. Миф о Доме оказался изжит как очередная иллюзия, иллюзия самозащиты от наступающего на душу Духа. Нельзя защититься от Духа: если ты подошел к той границе в себе, где он ощутим, тебе не остается ничего другого, как прыгнуть...

И в этом последнем диалоге со своим прошлым Тарковский вновь прибегает к Леонардо, на этот раз к самой страшной его картине – «Поклонению волхвов», где смыслы действия сновиденно-ускользающи, а соединение демонизма и святости и притом в сюжете традиционно религиозно-сентиментальном, достигает предела. Что происходит в этом странном апокалиптическом мире и почему в центре действия, у корней Мирового Древа женщина с младенцем? Да, это дева Мария и

младенец Христос, но как непостижимо странно всё вокруг них! Что значат эти уничижительно-поклоняющиеся, юродственно-издевательские гримасы страшных старцев, и куда скачут во весь опор эти сновиденно запутавшиеся в хаосе людей и предметов вздыбленные кони?..

В «Жертвоприношении» герой наконец-то выступает не как сын, выясняющий свои потаенные, быть может даже сакральные, связи с отцом и матерью, а как отец, влюбленный в сына и оказавшийся в ловушке опошлившегося брака. Если в «Ностальгии» возле героя кружит откровенно «слепое» существо переводчицы – телесная форма, претендующая на «счастье», то в последнем фильме эта большая красивая женщина (хотя и в обличье другой актрисы), словно бы добивается своего и успешно созидает вполне шаблонный «домашний уют». Только может ли (да и хочет ли) Эуджения-Аделаида, внешне-типологически безусловно напоминающая Ларису Тарковскую, успевать за внутренним странствием героя?

Тарковский рассматривал сюжетное движение фильма как *трансформацию* персонажей в ходе трагических и целительных решений Александра. В «Запечатленном времени» он писал: «...Но в действительности, которую создает фильм, в конце все иное, нежели прежде. <...> Даже Аделаида, эгоцентричная жена Александра, благодаря изменению своих отношений с Юлией, служанкой, обретает новое человеческое измерение. Однако несмотря на это Аделаида до конца остается абсолютно трагическим образом, женщиной, душащей любые проявления индивидуальности и личности вокруг себя и, собственно даже не желая этого, подавляющей других людей так же, как своего мужа. Едва ли способная к рефлексии, она страдает от своей бездуховности, однако втайне подпитывает этими страданиями свои разрушительные силы. В некотором смысле она – причина трагедии Александра. Насколько мало она по существу интересуется другими людьми, настолько же уверенно она следует своему агрессивному инстинкту самореализации и самоутверждения. Поле ее восприятия слишком мало, чтобы она могла узнать по ту сторону от себя другой мир, но даже если бы она его увидела, она бы его не поняла.

Антипод Аделаиды – кротко-смиренная, всегда застенчивая и неуверенно действенная Мария... Вначале кажется, что между ею и хозяином дома никакое сближение невозможно – да и как бы оно могло быть? Но затем происходит та ночная встреча, после которой Александр не может больше продолжать жить по-прежнему: перед лицом предстоящей катастрофы он познает любовь к этой простой женщине как подарок Бога, что определяет всю его судьбу. Чудо, которое он познает, изменяет его...»

В этих, несколько наивных, пассажах, зачастую «выпрямляющих» сложную параболу мерцательных смыслов картины, кроется явное желание автора поверить в то, что кинофильм способен увлечь на вполне реальный путь самотрансформации. И кто знает, кто знает... Пути Господни неисповедимы[1].

И все же следует попытаться заглянуть чуть глубже в тему двойственной сущности женского лица. Ведь не только тайна *женщины* стоит за ремаркой режиссера о Тереховой-Джиневре. Нет, за ней, несколько ниже – таинственная явленность той внутренней борьбы, что идет во всяком нормальном человеке и что неизменно была в центре внимания Тарковского (вспомним сон героя «Зеркала»). Борьбы, иногда осознанной (более всего у мужчин), но чаще неосознаваемой, борьбы «невыразимо-прекрасного» во внутреннем составе человека и «дьявольски-отталкивающего», плотски-животного и душевно-духовного. «Тревожная пульсация... от восторга до брезгливого неприятия».

Тарковский-режиссер именно так и «лепил» свои образы (и не только женские), чтобы их невозможно было односторонне «полюбить» в ущерб какому-нибудь другому образу (в разрез с традиционной драматургией «борьбы характеров», где «хорошие» борются с «плохими»). У Тарковского

[1] *В обширном интервью, опубликованном в «Экране и сцене» в 1990 году, во время разговора о Р. Брессоне корреспондент сделал такую устную ремарку: «Мне как-то рассказывали, что у одного из друзей Брессона были наклонности самоубийцы. Он увидел "Жертвоприношение", после чего на два часа погрузился в самосозерцание, а затем сказал Брессону, что вновь почувствовал вкус к жизни». На это Тарковский заметил: «Для меня это важнее любых мнений, любой критики. Похожее случилось однажды после "Иванова детства". Один уголовник написал мне из ГУЛАГа, что после просмотра фильма в нем произошел внутренний переворот и что к преступной жизни он больше не вернется».*

мир не просто многополюсный, но мир равностно «космически» значимых индивидуальностей, в котором даже модальные индивидуальности вещей – с людьми совершенно на равных. Ведь не только Терехову, но и Анатолия Солоницына, равно Кайдановского и Ярвета, Тарковский ценил за то же самое – за мощную биполярность их человеческих фактур. Одномерно красивые (то есть с уже наклеенными ценниками) люди ему были малоинтересны. В них нет всплеска «с той стороны»; начатки внутренней динамики в них еще спят или уснули. Человеческое лицо по-настоящему интересно лишь отражением тайной борьбы космических начал. Мерцание этой схватки и дает нам ощущение внутреннего движения: дает без всяких слов, без драматургических клише и прочих «доказательств». Тарковскому, работавшему с естественной (в почти молекулярном приближении) фактурой вещей, равно и человека, было важно, чтобы в самой ритмической суггестии визуального ряда ощущалась эта доминантная основа. И в вещах чувствуется у него это напряжение: плоть вещей осыпаема – время-дух пронзает их. В человеке единовременно присутствуют два потока эмоциональности, два потока миропознавания: чувственное и сверхчувственное[1]. И режиссеру было важно, чтобы уже в самой фактурной пластике тел и особенно лиц актеров было это скрытое присутствие.

И не случайно безусловная красавица Эуджения в «Ностальгии» – персонаж в сущности «иронический»; потому и безусловная красавица, что односторонность и, значит, ущербность: нет напряженности внутреннего диалога, пусть и не осознанного. В то же время роль матери-жены в этом фильме исполняема отнюдь не красавицей, и это, безусловно, симптоматично.

Человек, чья красота уходит в демонстрацию самой себя, в торжествующее возвещение умиления перед плотским совершенством как таковым, пребывает в роковом заблуждении относительно истинного масштаба жизни. Потому-то я и называю красоту, с которой работал Тарковский, *бытийной* красотой в противовес красоте *товарной*, заполонившей сегодняшний художественный рынок. Но это уже другой разговор.

---

[1] *Мистическое умонастроение героев Тарковского странным образом пересекается с мистической подоплекой все тех же образов (главным образом женских) Леонардо. Вновь обратимся к проницательным наблюдениям Уолтера Патера: «Они – ясновидящие, с помощью которых, как с помощью сложных инструментов, человек начинает постигать более тонкие силы природы и различные виды их действия, все магнетическое в природе, все те сложные условия, в которых материальные вещи достигают такого высокого уровня деятельности, который делает их духовными и на котором требуются более острое чутье, большее благородство и большее мужество. Возникает такое ощущение, что мы видим прекрасный пример воздействия этих сил на человеческую плоть. Кажется, что эти нервные, возбужденные, вечно страдающие какой-то непонятной слабостью люди были приведены в необычное состояние, почувствовали в обыкновенном воздухе работу сил, не замечаемых другими людьми, стали их вместилищем и передают эти силы нам посредством постоянного незаметного влияния». (Подчеркнуто мной. – Н.Б.) Сюда можно добавить и интуицию Ф.Ницше: «Возможно, Леонардо да Винчи – это единственный художник со сверххристианским мировоззрением. Он знает Восток, "край рассвета", находящийся как внутри, так и вне его. В нем есть что-то сверхъевропейское и молчаливое...»*

И в самом деле, Леонардо, например, ощущал естественность незавершенности подлинного художественного произведения, любимую именно старыми восточными мастерами. Многие работы Леонардо по разным причинам не завершены. Та же «Мона Лиза». Четыре года работы, и натура в возрасте двадцати шести лет неожиданно умирает. Неожиданно ли? Не писал ли Леонардо именно-таки эту мистерию жизни-смерти, разыгрывавшуюся перед ним? По какой-то причине он не расставался с этим полотном до конца своих дней.

Вячеслав САВИН

ЛАМПА

вычерчивает вечер головой
пылающая шею изогнув
за штопальной иглой
полууснув
впрягается в обочину обоз
затягивает исповедь манок
но вряд ли кто всерьёз
подумать мог
что кварцевой улыбки штрих-пунктир
к поимке жизни штепсель подключит
свеченье впереди
разоблачит

СЧИТАЛКА

Жил и жалел, мучил-терпел, жил-сторожил, игры жестоки.
Шире карман, слов посреди кости сыщи, выкинь шестёрки.
И ледяной пот стекловой вычертит, что́ надобно делать.
73· 75· 77· 79·

***

в океане подёрнутом
облака зацвели
изгибаются воротом
ослабевшей земли
громобоя три короба
маетой налита
пыль на корпии города
временная пята
время занято плутнями
сбоку бакен пришит
хохоча над приблудными
за ушами трещит
а рубахи фланелевой
обращённой в полёт
ты ему не простреливай
всё равно не замкнёт

***

не последний но очередной
объясню второпях
на губах перегной

Вячеслав Савин родился в 1989 году. Живет в Ульяновске, студент филологического факультета УлГПУ им. И. Н. Ульянова. Публиковался в ульяновской периодике. Шорт-лист всероссийской премии «ЛитератуРРентген» 2011 года.

одинокое семя сквозняк
растирает изрытой ладонью
приляг отдохни
ибо смерть семядоля
на пахоте тягла

КАСПИЙ

пересечённая кисть бог весть
эхо уносит блажную взвесь
легче пшеничного колоска
в воду глядеть и не знать песка
что ты ворочаешься голыш
Он не алхимик а химик лишь
щёлочи щёк и кислоты скул
перемешать на глазу рискнул
и не осталось ни ручейка
у островного солончака
холод повсюду кого ни будь
север повсюду куда ни гнуть

***

Тане

до тошноты и потери дара
речи и раковины помимо
пышет кулак о края там-тама
шаткой груди на отшибе мира
эхом увенчанные исканья
пыли посудину в гору чаля
я высекаю волну из камня
сопротивления не встречая
на одиноком персте влекомом
камень расколот истёсан ноготь
некто наросшая в горле комом
ужаса
это любовь должно быть

СЫН

где-то мой мальчик ломоть отрез
вон он мамаша вон он
бритую шею кладя на рельс
щупает пульс вагонам
их окольцовывает в уме
лента без окончанья
передавая зрачку во мгле
новое очертанье
сын улыбается отыскав
тело его смеётся
бьётся о струны струи состав
песня из горла льётся

Сергей БОРОВИКОВ

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, НЕ ПРОБУЙ!

Между молотом и наковальней: Союз советских писателей СССР: Документы и комментарии. Т.1: 1925 – июнь 1941 г. / под рук. Т.М. Горяева, сост. З.К. Водопьянова (ответственный составитель), Т.В. Домрачева, Л.М. Бабаева. – М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – 1023 с. – (История сталинизма. Документы).

Читатели «Мастера и Маргариты» помнят, какую важную роль в романе играет пристанище МАССОЛИТа – Дом Грибоедова. «Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцам – членам Масссолита, и черная зависть начинала терзать его. И немедленно же обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским Массолитским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, – известным всей Москве билетом».

Известно, что под домом Грибоедова имелся в виду писательский клуб в Доме Герцена (теперь там Литературный институт), о котором классик советской поэзии оставил обидные строки: «Прав/один рифмач упорный,/ в трезвом будучи уме, /на дверях/ мужской уборной бодро/вывел резюме:/ “Хрен цена/ вашему дому Герцена”./Обычно/заборные надписи плоски, /но с этой – согласен!/В. Маяковский».

Клубы, подобные писательскому, были и у работников искусства – ЦДРИ на Пушечной, и у Всесоюзного театрального общества на Тверской (сгорел!), у художников на Гоголевском бульваре, у архитекторов в Гранатном пер. и др.

Но самым знаменитым был, конечно, послевоенный клуб писателей ЦДЛ с выходами на улицы Воровского и Герцена. Здесь писатели обсуждали и осуждали друг друга на собраниях, каялись, дрались, обнимались. Был в ЦДЛ даже специальный человек по устройству похорон.

Писатели (и, возможно, не без основания) полагали, что в клубе чуть ли не под каждым столиком жучок, что каждый второй из собеседников стукач, и все же к вечеру в ЦДЛ было не пробиться. Наверху в зале крутили запрещенный фильм, в парткоме слушали чье-то персональное дело, но главное, что ресторан и три буфета (один для начальства) были битком набиты, особенно верхний, где стены сверху донизу были раскрашены, разрисованы, расписаны разными остроумностями в стихах и прозе. О яркой жизни клуба один эмигрант выпустил за рубежом роман «ЦДЛ».

Всевозможные «Стойла Пегаса» и «Кафе поэтов» во множестве были и в первые годы советской власти, но вскоре все «Союзы поэтов», «Центрифуги», РАППы, ЛЕФы и прочая были упразднены, и в 1934 году воцарился единый Союз советских писателей. Здесь писатель в полном смысле слова мог родиться, быть многократно обмытым, высеченным, награжденным, мог даже испустить дух, и согласно всем обрядам быть отпущен в мир иной и получить (руками осиротевшей семьи) денег на надгробие.

Так и началась полная драматизма и комизма история Союза, в члены которого – прав Булгаков – до озноба мечтали влиться пишущие люди. (Был, впрочем, по крайней мере, один случай, когда известный писатель, несмотря на всяческие посулы, не вступил в СП – Владимир Богомолов).

Поясним источник неслыханных материальных возможностей Союза. Дело в том, что будучи формально не государственной, а общественной организацией, Союз советских писателей (точнее – Литературный фонд Союза ССР, образованный при нём Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР в 1934 году, целью которого являлось «улучшение их [писателей] культурно-бытового обслуживания и материального положения, а также оказание помощи растущим писательским кадрам путем создания для них необходимых материально-бытовых условий») получал свои доходы (согласно тому же постановлению) от:

а) производимых издательствами художе-

ственной литературы и редакциями журналов взносов в размере, равном 10-процентной сумме авторского гонорара, выплаченного за оригинальные и непереводные художественные произведения;

б) из производимых зрелищными предприятиями отчислений от валового сбора спектаклей (поспектакльные отчисления) в размере 2% со спектаклей большой сцены и 0,5% с постановок малых форм (скетчи, одноактный водевиль и пр.);

в) из специальных взносов членов Союза советских писателей в размере, определяемом уставом Союза;

г) из доходов от имущества и капиталов, принадлежащих «Литературному фонду Союза ССР»;

д) из ежегодно ассигнуемых сумм государственным бюджетом СССР в размере 25% к общей сумме поступлений в «Литературный фонд» и из других источников.

Отчисления таким образом шли от издания *любой* книги в *любом* издательстве, от *любого* журнального гонорара. Неудивительно, что Литфонд быстро обзавелся «имуществом и капиталами». Десятки домов творчества, где ни в коем случае не селили по двое, а на руководящую фигуру выделялось две, а то и три комнаты. Дубулты и Гагра, Пицунда и Ялта, Переделкино и Комарово, Голицыно и Малеевка. В Москве поликлиника, пошивочное ателье (вспомним «Шапку» Войновича). Там, где писателей было немного, их прикрепляли к обкомовской больнице. Заболел – получай больничный: ведь кроме всех других благ членский билет давал возможность нигде не служить, не считаясь при этом «тунеядцем»: с момента вступления в СП автор числился на творческой работе и ему шел трудовой страж наравне с другими гражданами страны.

Это был тот самый пряник, который успешно действовал наряду с кнутом. Причем, масштабы этого пряника вызывали зависть даже у чиновников – или у менее удачливых или талантливых коллег. В 1936 году в ЛГ появилась «разоблачительная» статья И. Лежнева «Вакханалия переизданий», где приводились суммы годовых заработков совписовцев Гослитиздате. Так Леонид Леонов, который, как известно, любил жаловаться на низкие гонорары, в 1934 получил от издательства 103 тыс. рублей, в 1935 – 116 тыс. рублей, за 11 месяцев 1936 – 96 тыс. рублей. Зарплата врача в те годы была 300–350 рублей в месяц, инженера 500–600, не будем уж о рабочих и тем более колхозниках. Таким образом, гонорар Леонида Максимовича в одном только издательстве был в 30 раз больше зарплаты врача. Конечно, рядовые, тем более провинциальные, писатели получали меньше, и все же куда больше остальных категорий трудящихся.

Сами же Союзы были освобождены от любых налоговых поборов. Недаром такие аплодисменты и одобрение Горького получили слова смекалистого Леонида Соболева «Партия и правительство дали писателям все права, кроме одного права писать плохо».

Сюда бы добавить еще отсутствие права на «пробу», права на ошибку, которая могла привести к легкой проработке, а могла и к заготовке леса в крайних районах Севера и даже казни.

Твори, выдумывай, но лучше не пробуй...

Теперь о самом извращении сути слова «союз». В любые союзы всегда объединялись единомышленники, в «творческий» же СП были загнаны писатели не только разных, но и враждебных взглядов, зачастую лично на дух не переносящие друг друга, но жить, трудиться, отдыхать им было положено вместе.

Пишите, пейте, пойте, развлекайтесь, безобразничайте, но под непрестанным контролем, и даже не пробуйте из-под него выйти. Нравы складывались в писательской среде такие, что Д. Поликарпов, курировавший от ЦК СП СССР, со слезами просил вождя освободить от его работы – уж очень большая сволочь эти писатели – пьяницы, развратники, доносчики, на что вождь исторически ответил: «Иди работай – других писателей у меня для тебя нет».

Едва закончился первый съезд советских писателей, как партия начала раздавать «соцзаказы»: к примеру секция драматургов театра и кино ССП разослала (июнь 1935) предложение о «создании драматургических произведений, достойных великой даты 20-летия Октября»: 53 адресатам, среди которых наряду с Олешей, Ильфом и Петровым, Паустовским – три десятка безвестно канувших в небытие имен.

Но дело даже не в чудовищном давлении – а потом и психологическом и физическом

уничтожении, не в превращении писателя в *инструмент* пропаганды: в книге приведен показательный документ «Письма писателей о впечатлениях от экскурсии на Беломорско-Балтийский канал» от 22 августа 1933 г. – «Я сообщаю героической Чека, / Что грандиозность Беломорского канала/ И мысль вождя, что жизнь ему давала, / Войдут невиданной поэмою в века.// И если коллективом вдохновений/ Поэму Беломорского пути/ Сумеем мы в литературу донести,/ То будет/ Лучшее/ из наших донесений» (А.И. Безыменский, 1933). Дело в том, с какой сладострастной энергией литераторы бросились топить друг друга.

Проработки следуют одна за другой, бесконечно развертываются кампании по борьбе с чем-то и кем-то вредным, в которых членам СП положено обличать других и самим каяться.

Во втором, самом обширном разделе огромного тома – «Первый съезд и его победители» (утратив скромность, замечу, что свою статью об этом событии я некогда назвал похоже, но удачнее: «Съезд победителей себя») содержится на этот счет огромное число документов. Вот, например, общемосковское собрание «О формализме и натурализме в литературе», которое продолжалось две недели – с 10 по 31 марта! – 1937 года. Там Б. Пастернаку понадобилось аж два выступления для покаяний. На стенограммах сохранились внимательные пометы Хозяина – документы всех писательских сборищ моментально доставлялись в Кремль.

А вот тогдашний руководитель ССП и – никакой писатель В. Ставский пишет Вс. Вишневскому, что за ним «есть невыполненные поручения партгруппы: 1. Прочитать пьесы БУЛГАКОВА “Жизнь Мольера”, “Пушкин”, “Иван Васильевич”, “Мольер”. Это поручение ты получил в половине октября. Оно остро в связи с разговорами самого Булгакова о том, что если он не нужен Советской стране и т.д. и т.п.» (25 декабря 1936). Так был успешно запущен механизм удушения литературы руками самих литераторов.

«Кое-кто пытается представить дело так, что литература – это поле, покрытое мертвыми костями, а кое-где виднеются еще недобитые писатели», – пишет в конце октября того же года и тому же Ставскому О.С. Войтинская. Этот «кое-кто», похоже, был прав. Цитируя эту книгу, трудно остановиться, да что делать.

Но какой же смысл в исследовании трупа ССП, каковое и представляет собой книга «Между молотом и наковальней»?

Конечно, истории как науке интересно все, она не брезглива. Ну, а сколько-нибудь практический, скажу даже политический, смысл есть в этих исследованиях?

Есть.

Сейчас, спустя годы, в связи гонениями на все талантливое, вспоминают цензуру и КГБ, парткомы и редакторов, это, конечно, верно, но мне хорошо памятно, как еще в 60–70-е годы клич гонителей «ату его!» раздавался из бесстыжих уст коллег гонимого, состоящих с ним в одном Союзе.

История имеет обыкновение повторяться. Место комсомола уже уверенно заняли «наши», вместо «блока коммунистов и беспартийных» появился Народный фронт... Быть может, вот-вот мы услышим, что инициативная группа литераторов, с более или менее известными именами, объявила о создании, скажем, «Добровольного общества содействия и единства», с последующими, по мере утверждения, переименованиями вплоть до самого благозвучного и самого благонамеренного.

Мне сложно писать об этой книге сколько-нибудь отстраненно. Значительная часть моей жизни связана с Союзом советских писателей. Я родился в семье члена СП, и сам состоял в СП с 1977 года.

Я участвовал в сотнях писательских собраний пленумов, бюро, был делегатом съездов СП СССР и СП РСФСР, знал многих СП-функционеров разных уровней, множество членов СП из Москвы, Питера, и особенно из волжских городов. Я пользовался теми благами, которые давало членство в СП: получил квартиру от литфонда, брал путевки в дома творчества, будучи в Москве, покупал дефицитные издания в Книжной лавке писателей, обедал в ЦДЛ. Провинциальные писатели, бывая в Москве, и с гордостью предъявив на входе членский билет, хоть на время погружались в кипучую пряную жизнь столичной богемы.

Здесь надо заметить, что провинциальные писатели в массе своей страшно завидовали московским коллегам. И среди всего спектра зависти, крайне люто воспринимались, да и

сейчас воспринимаются, частые поездки москвичей за рубеж.

Я уж как-то вспоминал, что особым родом чтения у провинциальных писателей был информационный бюллетень СП. Ах, бюллетень, бюллетень, лучше бы тебя не издавали! Или не присылали. Траурным пеплом подергивались взоры и лики провинциальных бедолаг, читающих про обладателей таких же членских книжек, как и у них, но... Вот Дни литературы в Дагестане, прибыла делегация. Звучат кавказские мелодии, зеленеет теплая каспийская волна, а барашек-шашлык, а коньяк дербентский? А уважение окружающих? А вереница черных «волг», направляющихся в прохладную долину, где уж курятся дымки...

Сглотнет табачную слюну член провинциального Союза, перелистнет страницу, а сердце бьется сильнее, потому что приближается самый горестный раздел – о поездках членов СП за рубеж. В мае за рубежом побывали: мать моя мамочка, Михалков, раз, два, три, три раза, и не просто в ГДР, а «с заездом в Западный Берлин» – так он ради этого заезда и выехал! А Евтушенко!!! Штаты, Англия, опять Штаты, и цель – творческие вечера. Или – по приглашению издательства такого-то. Пальцы загибаются, их на руках уже не хватает, так что подсчет невольно продолжается и в ботинках, и получается, что Михалков с Бондаревым или Евтушенко с Рождественским вовсе из-за бугра не вылезают! Да что Евтушенко! Еще обиднее, когда свой же местный парень, море водки выпили, и поэтик-то никому неизвестный, а вот в столицу перебрался, фиктивно женился, жил по углам, но влез то ли в приемную комиссию, то ли в партбюро секции, и гляди: в составе делегации, хоть в Того, хоть в Конго, но слетает.

Тут вспомнит наш бедолага, как в позапрошлом году накопил деньжат на Болгарию, как еще не хотели с женой вдвоем выпускать, пришлось в обкоме лбом о пол стучать, как красные червонцы в трусах сверх положенного провозили, как баба в софийском универмаге при виде всего этого изобилия одеревенела, как копейки их поганой, стотинки, ему на вино жалела, вспомнит все это, получит деньги за выступления на полевом стане колхоза имени XIX Партсъезда и прямиком в ресторан «Европа» на второй этаж, где и водку, и пиво в подают в одинаковых графинах, и – до упора, не то что на партсъездовские, но и в долг, а то и вплоть до личного дела по поводу бумаги из милиции. Вот вам и «Информационный бюллетень»!

Принципа «разделяй и властвуй» еще никто не отменял. И принцип этот продолжал действовать.

Частичная компенсация комплекса провинциальной писательской неполноценности осуществлялась так называемым Бюро пропаганды художественной литературы (при СПР оно, кажется, и посейчас функционирует). То была самая элементарная кормушка, прежде всего для поэтов: в Бюро выписывались путевки для выступлений на заводе или селе, приезжал наш горемыка на полевой стан и выкрикивал там с десяток своих идеологически выверенных стишат, за что и получал десять с чем-то рублей (точно не помню, так как сам не выступал). Иные умельцы из одного колхоза привозили за раз десятки путевок, в которых принимающая сторона одобрительно отзывалась о выступлениях члена СП (без отзыва путевки не оплачивались). При этом на собраниях другие, менее удачливые, коллеги уличали умельца в приписках. А еще хоть в небольшую пику москвичам, провинциальные совписцы через Бюро стали обмениваться делегациями. Ну, натурально литературный вечер приезжих и местных, товарищеский ужин за счет колхоза или предприятия, и непременно какие-нибудь подарочки – в Саратове лучшим маршрутом считался на завод техстекла, где выпускали хрустальные вазы.

Некогда я, на антипутчевском подъеме, принял участие в разделе СП РСФСР на СРП и СПР. Думаю, большинство, подобно мне, наивно полагали, что размежевание с коммуно-патриотами благотворно скажется в новом Союзе. Какое там! И там и здесь быстренько сформировались новые генералитеты, штабы, обросшие юркими функционерами. Борьба пошла не за «демократические» или «патриотические» ценности, но за конкретное место под солнцем – Переделкино, Внуково, за черствые останки литфондовского пирога. Все это печально подтверждает порочность самой системы «творческих союзов», где все равны, но кто-то всегда равнее.

На местах потише просто вместо одной в областных центрах стало по две писательских

организации: как правило, более многочисленная и более активная СПР, и малочисленная и инертная СРП.

Первая выбивает из местных властей деньги на издания, стипендии, премии, выступает на каких-то торжествах, вторая жалуется сама себе на обманутые надежды 90-х. Иногда, впрочем, в каком-то из городов случается выбившийся из ряда писатель, получивший признание в Москве и за границею, и искренне плюющий на все писательские союзы большыя и малыя.

И это хорошо.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ТЕКСТЫ, ПОЛЯ И ПЕРСОНАЖИ

Дикое поле. Донецкий проект: Интеллектуально-художественный журнал. №15, 2010.

Вот, скажем, издание, напоминающее если не место, где из закопанных монет вырастает дерево с золотыми листьями, то восточный базар со всеми его атрибутами. Виньетки из цветочков, картинки подзаголовков, объяснения, предварения, эпиграфы; в одном месте с гордостью ссылаются на труды главреда известного журнала, в другом поминают его же в несколько ином контексте, здесь «говорят дети», там «филологи тоже пишут», «птицы», «рыбы», «полевые структуры», «речевые ландшафты». В общем, все стихии...

Если по существу, то содержание также разнообразно: в журнале есть поэзия (за редким исключением не слишком самостоятельная, на мой вкус) и литературная критика, любопытные статьи Марии Пименовой и Григория Померанца, пьеса Екатерины Садур, рассказы Игоря Борисова, интервью с Ниной Садур и другие материалы. При всем изобилии мне в этом довольно объемном выпуске все-таки не хватило, пожалуй, главного – на чем остановиться глазу. Впрочем, повесть «Маша и Дубровский» Владимира Скобцова возможно и предполагалась чем-то вроде гвоздя номера, однако в качестве, цитирую из предисловия, «бессмысленного и беспощадного суда над русской классикой» опоздала минимум лет на двадцать, а запоминается больше странным сочетанием стиля а-ля Охлобыстин времен «Даун Хауса» с навязчивыми авторскими иллюстрациями, которые только усиливают эффект кинокапустника.

Для полноты картины все ж таки приведу несколько начальных строк из стихотворений, которые можно прочитать на одном развороте, открыв журнал где-нибудь посередине:

В полдневный жар под сенью
деконструкций...
(Татьяна Пахарева. Постмодернистское)

и

Шиллер, Шеллинг и Шлегель,
Одинаковы ваши приметы...
(Евгений Васильев)

Мне кажется, дальше можно не продолжать, т.к. приметы действительно одинаковы. Нетрудно догадаться, что вслед за обязательными Мандельштамом и Борхесом обязательно будут упомянуты Дмитрий Александрович Пригов со своим «милицанером», но дальше пародии в этих стихах дело не идет, да и сам прием используется слишком формально, без вдохновения. Общее ощущение, что «Дикое поле», в подзаголовке – «поле духовных поисков и находок», слегка задержалось в 80-х, по-детски, как это бывает с учеными, искренне заигравшись в своей филологической песочнице.

Персонаж: тексты о текстах: Литературно-критическое приложение к журналу «Гипертекст». №1, 2011.

Вот, к слову, еще один проект, задуманный как «площадка для персонажей молодой литературы», но с заметным отличием от подобных изданий – сочетанием художественных текстов с подробными критическими откликами на эти же тексты в одном номере. Что, на мой взгляд, получилось – есть диалог, хотя, может быть, и в некоторых случаях поспешный, с неизбежными авансами и показательными розгами для дерзающих.

Материалов в первом выпуске не так уж и много, журнал вдвое тоньше «Дикого поля» – с одной стороны, Ольга Елагина, Наталья Максимова, Екатерина Здановская, Мария Кучумова, Алексей Клепиков, Андрей Королев, Кристина Папрецките, Андрей Юртаев, с другой, оппонирующие им Рустам Габбасов, Любовь Каракуц,

Игорь Савельев, Константин Комаров, Наталия Санникова, Яна Рейзвих, Марина Изгина и Елена Сафронова. Конечно, уровень произведений разный, но вот, например, встречаются довольно любопытные стихи у Максимовой, которая мне совсем неизвестна, а у Елены Сафроновой, автора с большим послужным списком, в рецензии на «Боту» Юртаева читаем: «Пьеса не может и не должна быть посвящена только разговорам, только изложению ряда мировоззрений. Иначе весь театр, созерцая ее, просто уснет...» Хм, а мне навскидку вспоминается блестящая адаптация «Диалогов» Платона в постановке Анатолия Васильева, да и Мейерхольд, я думаю, поспорил бы с критиком на этот счет. Впрочем, тем и хорош «Персонаж», что приглашает к разговору личным отношением к прочитанным текстам.

Может быть, отчасти благодаря тому, что предпочтение отдается «малым прозаическим, поэтическим и драматическим формам», а может быть просто затем, что редакция «Персонажа» постаралась сделать журнал не скучным, сами тексты и тексты о текстах смотрятся вместе вполне гармонично. Пожалуй, далее разбирать произведения, опубликованные в этом выпуске, я не стану, скажу только, что лучше всего этот номер характеризует название критической статьи Игоря Савельева – «Возле удачи».

Ну, а в завершение этого миниобзора – привычное в таком случае «больше журналов хороших и разных», произносимое уже в качестве пожелания, без всяких вопросительных ноток. Вот, собственно, два издания, два интересных литературных проекта, с ориентацией на университетскую среду, на молодые имена. И хорошо бы не забыть, в самом деле, о персонаже, о том, ради кого и чего пишется и сочиняется, за всеми этими моделями, полевыми структурами и речевыми ландшафтами.

Анна САФРОНОВА

МИШКУ ЖАЛКО

Наум Ним. Господи, сделай так... – М.: Астрель: Corpus, 2011. – 336 с.

Перед нами история четырех друзей (детство, юность, взросление – и далее), вживленная в Большую Историю – послевоенные годы, Хрущев и т.д. (об «и т.д.» – ниже).

Повествование – от первого лица, а повествователь, он же один из четырех героев... Тут начинаются сложности. Наум Ним пытается сохранить и непосредственность как бы детского восприятия, и вместе с тем наградить рассказчика взрослым знанием и пониманием того, что происходило: «Всё вокруг гремело непримиримой борьбой с попами и прочими сектантами, которые со всеми своими крестами стоят поперек дороги в светлое будущее. Редкие и еще диковинные телевизоры, всегда гомонящие репродукторы на столбах... никогда не выключающиеся радиоточки (кто же станет их выключать, если гроши уплочены?) с утреннего гимна до ночного пугали-гремели-сражались с религиозным дурманом. Ну, и еще с кукурузой. Это было самым главным. Потом по главности шли янки, не желающие ехать домой, и немецкие реваншисты, не понимающие, что нет им никакого срока давности».

С хроносом Наум Ним на «ты». «Теперь...» (то есть сейчас, в настоящий момент) – так, например, обозначает во времени какое-то свое событие второклассник, и тут же: «...тогда по малолетству я не понимал...» – вклинивается вдруг взрослый дядя, сидящий за компьютером и рассказывающий нам всё это. Времена вольно скачут (в том числе и в композиционном строе книги), но это не производит впечатления искусственности.

А раздражают немногие, но всё же наличествующие, подражания детскому говорению («дамоклывый меч», «космы повиты» – космополиты, и др.), а также некоторые покушения на реформацию языковых норм: выражения типа «октябренский значок», «голодных горемыков», «вкуснючий пирог» (знаю-знаю, не Ним это отвратительное словцо изобрел, но...) плохо сочетаются с редкими, но всё же мотивированными «издетства» (корректор этого слова не осилил, написано «издества», с. 125), «наособняк» и с диалектизмами.

Так вот, четверо героев, послевоенные годы, Хрущев и т.д. В духе вольностей самого автора перескочим этапы этого «и т.д.» и обратимся сразу к финалу: «Сейчас при громких криках о правах человека все молчаливо признают безграничные возможности властного

контроля и от бессилия запретить его готовы уже и оправдать. А в моем варианте будет обеспечено главное право: всё знать, и в частности – о тех, кто властвует над тобой...»

Сказано автором, уже совсем далеким от детства, – не прозаиком, но публицистом. Пропал, стерся Мишка! Он, один из четырех друзей, самый обаятельный, Мишка-Мешок, уверенный, что является посредником в общении Бога с людьми, что его желания исполняются, как только он запишет их в тетрадочку и поставит точку после фразы «Господи, сделай так...». Пропал фантазер, волшебник, необыкновенно чуткий ко всем болячкам мира. Убит автором наповал.

А происходит убийство на 148 странице. Появляется второстепенный персонаж: Мишка по семейным обстоятельствам попадает в Архангельскую область, а там – «ссыльный», «тонеядец», рыжеволосый поэт... А чтоб уж читатель не сомневался, что это Бродский, тут же и диалог: поэт, узнав о Мишкиных свойствах, просит «нобелевку», но не сразу, а лет через двадцать-двадцать пять... Мишка, конечно, соглашается... Наум Ним, махнув на Мишку рукой, откровенно подмигивает читателю.

Больше за тайными мыслями Мишки следить неинтересно, он весь заслонился «авторской мыслью», и автор далее уж совсем пошел вразнос: Кеннеди убил, Шолохову Нобелевскую заказал, и так далее. Дар Мишкин, до того нежно-комично балансирующий на грани реального и фантазии, вдруг стал фикшнусловностью, лобовым приемом: тетрадка с желаниями пошла кочевать по друзьям, и те, каждый по-своему, начинают рулить событиями... Наум Ним, конечно, хотел поделиться с читателями своими взглядами на вопросы отнюдь не частного порядка. И как же такой поворот отдаляет нас от трогательных, лирических, с бесконечной любовью написанных первых глав!

Точку надо было поставить на 148-й странице.

Одно из лирических отступлений (на 58-й странице): «Сейчас за полторы тысячи верст и несколько жизней от тех открытий я гляжу на того глупого малька, которым был уже не вспомнить когда, и замираю перед ним в неловком смущении. Куда я растратил его способность удивленно радоваться неистощимому разнообразию мира – огромного и моего мира? Такое чувство, будто я разбазарил его наследство, и мне даже нечего сказать в свое оправдание».

В заключение хочется добавить, что главный редактор журнала «Индекс/Досье на цензуру» и приложения к нему – журнала «Неволя», правозащитник, диссидент Наум Ним автор не только книг (политических и художественных), но и собственной редкостной судьбы. Закончил вечернее отделение факультета математики Витебского педагогического института (1979). Занимался тиражированием и распространением самиздата. После многократных обысков, изъятий у него книг и рукописей был арестован в январе 1985 в Ростове-на-Дону. В июне того же года осужден Ростовским областным судом на два с половиной года колонии общего режима. Большую часть срока провел в уголовном лагере в Тюмени. Освобожден в марте 1987-го. Работал воспитателем и преподавателем в интернате для умственно неполноценных детей в Новочеркасске, учителем математики в школе, программистом, плотником, столяром, пилорамщиком, кочегаром, строителем. Писать начал в 1980-е годы, всерьез занялся литературой уже после лагеря.

Олег РОГОВ

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Владимир Эрль. С кем вы, мастера той культуры? Книга эстетических фрагментов. – СПб., «Юолукка», 2011. – 244 с.

На обложке книги детское фото. Еще нет знаменитых пушистых усов, но автор опознается по взгляду, исполненному безжалостной любознательности. Вторая и третья страницы обложки усеяны изображениями длинных и гладких существ, надеюсь, угрей (это рыбы такие). Четвертая страница обложки являет нам плохо пропечатанное изображение черепа в профиль; на коричневом фоне выделяется белое глазное яблоко с темной бусиной зрачка.

Под обложкой собраны разнообразные тексты, сгруппированные в разделы для облегчения читательского ориентирования: «Эстетика и критика», «Рассказы шестидесятых

годов», «Miscellanea earliana» (помещенные здесь рассказы и лирические миниатюры прекрасно дополняют уже вышедшие книги прозы и стихов автора).

Замыкают издание «Дополнения» и список первых публикаций.

Вошедшие в книгу проникновенные заметки в большинстве своем впервые были напечатаны в малотиражных машинописных журналах («Часы», «Обводный канал», «Транспонанс» и др.), даже сегодня не доступных ни рядовым читателям, ни читателям из высшего командного состава. Это и справки для различных изданий, отзывы о литературных мероприятиях глухих советских лет (письмо о выступлении Шварц, например, дано в стилистике отзыва о музыкальном вечере), предисловия к архивным публикациям, манифесты Хеленуктов, мемуары, интервью и многое другое. Любопытно, что большинство публикаций Эрля и домашние, и академические одновременно – это и рассказ и о друзьях-соратниках, и об истории новейшей литературы, нераздельно и неслиянно. Хвостенко, Аронзон, Миронов, Богданов оживают, как будто включили кинопроектор, а их тексты после примечаний и замечаний Эрля становятся еще ближе и еще интересней.

Напоследок (не) хочется (но придется) отметить, что в списке первых публикаций отсутствуют указание на размещенный на с. 9 текст «Долой арендаторов» и «Три пьесы в стиле поп-арт» (с. 128). Еще упомянем рискованный обрез по правому краю, балансирующий на грани дозволенного, но никогда ее не переступающий. Впрочем, это даже придает чтению дополнительную волнительность.

Сергей ТРУНЁВ

В ПОИСКАХ ОДЕССКОГО ЮМОРА

Михаил Бару. Дамская визжаль. – М.: Эксмо, 2011. – 352 с.

На веселенько (по-другому не скажешь) расцвеченной обложке, в аккурат в самом ее верху, изображено солнце. Восходит оно или же наоборот, понять невозможно, однако ядовито-кислотный цвет красок, равно как и надпись внутри солнечного полукружья – «Новый одесский юмор» – как бы сами собой говорят о том, что перед нами именно рассвет. Или расцвет. Нового, одесского... Несколько сбивает с толку отсутствие информации о серии непосредственно в выходных данных книги, тем более, что эти самые данные предваряет список уже опубликованных авторов и произведений.

Здесь, впрочем, возникает интрига: как Михаил Бару, проживающий в Москве, умудрился стать новым одесским юмористом? В поисках ответа начинаем читать.

В целом содержание книги можно разделить на поэтическую и прозаическую составляющие, которые периодически сменяют и семантически взаимодополняют одна другую. Что касается поэтической части, то в нее входят стихи, исполненные в жанре «русскоязычного хокку» или чего-то подобного: по форме вполне восточного, по содержанию – порой до боли или до смеха российского. Относительно новизны опубликованных вещей вопрос, как минимум, спорный, поскольку мое первое знакомство с некоторыми из них восходит аж к 1999-му году (подборка в «Волге», № 7, 1999). Вот, к примеру, тройка далеко не новых, но от этого не менее любимых мною трехстиший:

***

Шелест юбок,
Еще вчера незнакомых, –
Командировка...

***

Рыбалка в разгаре!
Уже и наживку
С трудом отличу от закуски.

***

Раннее утро.
Сосед прибивает полку
Прямо к моей голове.

Юмор, по-моему, в наличии. И если сделать поправку на то, что новое довольно часто на поверку оказывается хорошо забытым старым, появление книги Михаила Бару в вышеуказанной серии представляется вполне закономерным. Однако, где же таки заявленное «одесское»?!

Прозаическая составляющая включает, как сказано в аннотации, «миниатюры», сюжеты которых позволяют разделить их на три

блока. Оговорюсь, что это чисто умозрительное деление, практически не имеющее отношения к структуре книги. Первый блок содержит тексты, в основе которых лежит выработанная автором мифология, т.е. то, чего никогда не было, но что принципиально могло бы быть. Сюда, кстати, входит и миниатюра, давшая название книге – «Дамская визжаль» – посвященная описанию несуществующих (а, впрочем, кто их знает?) экспонатов московской Оружейной палаты. Действительно, вполне логично предположить, что если существовали в давние времена мужские пищали, то могли существовать тогда же и дамские визжали, зудели и т.п.: «Собачка ударно-спускового механизма выполнена в виде любимой левретки Екатерины Ивановны и в момент удара издает такой же визжащий звук, как если бы ее (левретку, но не собачку) пнули ногой». Столь же вероятностный характер имеют и другие текстуальные реалии, как, например, орден монахов-артезианцев или картина «Иван Грозный спаивает своего сына». В общем же, в силу разнородности представленного «исторического» материала и радикально-иронического отношения к нему автора, можно было бы запросто пришпилить к текстам первого блока ярлык «постмодерн». К сожалению, данное понятие на настоящее время уместно воспринимать либо как моветон, либо как ненормативную лексику интеллектуалов.

Ко второму прозаическому блоку я отнес тексты, определить которые можно как «короткие бытовые зарисовки». Понятно, что сама специфика жанра предполагает наличие у автора не столько острого ума (т.е. остроумия), сколько острого зрения и слуха. А также точного и, в то же время, красочного языка, способного увиденное и услышанное передать. У Михаила Бару все это есть, и поэтому представленные во втором блоке тексты буквально проходят перед глазами, точно живые короткометражные фильмы... также не содержащие в себе ничего одесского, если не считать миниатюры «Поезд Москва–Одесса».

Наконец, третий блок как бы объединяет первые два, предоставляя читателю возможность увидеть избранные фрагменты истории (точнее, их литературную, т.е. мифологизированную интерпретацию) семьи самого Михаила Бару. Сразу оговорюсь, что Одесса как город если и появляется здесь, то эпизодически. Зато в изобилии присутствует тонкий и язвительный еврейский юмор, образцовыми носителями которого испокон считались одесситы. Если угодно, Одессы я так и не отыскал, однако, одесский колорит был прочувствован мной в полной мере...

В начале одной из завершающих книгу зарисовок автор пишет: «В городе книжки читаются все больше те, которые можно на бегу читать. Или вовсе газеты. Там, внутри этих детективов и глянцевых журналов все несвежее, жареное – вроде привокзальной шаурмы и чебуреков». Если это так, то книга Михаила Бару, в виду разнородности составляющих ее ингредиентов и слегка кисловатому вкусу иронии, представляется мне окрошкой, вполне способной освежить горожанина в удушливый летний вечер.

Андрей ПЕРМЯКОВ

НЕУСТАЛОСТЬ

Евгений Карасев. Мокрый снег. – Тверь: Экслибрис, 2010. – 320 с.

Большой книги от Евгения Карасева ждали давно. С 1995 года, когда его первая подборка появилась в Журнальном Зале, было понятно: поэт перед нами сложившийся и, наверняка, имеющий значительный корпус текстов. Стихи появлялись регулярно. Как минимум – практически ежегодные публикации в «Арионе» и «Новом мире». А вот две книги, «Время безверья» и «Свидетели обвинения», прошли почти незамеченными критикой. Впрочем, в отношении Карасева уже не раз говорили: основные почитатели его стихов не критики, а собратья по цеху: Олег Чухонцев, Юрий Кублановский, Татьяна Бек.

Новая книга, «Мокрый снег», подобно предыдущим, вышла в Твери. И, надо сказать, объем ее превзошел самые смелые ожидания: 320 страниц, причем тексты даны «в подбор», подобно журнальной публикации. При этом – совсем не «Избранное». Судя по датам, практически все, вошедшее сюда, написано за последние десять лет. Куда реже встречаются даты вроде 1967–2005 гг., но и они, собствен-

но, лишь подтверждают метод отбора: стихи, составившие сборник, для автора актуальны.

Риск такого метода очевиден – представляя на суд публики несколько сотен текстов, невозможно избежать более или менее явных провалов. С другой стороны, книга, в отличие от журнальной публикации, часто оправдывает избыточность.

«Мокрый снег» включает в себя семь глав, семь частей. В отличие от стихотворений, каждое (!) из которых имеет название, главы эти не поименованы, но посыл любой из них совершенно очевиден. Получается своего рода фрагментарный роман в стихах с открытым финалом. А вот уместность в этом сборнике двух поэм, завершающих книгу, несколько сомнительна, хотя сами по себе они вполне хороши. В особенности – «Последний день царя Соломона».

Часть первая – о детстве и Твери. Во многом – о детстве в тверском Затьмачье. Манера автора абсолютно узнаваема. О ней писали многие, а лучше и подробнее всех, пожалуй, Максим Амелин («Арион», №3, 2009). Действительно, фразовый стих с длинными синтаксическими периодами и богатыми, но нерегулярными внутренними созвучиями удивительно точно попадает в стиль разговорной речи. Причем речи совершенно конкретной – одышливого разговора немолодого, чуть ворчливого человека, постоянно возвращающегося к чему-то уже вроде бы сказанному, но оттого не менее важному для него, а потом переходящего вдруг к мысли, совсем, кажется, не связанной с предшествующей:

Наблюдая за букашкой

Большую часть жизни провел я
в никчемной суете.
Умом ли? Рылом не вышел?
Завидую букашке на листе,
чистящей свои крылышки.
Ее заботит малость самая:
хлеба крошка, крупинка сладкая...
... В последнее время настойчиво
снится мама.
Надо бы обновить оградку.

Темы, да и сами названия стихотворений обычны и для сборников «про детство», и, паче – для песен, эвфемистически именуемых «шансоном» или «городскими романсами»: «Материнский платок», «Щи с холодка», «Негаданный привал», «Упущенный шанс», «На полоске брошенной»...

Отличное, кстати, стихотворение про полоску:

На полоске брошенной –
осока скошенная.
Пожухлая, несобранная,
по соседству с ручьем –
косу опробовали,
да размяли плечо.

Собственно, и давший имя сборнику текст «Мокрый снег» мог бы заглавием своим украсить какой-нибудь диск с жалостливыми песнями. А вот текстом – нет, не мог бы. Ибо гораздо сложнее, и ритм собственный, иной музыки не предусматривающий. Хотя сам Евгений Карасев свои стихи при случае поет. Получается, честно сказать, так себе.

Отсылки к «мировой культуре» и в этом разделе, и во всей книге нечасты. Зато многомерны: «Как после правления деспота, зябко» – вспоминаются и Мандельштам, и Бродский, и фильм «Холодное лето 53-го», где свою последнюю роль исполнил внешне чуть схожий с Карасевым Анатолий Папанов. У них, кстати, есть и общий биографический момент. Только вот артисту пришлось провести в тюрьме несколько дней, а поэту – более 20 лет.

Вот об этом, о деяниях лирического героя (прибегнем к такой нехитрой уловке), приведших его за проволоку, стихи второй части. Героики и романтики тут совсем нет. А есть неприглядные и страшные вещи: пришли с подельниками в деревню промышлять иконы, а там, в углу, одинокая промороженная бабка сидит. Мертвая уже, конечно. Помянули ее, а потом

Тщательно упаковали в баул иконы,
и втихую смазали пятки.

Профессиональные описания икон, к слову, удивительны. Все-таки определение «*репродукция со значительной дорисовкой маслом,/одетая в неплохой багет*», высказанное в стихах, обретает дополнительные обертона.

Вообще, этот раздел книги с его бомжами, охотящимися на тех, кому больше повезло в жизни, бродягами на обочине, потерянными колесами машин, превращающимися в мон-

стров, достаточно страшен, но парадоксально небезнадежен. Автор, в общем, не скрывает, для чего ему нужно нагромождение химер:

Это я чищу трассу от падали –
наши дороги жутко загажены,
но что делать с памятью?

И в следующем стихотворении:

Я не огорчаюсь потерей внимания
отъявленных сучек,
наверное, отпустивших в мой адрес:
«Порожний корешок»!
В прошлом, при фартовых бабках, я чувствовал себя круче,
Но не так хорошо.

А еще иногда просыпается странная жалость к минувшей молодости. Нет-нет, само по себе это чувство более чем понятно, но в данном-то случае молодость прошла большей частью в неволе и воспоминания о ней навевает проходящий мимо лесовоз:

Я провел на лесоповале лучшие свои годы,
под охраной, на казенном коште.
А вот что-то подзадоривает отчаянную породу
хоть одним бочком повернуться к прошлому.

Иногда автор дает лишь очень неявные наметки, предлагая восстановить ход своих мыслей. Вот очередное стихотворение полностью:

Воодушевляющее

Несомненно, мы переживаем нелегкие времена,
до предела раскален социальный градусник.
Но вот услыхал на улице:
– Скажите, где здесь магазин «Семена»?
И необычайно обрадовался.

Подобное сочетание псевдоофициоза, иронии, наблюдательности, а в иных текстах раздела – постоянных рефлексий о пройденном пути, и делает стихи, вошедшие сюда, лишенными дидактики и пафоса в их негативном смысле.

Увы, этого нельзя сказать о текстах, составивших следующую главу. Сама ее тематика – стихи о Родине, вполне естественна для человека, прожившего уже долгую и сложную жизнь. И несомненные удачи здесь тоже присутствуют. Например (стихотворение вновь привожу целиком):

Квота

Я хочу, чтобы имя Россия,
из могучего ставшего модным,
дважды в жизни произносили:
раз – в стихах, и второй – под огнем пулеметным.

Помимо прочего – на редкость уместная отсылка к Ветхому Завету. Есть в этом разделе и другие замечательные стихи, например, «Символ веры» – об Одигитрии, но в целом, именно в этой главе, в отличие от предыдущих, становится заметной текстовая избыточность. Дело даже не в названиях, почти повторяющих друг друга: «Русская загадка», «Русский характер», «Русская особинка», а скорее в излишней афористичности. Тонкие наблюдения вдруг сменяются парадоксами:

Нет загадки тоньше,
и ответ – у Всевышнего:
мы болеем за тонущего,
и ненавидим всплывшего.

или:

Почему проиграли рыцари?
Придерживались принципов.

Наверное, да, однако причем здесь поэзия? И еще один странный момент, к сожалению, нужно отметить. Вот сметливая ворожея из одноименного текста ищет жертву. Непременно архетипическую:

Охмуряло выделила не черненькую или раскосенькую –
облюбовала девчонку с мордашкою русской.

И опять бы все ничего, но, во-первых, черненьких не меньше жалко, а во-вторых, чего-то у героев предыдущего раздела, шедших торною дорогой к нарам, не наблюдалось национальной разборчивости. Бабка-то с иконами тоже, чай, не из дальней Азии. Хотя, возможно, это сознательное лукавство автора по отношению к читателю. Тогда, значит, он сам себя перехитрил.

А вот стихи о деревне в этом же разделе очень хороши. Ну, почти все хороши:

Сельский пейзаж

Столб с откусанными наспех проводами,
как ограбленный бедолага на обочине дороги.
Картинка не редкая в нашем бедламе –
одна из многих.

Похоже местные пьяницы
заложили цветмет за ворот,
лишившись догляда строгого.
И столб безнадежно пялится
на стылую дорогу.
Казалось, повальная беда
получила знаки народности,
к ней привыкли, точно к каждодневной шамовке.
И все-таки знобкой безысходностью
Дохнуло от сельской грунтовки.

Темы следующих трех разделов тоже вполне определенны. С некоторой долей условности их можно сформулировать как Философская лирика (в случае Евгения Карасева речь чаще идет, конечно, о притчах), Дороги и Неволя. Последние две темы свободно трактуются в обильном многообразии своих значений. Можно было б сопроводить все это примерами, но я сознательно не буду. Те, кого книга заинтересовала, ее непременно прочтут. Она этого стоит. Вообще, у читателя-непрофессионала (т.е. не критика, не филолога, не студента) есть, кажется, лишь три повода для знакомства с любым фактом искусства, вне зависимости от его жанра и даже рода. Вот эти три равнозначимых варианта:

1). произведение сообщает нечто важное мне обо мне;

2). произведение сообщает важное мне о мире;

3). нечто важное о языке (не суть важно – о русском языке или, например, о языке искусства).

В хорошей книге все три повода, так или иначе, сочетаются, и с этой точки зрения книга Карасева хороша. Однако о ее последнем разделе я б хотел поговорить особо.

Начинается он вполне ожидаемо. С любовной лирики. И здесь вновь преобладают хорошие стихи:

Одноклассница

В школе я сидел за одной партой
со скромной девочкой,
которая любила меня тишком, без огласки.
За какие такие подвиги – проделки
вздыхала по мне робкая одноклассница?..
А я, дуралей, дурында нечуткий
считал тихоню чудаковатой, странной.
Так и остались ее чувства
для меня тайной.

Вроде бы, тема-то из разряда уже невозможных: про школьную любовь. Но неопределенность нахождения автора (чувства, кажется, остались тайной, но тогда кто написал?) придает взгляду своеобычность.

А вот дальше раздел утрачивает четкость, расплывается. И это очень хорошо. Все-таки упомянутая уже избыточность в предыдущих главах была весьма заметной. Избыточность в данном случае, кстати, не означает усталости: автор вполне может написать еще несколько десятков стихотворений, скажем, о своем тверском детстве и стихи эти будут не хуже предыдущих, а даже, скорее, придадут теме некий дополнительный объем. Но стоит ли эта овчинка выделки?

На мой взгляд, Карасев еще не реализовал себя полностью. Утверждение это может показаться парадоксальным, а с учетом возраста автора – даже циничным, но вспомните, например, сколько лет было Вяземскому на момент создания «Жизнь наша в старости – изношенный халат»?

В общем, позволю себе выразить робкую надежду, что следующая книга Евгения Карасева, будет пусть и не столь объемной, как рецензируемая здесь, но откроет читателю новые грани. Свобода его творчества позволяет на это надеяться, и цену этой свободы он знает, как, пожалуй, мало кто другой:

Открытие

В газете
среди уголовных сводок
прочел я – и был поражен здорово:
крупный воротила за свою свободу
следователю предложил миллион долларов!
Я отодвинул газету,
не понимая, отчего разом
маленькая заметка эта
вызвала безмерную радость.
Во мне, как от хмеля, прибавилось прыти,
неведомого раньше гонора.
И вдруг невероятное сделал открытие
ценою в миллион долларов.
Таких денег не видел я сроду,
да и вряд ли увижу когда-то.
Но у меня был город, солнце над головой –
свобода!
И я впервые почувствовал себя
несказанно богатым.

Иван КОЗЛОВ

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ФАВОРИТЫ–2

Сегодня мы заканчиваем обзор фестивальных фильмов прошлого года. Еще один взгляд на главные площадки кинофестивалей – Канны, Берлин, Венеция – и рассказ о трех фильмах, мелькнувших в нашем кинопрокате.

«Развод Надера и Симин» («Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля)

При всех реверансах и земных поклонах критиков ленте иранца Асгара Фархади, поговаривают, что главный приз Берлинского киносмотра должен был, все же, достаться «Туринской лошади» Белы Тарра (мы писали об этом фильме в прошлом обозрении). Но возобладали политические мотивы – иранский кинорежиссер Джафар Панахи сидит в тюрьме у себя на родине, и надо было как-то обозначить солидарность с ним еще и таким образом.

Жесткое социальное кино сочетает в себе элементы детективной истории, истина раскрывается только в последних кадрах, есть даже некий катарсис, но совсем не у тех персонажей, которых мы могли бы представить.

Иранское кино было очень популярно после триумфа «Вкуса вишни» Аббаса Киаростами. Мы смотрели его фильмы, фильмы клана Махмальбафов, и это было действительно здорово. Чем-то напоминало советское кино – про это нельзя, про то тоже нельзя, остается снимать про смысл жизни. Кино становилось все более экспортным, а потом уже и вполне интернациональным, сейчас у Киаростами снимается Жюльетт Бинош и его фильм можно увидеть вечером по ОРТ.

«Развод» получился скандальным, и у себя на родине тоже. Начнем с того, что героиня фильма хочет эмигрировать, чтобы ее дочь не воспитывалась «в этой стране». Наш зритель, глядя на мидлклассовые интерьеры ее жилища, решит, что Симин сдуру бесится, но после сцен в суде вполне ее поймет. Традиционное общество и ценности современной цивилизации, конечно, както уживаются в быте, но не голове, по крайне мере, одной из героинь фильма – домработнице, которая обвинит Надера в смерти своего нерожденного ребенка.

Все персонажи фильма лгут. Себе, друг другу, во спасение и на всякий случай. Жизнь, такая укорененная и размеренная, вдруг повисает на волоске – самое время обратиться внутрь и что-то там переоценить, раз уж мы вспомнили советские застойные фильмы. То, что для одних – неприятность, из которой надо как можно скорее выпутаться любой ценой, для других оказывается непреступимым внутренним порогом, невозможным компромиссом, даже если речь идет о судьбе и благополучии семьи.

После просмотра рекомендую зрителям пересчитать миллионы, о которых идет речь в фильме (залог и отступные), чтобы представить себе соразмерность финансового обременения в рублевом или долларовом эквиваленте. Я сделал поправку на падение иранской валюты в последний год и у меня получилось, что за выкидыш, случившийся у домработницы, герои платят две штуки баксов.

«Фауст» («Золотой лев» Венецианского кинофестиваля)

Долгожданный фильм Александра Сокурова замыкает его «тетралогию власти». Если в первых трех лентах – «Молох», «Телец» и «Солнце» – режиссер внимательно исследовал «человеческое» в диктаторах разных масштабов, то в «Фаусте» понятие власти обретает характер вполне метафизический. Или, наоборот, у Гитлера, Ленина и Хирохито, «человеческих, слишком чело-

веческих» под микроскопом режиссера, эта власть кажется потусторонней. В дьявольском регистре «Фауста» власть реальна, иллюзорным кажется мир, в котором она проявлена – начиная с первых кадров, задающих «сказочный» колорит (вид сверху на город) и заканчивая фирменной сокуровской оптикой, искажающей пространство. Иногда ловишь себя на впечатлении, что ты попал внутрь какой-то жанровой картины – настолько продуман каждый кадр, каждая мелочь.

Дьявол давно живет в пыльном городке, его знают как ростовщика. Ни мистики, ни эффектов, ни серного запаха – все просто и обыденно. Договор с Фаустом – не более, чем бюрократическая процедура. Впрочем, «ученик», кажется, обогнал учителя по части Зла – недаром режиссер перенес действие ленты на два века вперед, в XVIII, поближе к нам...

«Фауст» Сокурова – это еще и фильм о встроенности Зла в обыденность, в повседневность. О внутреннем согласии на Зло, о том, что его можно держать в себе, как купюру в бумажнике.

Главный герой – не гетеанский философ, а холодный практик. Его путь – это путь достижения, невзирая на средства. И, судя по финалу фильма, дьявольский помощник ему уже не требуется.

«Драйв» (Приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля)

Датчанин Николас Виндинг Рефн снял очень странный фильм. Жанровый до тошноты и красивый до головокружения. Эти два ощущения и преследуют зрителя на протяжении всего экранного времени. Реальность начинает расплываться уже после заставки кинокомпании, когда мерцающий огоньками город становится действительным местом обитания героев (это как если бы дама с факелом из «Коламбии Пикчерс» вдруг опустилась в кресло и прикурила от своего источника огня). Герои эти вытащены бог весть из каких пыльных сюжетных подвалов. Нам придется переживать за каскадера-автомеханика, он же «бандитский таксист» по ночам, скромного молчуна с зубочисткой во рту. Скорпион, изображенный на его куртке, очевидно, должен дать нам понять его зодиакальную принадлежность и все, с ней связанное – очень хороший ход, экономящий время зрителей, поднаторевших в популярной астрологии.

Женский персонаж – затюканная бытовыми проблемами красотка, ждущая отбывающего срок мужа вместе с подрастающим дитятей. Разумеется, у героев возникнет взаимное притяжение и им придется многое преодолеть, прежде чем они окажутся в объятиях друг друга. Да-да, именно в таких отвратных выражениях хочется писать о фильме. Режиссер с удовольствием воспроизводит все возможные штампы из картин подобного рода. Зрителю же можно выбирать – то ли раздражаться, то ли хохотать.

Криминальная линия тоже не балует нас новизной – якобы последнее «дело», которое оборачивается подставой и кровавым месивом, сумка с миллионами, которая оказывается у героя, и все такое прочее. Чуть-чуть реализма, чуть-чуть абсурда, немного саспенса, немного юмора. И безумно красивый видеоряд с завораживающей музыкой. Я бы рискнул обозначить жанр «Драйва» как медитацию над киноштампами.

Что до меня, то зацепило вот что: оказывается, хитроумная комбинация была придумана стареющими гангстерами, чтобы увести деньги и открыть еще одну пиццерию. Так что, заходя в кафе или кондитерскую, подумайте иногда, кто может оказаться ее владельцем и чем заплачено за ваши полчаса покоя и комфорта.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 20 апреля 2012 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.